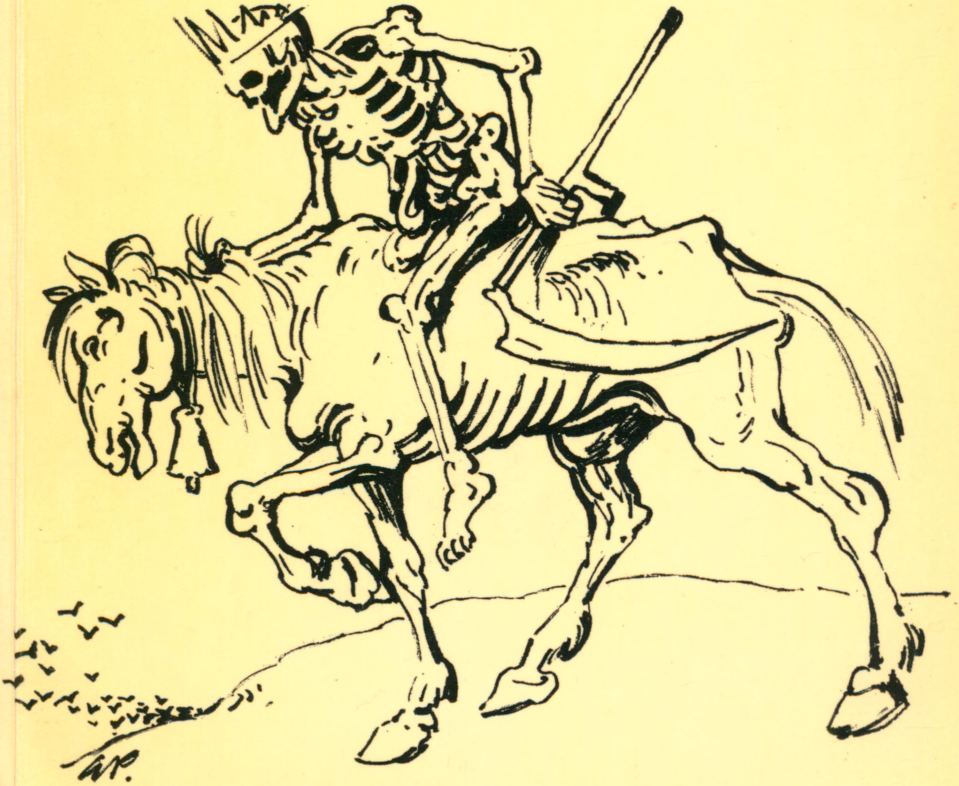
М. АЛДАНОВ

ПОВЕСТЬ О СМЕРТИ



ПОСЕВ

М. А. АЛДАНОВ

Повесть о смерти

ПОСЕВ
1969

ОТ АВТОРА

Эта книга входит в серию моих исторических и современных романов, которую закончит роман «Освобождение». Новый читатель мог бы, если б хотел и имел терпение, ознакомиться с ней в следующем порядке: «Пуншевая водка» (1762 год); «Девятое термидора» (1792-4); «Чортов мост» (1796-9); «Заговор» (1800-1); «Святая Елена, маленький остров» (1821); «Могила воина» (1824); «Десятая симфония» (1815-54); «Повесть о смерти» (1847-50); «Истоки» (1874-81); «Ключ» (1916-17); «Бегство» (1918); «Пещера» (1919-20); «Начало конца» (1937); «Освобождение» (1948). Их многое связывает, — от общих действующих лиц (или предков и потомков) до некоторых вещей, переходящих от поколения к поколению.

Некоторые главы «Повести о смерти» (как и «Освобождения») появились в последние годы в «Новом русском слове».

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

> Cet universel sommeil de la nature qui précède les orages, nous en retrouvons l'image dans cette torpeur de l'opinion publique pendant les dernières années de la monarchie*).
>
> Louis Menard

Между Россией и Францией во всё время царствования Людовика-Филиппа шла дипломатическая война. Она никого особенно не волновала, а многих забавляла.

Император Николай, взбешенный июльской революцией, очень неохотно признал младшую линию Бурбонов и в официальных письмах называл нового короля не «братом», а только «добрым другом», что считалось крайне оскорбительным. Иностранным дипломатам царь объявил, что умеет отличать французский народ от французского короля. Собственно это противоречило всем его основным принципам, так как для него имели значение не народы, а их правители. Однако об этом противоречии Николай I не заботился. На приемах французских послов император любезно расспрашивал об их здоровьи, о своих парижских знакомых, о благосостоянии Франции, но никогда о короле не спрашивал. Парижское правительство то относилось к этому благодушно-иронически, то вдруг приходило в ярость. Так, отправляя в Петербург маршала Мэзона, кабинет министров предписал ему немедленно покинуть Россию, если царь и на этот раз не спросит о Людовике-Филиппе. Это

---

*) В не очень точном переводе: «Этот сон природы перед бурями — мы находим его подобие в дремоте общественного мнения в последние годы монархии».

вызвало волнение: война! Николай I уступил и спросил нового посла, как поживает король. Иногда шла на уступки и Франция. В одном из парижских театров была поставлена историческая пьеса, оскорбительная для династии Романовых. Русское правительство потребовало ее запрещения, а в частных беседах царь вскользь с усмешкой замечал, что в случае отказа «может прислать на спектакль миллион зрителей». Французское военное ведомство не верило: разведка доносила, что Россия может выставить всего 114 тысяч солдат. Тем не менее пьеса была снята с репертуара.

Иногда, впрочем, отношения улучшались. В свое время были даже разговоры о том, что дочь императора, великая княжна Ольга Николаевна, выйдет замуж за герцога Орлеанского, наследника французского престола. Затем эти разговоры прекратились, и отношения стали еще хуже. Когда русский посол в Париже, вследствие болезни австрийского, оказался старейшиной дипломатического корпуса и должен был бы на приеме сказать королю приветственное слово, царь, под предлогом спешного доклада, вызвал посла в Россию. Гизо тотчас предписал представителю Франции в Петербурге не являться в Зимний дворец на поздравление в день именин царя. После этого русский двор и высшее петербургское общество стали бойкотировать Казимира Перье: его больше никуда не приглашали; через общих знакомых, русские вельможи просили его извинить их: такова воля императора.

В разных европейских столицах очень веселились по этому случаю, но говорили, что войны все-таки быть не может. В Париже газеты обсуждали вопрос, отвечает ли русский народ за политику своего правительства, и склонялись к тому, что отвечает: русофобская книга маркиза Кюстина имела огромный успех. По-настоящему требовали войны с Россией только революционеры. Случалось, толпы манифестантов направлялись к зданию русского посольства с криками «Долой русских!..»,

«Да здравствует Польша!..», «Смерть тиранам!..». Полиция их оттесняла. Приготовлений к войне не было, но обе стороны были совершенно уверены в победе. Франция, после революционных и наполеоновских войн, была убеждена, что один на один с ней никто воевать не может. Николай I не сомневался, что его армия церемониальным маршем пройдет по всей Европе. Говорили, впрочем, что воевать-то негде ввиду отсутствия общей границы и существования нейтральных государств. Впрочем, высказывалось и такое мнение, что немцы пропустят французскую армию и сами к ней присоединятся в борьбе за общие идеалы. В Париже очень любили немцев и считали их, несмотря на некоторые печальные отклонения, историческими друзьями Франции. Один очень популярный в высшем обществе офицер позднее читал письмо, полученное им от брата, находившегося в Германии, тоже военного: брат уверял, что в случае войны немцы, как один человек, присоединятся к стране, защищающей свободу и братство.

Только престарелый Людовик-Филипп знал, что никакой войны при нем не будет, так как он никогда на нее согласия не даст. За семь лет до того, из-за Египта, Тьер решил было воевать со всей Европой. Король тотчас его уволил и пригласил Гизо. Знал, что сам он никак на Наполеона не походит, что вообще Наполеонов, слава Богу, больше нет, последние маршалы мирно доживают свой век на покое и относятся с полным пренебрежением к новым, колониальным генералам: эти тоже называют себя полководцами! Король не очень тревожился в пору дипломатических осложнений: если французские газеты станут уж слишком воинственными, то можно будет, чтобы их утешить, образовать новую дивизию, дать верфям заказ на новый фрегат и опять назначить главой правительства маршала Сульта, герцога Далматского, героя революционных и наполеоновских войн: большой опасности для мира не будет, маршалу восемьдесят лет, он давно и на коня сесть не может и

никакой войны не хочет, — имеет огромное состояние; не будет особенно вмешиваться и в королевскую политику, так как даже в молодости не мог связать двух слов.

В Париже говорили также, что неизбежна и революция: нет больше сил терпеть гнет ненавистного короля. Гнет был не очень страшен, — впоследствии люди увидели другое, — но революция действительно приближалась. Франция была покрыта сетью тайных обществ с не всегда понятными названиями и с мрачно-таинственным ритуалом. Были «Друзья народа», были «Возрожденные франки», было «Галльское общество». Самым опасным считалось «Общество сезонов», в котором видные люди занимали должности Воскресенья, Июля, Весны. Главарями были Бланки и Барбес. В 1839 году это общество устроило восстание, было немало убитых и раненых, Барбес был приговорен к смертной казни. В это время в королевской семье умерла принцесса и родился принц. Виктор Гюго, еще бывший тогда роялистом, составил в стихах просьбу о помиловании осужденного революционера:

Par votre ange envolée ainsi qu'une colombe!
Par ce royal enfant, doux et frêle roseau!
Grâce encore une fois! Grâce au nom de la tombe!
Grâce au nom du berceau!

Король, по непоэтичности своей натуры, с легким недоумением и даже не без испуга, относился к людям, занимавшимся столь странным ремеслом, как писание стихов (знал, что Виктор Гюго зарабатывает ими большие деньги). Кроме того, Людовик-Филипп был столь же добр, сколь хитер. Ни малейшей злобы против Барбеса он не чувствовал, — сам был в юности революционером, — что удивительного в том, что бесится молодой человек (вдобавок, как ему казалось, довольно глупый)? Король и сорокалетних людей считал зеленой моло-

дежью. Он с полной готовностью смягчил участь осужденного.

В близость революции Людовик-Филипп верил почти так же мало, как в близость войны. После покушений на его жизнь он больше не пользовался омнибусом, не заходил в кофейни чокаться у стойки с рабочими и не очень верил в народную любовь. Король был потомком Людовика Святого, но едва ли не первый из всех французских монархов не считал себя Божьим помазанником и знал, что его высокое происхождение очень мало интересует французов: не те времена. Однако Франция при нем достигла материального благополучия, еще невиданного в истории, финансы и промышленность процветали, последний заем был заключен из 3,5 процентов. Правда, случались и кризисы, и скандалы, но кризисы, вопреки мнению ученых экономистов, были стихийным и непонятным явлением, как землетрясения, а скандалы были неизбежны при всяком строе: где деньги, там и скандал. Деньги, как ему казалось, были у всех, — какая же могла быть революция? Не верили в революцию и его друзья Ротшильды, — а уж, конечно, барон Джемс должен был это знать. Барбес и Бланки не слишком беспокоили короля. Министры у него были умные, ученые, скучные и всё одни и те же: когда парламенту, газетам и ему самому слишком надоедал Гизо, король приглашал Тьера; когда надоедал Тьер, приглашал Гизо. В крайнем же случае — разумеется, только в самом крайнем и чрезвычайно неприятном — можно было бы предложить должность министра, если не Бланки, то Барбесу, — он остепенится. Правда, Барбес считался фанатиком, но он был сыном состоятельного коммерсанта, имел хорошие средства и, наверное, не желал, чтобы их у него отобрали. За шестьдесят без малого лет до того, Людовик-Филипп был на ты и не с такими революционерами. По старческой болтливости он любил рассказывать о прошлом, о блеске дореволюционного версальского двора, который

теперь помнил едва ли не он один, о революции, о том, как семнадцати лет отроду он вступил в якобинский клуб, о том, как Дантон однажды, в минуту откровенности, сказал ему: «Для вас работаем, молодой человек, для вас работаем, всё в конце концов достанется вам!» Охотно рассказывал и об эмиграции, — как он в швейцарской школе давал уроки арифметики и иностранных языков и жил на два франка в день (в школе получал тысячу двести франков в год, — следовательно и тогда ухитрялся откладывать деньги).

Собственные денежные дела беспокоили короля гораздо больше. Цивильный лист ему был назначен в двенадцать миллионов франков в год, а он хотел получать восемнадцать. Враги, быть может преувеличивая, называли его богатейшим человеком Европы, но он отрицал это, кряхтел и постоянно обращался к парламенту за ассигновками в пользу своих многочисленных детей, — говорил, что они будут голодать. В своей наивной уверенности в том, что людям, всем людям, нужны только деньги, король, конечно, ошибался: не понимал, что, по общему душевному складу, он опередил рядового гражданина лет на сто; что не все дряхлые старики; что люди, особенно молодые, хотят, кроме денег, и новизны, своей роли в исторических драмах и развлечениях; что во Франции уже давно переворотов не было, и что молодым людям скучно.

Ошибался старый король и относительно всеобщего материального благополучия: деньги были далеко не у всех. Но у большого числа городских жителей денег было, действительно, много и потому всё в 1847 году, несмотря на очередной кризис, процветало, везде было необыкновенное оживление: инженеры строили железные дороги и пароходы, банкиры охотно вкладывали деньги в дела, театры были полны, меценаты покровительствовали художникам, ораторы оппозиции обличали нестерпимый гнёт. Анекдоты рассказывались обо всех, о короле, о принцах, о министрах, о людях искус-

ства. Из писателей больше всего говорили о Бальзаке. Смеясь рассказывали, что он тайком от кредиторов уезжает в Россию: хочет сделать еще последнюю, отчаянную попытку жениться на своей польской графине; не имея ни гроша, уже отделывает для нее с необычайной роскошью *гнездышко,* в котором будет «три тысячи килограммов бронзы». Говорили, что он ложится спать в пять часов дня, спит до полуночи, затем работает семнадцать часов подряд. Об его трости в Париже больше не говорили, надоело, да, собственно, и трость была ничем не замечательная; рассказывали о ней еще только в провинции, т. е. во всей остальной Европе, кроме Парижа.

Приблизительно таким был Париж того времени для людей настроенных сатирически и чрезмерно любивших анекдоты. На самом деле за тем, что было смешного, шла ничуть не смешная борьба за смелые, новые, благородные мысли. Люди в то время верили в свободу больше даже, чем в 1789 году, — так, как уже никогда позднее не верили. Они ценили жизнь, дорожили ею. И с ужасом приняли известие о том, что на Европу опять ползет *синяя болезнь,* оставившая столь страшное воспоминание: холера уже проникла с Востока в Россию. Несмотря на все успехи науки, врачи предупреждать вторжение этой болезни не умели, а лечили ее ваннами, теплым молоком, зельтерской водой и пьявками.

Писатели собирались, когда бывали богаты, в ресторанах Вери или Вефура, а когда денег было меньше, в Кафе Монмартр. Говорили — и с блеском говорили — о литературе, о политике. Ламартин был самым левым, Бальзак самым правым. Говорили, как все, и о холере. Говорили также (без блеска), о ком какая была рецензия, кто какой получил аванс, у кого какой тираж; издателей добрые писатели называли скрягами, а злые — разбойниками большой дороги.

Изредка появлялся в Кафе Монмартр невысокий человек в круглой шляпе, в застегнутом на все пугови-

цы сюртуке. Хотя он жил близко, приезжал всегда в извозчичьей коляске и слезал с трудом. В кофейне все его знали. Это был знаменитый немецкий поэт, эмигрант Анри Эн. Состоявшие при нем поклонники и поклонницы, светские дамы, нервные эмигранты, евреи и не евреи, называли его «умнейшим человеком на земле». Он же их ум, по-видимому, расценивал невысоко, — об одном из них говорил, что это сумасшедший, но со светлыми промежутками: во время светлых промежутков он просто чрезвычайно глуп. Люди, давно не видевшие Гейне, отшатывались от него с ужасом; так он изменился, еще недавно было брюшко! Теперь прекрасное изможденное лицо его, с одним закрывшимся глазом и с другим полуоткрытым, было мертвенно бледно и порою дергалось не то от тика, не то от усмешки, которую все, точно сговорившись, называли «мефистофельской». У него уже был один, легкий, удар, и поклонники шепотом сообщали, что жить ему осталось год-два (на самом деле он прожил дольше). Выставив вперед руку, он пробирался к столу писателей, поднимал рукой веко глаза и тому, в кого он всматривался, становилось не по себе от взгляда медленно умиравшего человека. Затем садился, заказывал устрицы, редиску, сотерн — и начинал говорить.

Несмотря на его акцент, французские писатели признавали Гейне парижанином и очень любили, особенно Бальзак, называвший его великим человеком. Бодлер его причислял к тем немногочисленным «беднягам, которые составляют венец человечества». Говорил он порою превосходно. Теперь шутил и острил меньше прежнего и очень от этого выигрывал, несмотря на свое, действительно редкое, остроумие (Сэнт-Бев саркастически писал, что этот немец *слишком* остроумен для парижанина). Передовые французы спрашивали его о Германии и, вслед за Кинэ, высказывали надежду, что спящая красавица, наконец, проснется, и хлынут из-за Рейна свободолюбивые мысли, песни,

грезы. Он опять медленно поднимал двумя пальцами веко глаза и всматривался в говорившего. Затем подтверждал: да, проснется, но гораздо лучше было бы этой красавице не просыпаться, ибо надо миру бояться ее гораздо больше, чем императора Николая. Россию же, к удивлению передовых людей, чрезвычайно хвалил и предсказывал ей огромное, необыкновенное будущее. Когда бывал в ударе, говорил, что будут великие войны и революции, и будет затем во всем мире многомиллионное стадо овец, и будет его стричь какой-нибудь единый пастырь, а овцы будут блеять все одинаково, и будет свобода в общей глупости, и равенство в общем невежестве, — кончится искусство, кончится литература, и никому не будет дозволяться писать хорошо, но каждому будет разрешено писать еще глупее, чем другие, — называться же всё это будет каким-нибудь ученым словом вроде коммунизма. Передовые собеседники обиженно возражали, что немецкие коммунисты его горячие поклонники, — называли молодого Маркса, которого немного знали в Париже и который считался его другом. Он со скукой хвалил ум и познания этого человека, признавал, что будущее может принадлежать его последователям, и затем угрюмо сравнивал себя с курицей, высидевшей утят. Случалось, французские поэты просили его прочесть свои стихи. Он делал это очень редко. Читал по-своему, как будто чрезвычайно просто, без того напева, с каким велел поэтам читать Расин; читал очень медленно, тихим голосом (но каждый слог был слышен), старые стихи и, беспомощно разводя руками, заканчивал:

Und nun ich mich gar säuberlich
Des tollen Tands entledge:
Noch immer elend fühl ich mich
Als spielt ich noch immer Komoedie.
Ach Gott! im Scherz und unbewusst
Sprach ich, was ich gefühlet.

Ich hab mit dem Tod in der eignen Brust
Den sterbenden Fechter gespielet.

Слушатели, не понимавшие по-немецки, просили его перевести, — после чего наступало молчание. Быть может, иные думали, что эти стихи можно отнести и ко всей жизни Гейне, и что читает он так, как Шопен играет свой похоронный марш. Немецкий язык у французов восторга не вызывал. Сам же он называл этот язык самым прекрасным и поэтическим в мире; проклинал Германию и выражал желание быть похороненным у себя на родине. Говорил, что ничего не поделаешь: он немец и национальный немецкий поэт, — его стихи в крови у всех немцев, кроме самых тупых. В этом, быть может, и не очень ошибался. Его поклонниками были Меттерних и, особенно, Бисмарк, говоривший, что, кроме книг Гёте, не было на немецком языке ничего равного произведениям Гейне. А через сто лет, при Гитлере, «Лорелей» переиздавалась с надписью «Неизвестного автора», и в пору оккупации Парижа на могилу Гейне приходили немецкие офицеры, правда лишь старики, лишь украдкой и пока не вышел приказ: не ходить.

II

Мій Київ...
Богдан Хмельницкий

По дорогам к Киеву были расставлены карантинные караулы, но холера в город проникла. Из предохранительных мер южно-русская медицина рекомендовала: носить шубу и кожаные перчатки, вытираться уксусом, есть только мясное, пить много спиртного. Письма и посылки окуривались. Окуривался и весь город: на площадях сжигался навоз. Все больные желудком увозились в больницу, где были собраны городские

цирюльники. Больным, первым делом, пускалась кровь; немногочисленные замученные врачи справиться с этим не могли. Власти отпускали цирюльникам водку бесплатно, и от их операций нередко умирали здоровые люди. Сами же они умирали почти поголовно. На простой народ холерная больница наводила ужас. По вечерам рано гасили огни и наглухо запирали ворота, чтобы не ворвались *фурманщики* и не увезли кого в холерной повозке. Простые люди пытались спастись от *тресовицы* заговорами. Образованные думали, что помочь не может ничто, и старались шутить. Читались стишки о лучшем лечении: «Возьми рассудку десять лотов, — Семь гранов травки доброты, — Двенадцать драхм состав покою, — Сто унций сердца чистоты, — Сотри всё это камнем веры — И порошок сей от холеры — Сквозь сито совести просей». Кто-то пытался было пустить слух, будто травят народ поляки, но население вздору не верило, и холерных бунтов в Киеве в 1847 году не было. Люди, и богатые и бедные, умирали безропотно. Каждый день шли по городу погребальные процессии, чаще всего на Аскольдову могилу, откуда открывался изумительный вид на Днепр и на заднепровскую даль. На кладбищах люди бодрились, а возвращаясь вполголоса спрашивали друг друга: кто же следующий? Надписи делались трогательные, иногда по старинному обычаю, в стихах, вроде: «О, злополучная холера — какого унесла ты кавалера!» — следовала краткая биография, порою тоже с рифмами.

Затем эпидемия стала слабеть, — по видимости, столь же беспричинно, как и появилась, — поползла на запад, всем свой черед. В сентябре, в октябре еще умирало в день по сорок-пятьдесят человек. В ноябре стало выясняться: кончается, кончено! И тотчас все забыли отвратительную болезнь, с корчами, поносом, рвотой, посинелыми лицами. Началась жизнь, — давно в городе не жилось так весело. Караулы еще стояли и

по ночам перекликались с обходным, но знали, что их скоро снимут и за маленькое вознаграждение пропускали без трудностей кибитки и телеги.

Большой сезон открылся очень рано, еще до морозов. Обычно он в Киеве начинался позднее: со знаменитой ярмаркой, называвшейся «Контрактами». На нее съезжались не только купцы со всех концов России, но и помещики, великорусские, малорусские, польские, даже те, которые никаких контрактов заключать не предполагали. Ярмарка была перенесена в Киев приказом Павла I из какого-то другого города, и обычаи на ней были очень старые, частью русские шестнадцатого века, частью польские, частью даже перешедшие с турецких рынков. Были ряды, серебряный, суконный, шелковый, меховой, ковёрный, ножевой, восточных ароматов. Всё продавалось очень дешево, — еще Михаил Литвин писал, что в Киеве шелк продается дешевле льна на Литве. Особенно славились сласти, варенье, пряники. Киевские купцы признавались иностранцами самыми честными в России после псковских (худшими считались московские). Торговали преимущественно хохлы, но также кацапы, евреи, армяне и греки. Как-то все уживались. Имперский melting pot работал хуже, чем в предыдущее царствование, неизмеримо хуже, чем в следующее, но работал.

Сглаживалась национальная рознь и в обществе. Коренные хозяева города вообще недолюбливали и великороссов, и поляков. С поляками были вековые исторические счеты. В домах коренных киевлян можно было услышать иронические словечки о «панах». Приглашая гостей к ломберному столу, хозяин благодушно говорил: «До брони, панове, до брони!..» За игрой люди ставили карбованцы «на алтарж ойчизны» или, признаваясь в опрометчивом ходе, поясняли: «Мондрый поляк по шкодзе». Так и нерасположение к великороссам выражалось преимущественно в разных словечках и

поговорках: «С кацапом дружись, а за саблю держись», «От москаля хоть полы обрежь, да беги!», «Коли москаль скаже «сухо», поднимайсь по самое ухо, бо вин бреше», «Мамо, черт лезе в хату! — Дочка, абы не москаль!».. Да еще иногда пили в память Мазепы. В пору контрактов и это смягчалось, тем более, что в Киев иногда приезжали Разумовские, Кочубеи, Галаганы, о которых уже нельзя было и сказать, кто они: москали или украинцы. Сахарные заводы строили в губернии великороссы, украинцы, поляки, евреи, немцы, и в деловых отношениях никто с национальностью не считался. Политикой в Киеве интересовались мало. Бенкендорфа никак не оплакивали. Алексею Орлову никак не радовались. К действиям петербургского правительства относились иронически. Когда одновременно были заложены какой-то дворец и какой-то мост, остряки в Киеве так определяли разницу: «дворца мы не увидим, но его увидят наши дети; мост увидим мы, но наши дети его не увидят; отчета же в деньгах не увидит никто на земле». Впрочем, сходную шутку приписывали в Петербурге князю Меншикову. К западным странам ни малейшей враждебности не чувствовали; напротив — относились с большим интересом и уважением. Позднее патриотические куплеты Ленского: «...Где вам, западные цапли, — до российского орла» в Киеве ничего не вызывали, кроме насмешек над сочинителем.

Перестройке и украшению древнего города способствовали вечные пожары. На них обычно, даже ночью, приезжал сам «Безрукий», — так в Киеве называли генерал-губернатора Бибикова, потерявшего руку в Бородинском сражении. При нем в городе шла годами перестройка. Центр переходил с Печерска в прежнюю Крещатикскую долину. Там уже возвышался над другими домами двухэтажный почтамт и говорили, что скоро будет выстроен каким-то отчаянным человеком трехэтажный дом. Прежнее Кловское урочище уже

называлось Липками, хотя великолепные липы главной аллеи давно были вырублены. Липки, особенно же Шелковичная, позднее Левашевская, улица, стали аристократической частью города. На Печерске, на Подоле, в Старом городе чуть не на каждых воротах висела дощечка с надписью «К слому», — владельцам разваливавшихся домов отводились бесплатно участки земли за Бессарабкой и у Золотых Ворот. Открывались всё новые магазины, и чтобы никого не отталкивать в разноплеменном населении, владельцы часто составляли вывески на французском языке: «Magasin de братья Литовы», «Magasin de Ривка», «Magasin de Грицько Просяниченко».

Большой весенний сезон открывался балом, который дворянство давало генерал-губернатору. Затем на город начинал литься золотой дождь. Богатые вельможи приезжали в Киев, захватив с собой боченки золота и серебра: хотя в городе уже существовало отделение государственного банка, помещики к нему относились недоверчиво. Деньги тратились очень быстро, особенно вследствие карточной игры. В польском обществе говорили: «Варшава танцует, Краков молится, Львов влюбляется, Вильна охотится, Киев играет в карты». Как-то по вызову графа Левашева приехала из Парижа французская труппа, но для нее публики оказалось недостаточно. Русские же спектакли пользовались большим успехом. Шел «Гамлет», сочинение г. Висковатого, подражание Шекспиру в стихах. Шел «Ревизор», с «Настоящим Ревизором», продолжением сочинения г. Гоголя. Шли «Роберт-Дьявол», сочинение г. г. Скриба и Делавиня под музыку г. Мейербера, «Кремнев, русский солдат», народное представление с военными песнями и танцами, сочинение г. Русского Инвалида, «Никому кроме короля, или хлебопашец каштанового леса», сочинение г. Дона Франциска де Рохас, «Знаменитые разбойники», большой балет, сочинение

г. Дидло. Ставились «Двумужница», «Отелло», «Полковник старых времен», «Матушкина дочка, или суматоха на даче». Труппа была только одна, так что одна и та же любимица публики спасала своим кротким пением мятущуюся душу Роберта-Дьявола, декламировала куплеты «Смирно, женщины» и в венгерской хижине танцовала перед знаменитыми разбойниками. Перед бенефисами видные артисты и артистки объезжали помещиков и купцов первой гильдии и оставляли им почетные, отпечатанные золотом на атласной бумаге, билеты. К купцам второй гильдии ездили редко, так как те были люди малообразованные, — кричали во время спектакля, когда хорошей девушке грозила опасность от злодея: «Не поддавайся, Маша!»

На ровных параллельных Крещатику улицах Липок тянулись одноэтажные дома, почти все деревянные: лес был очень дешев, да и жить в каменных домах считалось вредным для здоровья. В старом городе были площади больше парижской „Place de la Concorde", прекрасные церкви и монастыри, некоторые древнее Кёльнского собора. Над Днепром и позади нового университета были лучшие в России бесконечные сады, — киевляне язвительно говорили столичным жителям: «Да-с, это вам не Летний сад и не ваши московские огороды»! Весь необыкновенный по красоте город именно *утопал* в зелени.

Люди ходили по Крещатику медленнее, чем петербуржцы по Невскому, а после обеда спали дольше, — торопиться здесь было уж совсем некуда. Непристойных слов употребляли, по сравнению с Великороссией, очень мало, но непристойных примет было достаточно. Кое-кто, как и в Великороссии, не ел картофеля, приписывая ему весьма странное происхождение. Ели же вообще и пили много. В Киеве не было таких богачей, как в Петербурге, но средний класс, в который уже входили и так называемые разночинцы, жил, пожалуй,

лучше, чем в столицах. На званых обедах не подавались сотни блюд, как у Орловых, Строгановых, Нессельроде, Всеволожских, но десять-пятнадцать блюд подавалось везде. Гоголь, быть может, чуть злоупотреблял для couleur locale разными галушечками и пампушечками в Малороссии; в Киеве, во всяком случае, гастрономия была более утонченная. Из Одессы привозились устрицы и кефаль. Белугу и стерлядь доставляли с Шексны, так как считалось, что волжская рыба, входя в Шексну, становится гораздо лучше. Порою даже привозилось из Беловежской пущи мясо зубров. Только в напитках Киев еще отставал от столиц. Шампанское, которым завоевал Елизавету Петровну и ее двор маркиз де ла Шетарди, распространялось по России медленно. В Киеве его подавали лишь в самых богатых домах. Пили больше вареный и ставленный мед, наливки, водку всех национальностей: русскую, кизлярку, горилку, пейсаховку. Сами варили пиво и держали его в боченках на дне колодцев. Свои колодцы были во многих домах. В другие же доставляли воду водовозы. Вопреки всем литературным традициям, они не были кривыми, не играли на бандуре и не пели «старинных казацких песен о Наливайко и Сагайдачном».

Гостеприимство было сказочное. За обедом, после какого-нибудь десятого блюда, хозяева приставали к гостю: «Верно, не вкусно? А то, может, вы нас не любите? Чем же мы вас обидели?» — и гость с готовностью ел одиннадцатое блюдо. Люди непьющие, *непейки*, доверием не пользовались и чуть даже не казались подозрительными: уж не шулер ли? Шулера в Киев, в пору контрактов, съезжались даже из-за границы. Играли в банк, в вист, в ломбр, в квинтич. Устраивались частные и общественные балы. На них танцовали круглый польский, мазурку, французскую кадриль; были записные танцоры, учившиеся у самого Сосницкого: этот знаме-

нитый петербургский актер, поляк по происхождению, считался лучшим танцором в России и давал уроки мазурки. Мылись казанским яичным мылом, а лет за двадцать до того появился и одеколон. По утрам ездили в *Минерашки* над Днепром и пили там *кислые* воды. Многие дамы умели падать в обмороки *коловратности* и *Дидоны,* давно вышедшие из моды в столицах.

По вечерам на гулянье в Минерашках почти всегда можно было увидеть осанистого человека в странном, похожем на халат, синем с золотым шитьем одеянии. На него, как на достопримечательность, киевляне показывали приезжим: «Да, тот самый: убийца Лермонтова!» Лицо у Мартынова было скорбно-таинственное. Гулял он всегда с дамой тоже таинственного вида. Один шалый киевский студент, весельчак и силач, держал пари, что на гулянье поцелует эту даму. Пари он выиграл, к большому удовольствию «Безрукого», который очень недолюбливал скорбно-таинственного человека. Студенты вообще жили в Киеве весело, учились мало, переполняли кондитерскую Беккера и Английскую гостиницу, играли на биллиарде и в карты, — кто-то из них прославился тем, что дочиста обыграл и оставил без гроша заезжего Франца Листа. Весело жили и офицеры, чиновники, профессора.

Быт был вековой, отстоявшийся, уютно-провинциальный, — такой быт, о котором с грустью и любовью позднее вспоминают люди, прожившие бурную жизнь. И все же где-то, почти незаметно, шло так называемое «брожение». Либерализм молодежи, правда, сказывался преимущественно в том, что студенты, рискуя карцером, выходили на улицу в табельные дни не в парадном мундире, или без треуголки, или без шпаги. Но были также маленькие революционные кружки, особенно польские, — дело одного кружка кончилось трагически, отдачей в солдаты и даже каторжными работами. Было украинское общество Кирилла и Мефодия. Среди отсталого еврейского населения читались воззвания короля Зиг-

фрида-Юстуса I: какой-то немецкий купец из Герлитца, христианин, Фридрих Густав Зейфарт, по непонятным причинам объявил себя сионистом, еврейским королем, освободителем Израиля и выдавал дипломы за услуги по предстоявшему завоеванию Палестины.

Большинство же пятидесятитысячного населения города, вообще ничем таким не интересовалось. Люди только разводили руками, если что всплывало на поверхность, особенно если начиналось следственное дело. В общем, все любили Киев и с гордостью передавали слухи, будто император хочет сделать его третьей столицей. Охотно живали в нем и великороссы, «Как хорош, как хорош Киев, как я люблю этот город!» — писал позднее Иван Аксаков.

III

> There was in him a mixture of that disease, the nature of which eludes the most minute enquiry though the effects are well known to be a weariness of life, an unconcern about those things which agitate the greater part of mankind, and a general sensation of gloomy wretchedness *).
>
> Boswell

На одной из параллельных Крещатику улиц, в Липках, жила семья Лейденов. Дом был деревянный, одноэтажный, серо-зеленый, без колонн и без мезонина, без модных затей и без подделки под русский ампир прошлого царствования. Хозяин говорил, что стилями не интересуется: было бы просто, удобно, просторно,

---

*) «У него была та болезнь, природа которой ускользает от самого тщательного исследования. Но ее следствия хорошо известны: усталость от жизни, равнодушие к тому, что волнует громадное большинство людей, и общее чувство мрачной подавленности».

прочно, а тогда стиль неизменно приходит сам собой. Дом был в десять комнат. Из них половина выходила в сад с беседкой, за которым следовал отделенный забором двор с конюшней и сараем. В доме была неуютная огромная зала в четыре окна на улицу, с двумя стенными зеркалами в черных рамках с золочеными, крытыми шелком стульями по стенам, со стоявшим наискось пианофорте. Чтобы сделать эту комнату менее неуютной, у более узкой стены были поставлены диван, стол и два кресла, да еще одно удобное кресло стояло в углу у печки. К зале примыкала столовая, тоже большая, но поменьше и потемнее, с двумя боковыми окнами, выходившими в узкий *черный* проезд от улицы ко двору. Были еще две парадные комнаты. В них хозяин устроил свой рабочий кабинет и библиотеку. В низких тяжелых дубовых шкапах были книги на русском, французском, немецком, английском и итальянском языках. Было даже несколько латинских книг. Лейден недурно знал латинский язык и порою, встречаясь в польских домах с ксендзами, приводил общество в почтительное удивление, кое-как объясняясь с ними по-латыни. Иногда цитировал на память стихи из «Георгик» Виргилия и из «De re rustica» Колумеллы, о котором в Киеве не слышали даже ученые ксендзы. По содержанию, книги в библиотеке были самые разные. Один шкап был занят книгами философскими и мистическими. Немало было трудов о смерти и загробной жизни. Были сочинения Сведенборга. Были и совсем странные книги, как предсказания славного 106-летнего швейцарского старца Мартына Задеки, — того самого, которого читала пушкинская Татьяна. Книги были большей частью в хороших переплетах с кожаными корешками и углами; но было и немало и непереплетенных; их вид всегда немного раздражал хозяина, — он мечтал о том, чтобы всё было переплетено; вдобавок, терпеть не мог разрезывать книги. Однако, Лейден был скорее человеком рассчетливым; у него отводилось четыреста рублей в

год на библиотеку, он из этого бюджета не выходил. Кроме главной библиотеки дома, в которую никто кроме хозяина не заглядывал, были еще этажерки с книгами у его жены и дочери, и это создавало, как говорил их друг Тятенька, «культурность, уют и независимость». У Ольги Ивановны впрочем книг было немного: Священное писание, сочинения Жуковского и старые русские романы, те, что она читала в дни своей юности и любила перечитывать. У Лили были Лермонтов, Марлинский, Бальзак, Жорж Занд, Дюма. Некоторые книги ее библиотеки были в России запрещены; ей приносил их в подарок Тятенька, к большой ее гордости и к некоторому неудовольствию матери.

Лейден был человек высокого роста, седой и плешивый. В последние два-три года стал немного сутуловат; это вышло как будто случайно: вдруг неизвестно зачем попробовал ходить чуть сгорбившись, — как будто так легче, — а затем вошло в привычку. Жена огорчалась и советовала ему поменьше сидеть за письменным столом. Он считался одним из самых образованных людей в Киеве, хотя в новом университете св. Владимира было уже немало профессоров, известных на всю Россию. Но и профессора, бывавшие у него в доме, и другие знакомые находили, что ум у него странный: ему бы родиться лет на сто раньше. Говорили даже, что он в молодости знал мистика Олешкевича и будто бы имел отношение к попыткам возродить орден тамплиеров. Старожилы, смеясь, рассказывали, что на этот предмет в доме у пана Пиотровского были черные гробовые покровы с галунами, а у пана Фалинского даже и скелеты. Впрочем, старожилы о Лейдене присочиняли. Недоброжелатели же иронически замечали, что мистика мистикой, а дела делами: «В жизни этот ваш Лейден человек весьма практический». По специальности он был агрономом, учился в Москве и в Вене, знал толк в технике, машинах, заводских строениях. Часто бывал консультантом (этого слова тогда не было в употребле-

нии) при постройке сахарных заводов. Фамилия у него была неопределенная по корню. Он не уверял, что он шотландец или испанец, а сухо замечал, что не знает своего происхождения и не интересуется.

— Чорт вас знает, кто вы такие! — говорил ему Тятенька. — Есть Лейдены и немцы, и голландцы, и англичане, и кого только нет. А корень Ley или Lew, быть может, даже иудейский. То-то ты был так дружен с Виером.

— Происхожу по прямой линии от Адама. Надеюсь, что через Авеля, а не через Каина, но и в этом я не уверен. Вот ты другое дело: ты наверное потомок араратского царя Арменака, — отвечал Лейден со свойственной ему мрачной шутливостью. Тятенька огрызался, но очень благодушно.

Отец Лейдена был преподавателем языков в Московском университетском благородном пансионе, затем стал профессором университета и оставил сыну немалые сбережения. Сам он их значительно увеличил и теперь был состоятельным человеком. Помещиком никогда не был, никаких крестьян не имел, но купил за бесценок много земли в Херсонской губернии для устройства больших садов и для новых культур. Все его деловые мысли были связаны с землей; однако и в земледелии его интересовало только новое: что ж всё рожь да пшеница!

Свою землю он обрабатывал вольнонаемным трудом, и в киевском их доме прислуга была тоже вольнонаемная. Он даже говорил слугам вы, чего никто не делал. Взглядов держался гуманных, но политикой мало интересовался. — «Мои политические взгляды очень простые: я хочу, чтобы меня оставили в покое и только!» — объяснял он киевским либералам. Был вообще человек угрюмый и необщительный. Звали его Константином Платоновичем; он говорил, что имя-отчество у него не вяжется с фамилией и вообще не подходит: «Платоном может называться митрополит или большой

барин, а мой отец был скромный учитель и никак не голубой крови».

В семейной жизни он был счастлив. Семья была очень дружная. Жена его Ольга Ивановна, в отличие от него, была чисто-русского происхождения. У нее были средства, и это было ему, в пору женитьбы, не совсем приятно: по своей гордости и подозрительности опасался, как бы не сказали, что он женился из расчета. Както раз за бутылкой вина неожиданно сказал Тятеньке (он редко говорил об интимных делах), будто никогда в жизни не изменял жене. Тятенька только изумленно поднял брови и подумал: «А не врешь ли ты, пан писарь? А если и не врешь, то нечем, братец, особенно хвастать: дурак ты!» У Лейденов была дочь, умершая от дифтерита. После ее смерти, не скоро, родилась другая, которой теперь шел семнадцатый год. Константин Платонович говорил, что работает и бережет деньги только для Лили: «Нам с женой ничего не нужно». — «Понятное дело, но работаешь ты, брат, слишком много, — отвечал Тятенька, — ещё хватит какая-нибудь мерехлюндия, у тебя к ней наклонность. Вот я честь честью, в свое время, спокойно умру от кондрашки: хорошо, быстро, отец умер через два дня». — «Что вы такое говорите, Тятенька! — недовольно замечала Ольга Ивановна, — но вы в самом деле слишком много едите и пьете. Я сто раз вам говорила, что...» — «Зачем же, Олечка милая, говорить в сто первый? Точно я сам не знаю. Только мне без еды и вина жизнь не в жизнь». Ольга Ивановна делала вид, будто сердится, но так как и Тятенька и они были совершенно здоровы, то эти разговоры неприятны не были.

В киевском обществе Лейдена не любили; отдавали должное его учености и порядочности, но считали замкнутым, гордым и странным. Часто говорили, что он «человек с заскоками», хотя это выражение почти ничего не означало, да собственно могло относиться к кому угодно. После успеха «Мертвых душ», шутники на-

зывали Константина Платоновича «херсонским помещиком».

Была у Лейдена еще особенность, несколько раздражавшая людей: не будучи трусом, он был чрезвычайно мнителен, очень заботился о своем здоровье и слишком часто говорил о нём со знакомыми, даже с теми, которым оно было совершенно не интересно. Начал *чинить* свое тело раньше, чем обычно начинают люди. На ночном столике у него всегда лежала старая, потрепанная книга «Врачебное веществословие или Фармакология». Он её читал с улыбкой, но читал: «Может, именно в старину лечили не хуже, чем теперь?» Выписывал газету «Друг здравия», любил лечиться, хотя и подозрительно относился к большинству врачей, зубы чистил табаком, что считалось очень полезным для здоровья, имел правила относительно того, что надо есть и в каком количестве, сколько надо ежедневно гулять, как одеваться в жару, как обвязывать шею в стужу. Во всех комнатах дома были термометры, а в кабинете на стене висел ртутный барометр. Термометрами Ольга Ивановна еще интересовалась, а в барометр верила плохо: погоды все равно не предскажешь, будет какая будет. Когда муж объяснял ей, что такое Торричеллиева пустота, она слушала благоговейно, но подавляла зевок. Случалось, ложась спать, Константин Платонович подходил к зеркальному шкапу и с отвращением смотрел на себя: «Да, понемногу разрушается тело и как становится с годами чудовищно безобразно!» — думал он и в эти минуты удивлялся, что жена может еще его любить. В обычное время принимал любовь Ольги Ивановны как нечто само собой разумеющееся и пересмотру не подлежащее. «Впрочем, ведь и я ее люблю».

В Киеве со смехом и недоумением рассказывали, что Лейден купается каждый день. «Просто корчит английского лорда! Да и английские лорды верно этого не делают, разве уж какие-либо отчаянные» — говорили в

городе. Бани в доме Лейденов не было, но была ванна. Константин Платонович выписал ее из Вены; высокий круглый котел с печью внизу, трубы и краны были устроены по его рисунку; киевские мастера наладили это не без труда, по непривычке к столь сложным сооружениям. Дворник Никифор каждое утро растапливал печь. Тятенька с возмущением утверждал, что Лейден губит свое здоровье: — «Во всей России верно только три или четыре психопата купаются каждый день! Впрочем, ты и есть психопат!» — говорил он, немного щеголяя этим еще мало распространенным словом. Пользовалась ванной и Лиля и гордилась ею: ванны не было даже у генерал-губернатора. Ольга Ивановна, ездившая каждую субботу в баню, старалась в ванную и не заглядывать; в первое время опасалась, как бы котел не взорвался, и умоляла мужа быть осторожнее. — «Никакого взрыва быть не может. Сопротивляемость стен в шесть раз больше необходимого», — уверенно отвечал Лейден. Температура воды у него всегда бывала определенная в зависимости от времени года, — он её тоже тщательно проверял.

Завтракал он всегда один: жена и дочь еще спали. Ольге Ивановне было совестно, что она не выходит к утреннему завтраку мужа, но и спать ей хотелось и, главное, ей казалось, что Константин Платонович предпочитает бывать по утрам в одиночестве. Утренним завтраком он интересовался больше, чем обедом. «Почему люди постоянно меняют карту обеда, а утренний завтрак у них всегда один и тот же?» — спрашивал он гастронома Тятеньку. — «Это ты спроси у Кифы Мокиевича, — неизменно отвечал Тятенька. — Я вот постоянно меняю: пью то кофе, то чай, то шоколад. Если чай, то к нему съедаю три еле сваренных яичных желтка, белка терпеть не могу, и четверть фунта свежей икры на черном хлебе: нигде в мире нет такого прекрасного черного хлеба как тот, который пекут у нас на Лютеранской улице» (Константин Платонович обычно говорил грам-

матически правильно построенными предложениями). Тятенька слушал с интересом, соглашался относительно киевского хлеба, но защищал и достоинства московских калачей. — «А насчет белка ты врешь, да и что ж это, три желтка и четверть фунта икры! Этого и ребенку мало!» — «Нет, брат, есть надо поменьше, и вообще незачем придавать значение всему материальному». — «Всему материальному! — сердито передразнивал Тятенька, — тогда и икры не жри! Она, брат, икра, материальная и даже два рубли фунт». Впрочем, Тятенька знал, что Лейден в самом деле не «материальный» человек. Он и работал гораздо больше, чем другие киевляне. В последние же годы все читал и читал ученые книги, преимущественно на немецком языке. А раз как-то, застав своего друга за чтением Гегеля, Тятенька и совсем проникся почтением: «Я дальше первой страницы никогда пойти не мог, и пропади он пропадом, твой Гегель. Да он и так пропал от холеры!»

IV

Зачем я теперь скажу про человека худо?
Лучше я должон сказать про человека хорошо.

Островский

Жена Лейдена, в отличие от него, пользовалась в городе общими симпатиями. По наружности она и теперь, в пятьдесят лет, оставалась, как говорили мужчины, «русской красавицей». Она была чрезвычайно добра. Любила ее даже прислуга, несмотря на то, что Ольга Ивановна, прекрасная хозяйка, держала под ключем сахар, кофе, чай, вина. Впрочем, делала это не из бережливости, а для того, чтобы не вводить людей в соблазн и в грех. Одевалась она скромно, хотя могла брать у мужа сколько угодно денег. Заказывала себе два платья в год, или же одно платье и еще какое-

нибудь манто. Раз в три-четыре года покупала на контрактах мех, всегда дорогой, и неизменно объясняла: «Это ведь вещь вечная, после меня Лиленька будет носить, или же подарю ей к свадьбе». Лиле заказывалось всего гораздо больше. В высшее киевское общество Лейдены нисколько не старались проникнуть, но когда их звали туда, Ольга Ивановна старалась — тоже для Лили — запомнить туалеты богатых дам.

Весь смысл жизни Ольги Ивановны был в муже и в дочери, особенно в муже: дочь скоро выйдет замуж и уедет, а с мужем они будут неразлучны до могилы. Тятенька прочел ей как-то из бывшего у него списка знаменитый разговор протопопа Аввакума с женой. Слова «Марковна, до самыя смерти» умилили Ольгу Ивановну до слез, хотя в их жизни с мужем решительно никаких мук не было. Так же умилял ее британский брачный обряд, — то, что жених и невеста обещают делить жизнь «в лучшем и в худшем, пока не разлучит нас смерть». Иногда с ужасом думала: «что, если он меня переживет! как он будет жить без меня?» (Константин Платонович думал порою то же самое). Ольга Ивановна всячески старалась устроить мужу спокойное, приятное существование и с великим огорчением видела, что это в последние годы ей не удается. Прежде он за чаем часто рассказывал ей о плантациях, о семенах, о новых открытиях, она слушала и старалась запомнить. Всё это не очень ее интересовало, но хорошая жена должна входить в умственные интересы мужа. В делах понимала не много, однако достаточно, чтобы кое-как заменять Константина Платоновича в пору его отлучек. В противоположность ему, новшеств она не любила. В землю же верила твердо: земля не разорит, останется, позднее перейдет к Лиленьке. В философские интересы мужа Ольга Ивановна входить не могла, не сочувствовала им и почему-то их боялась: ей казалось, что именно из-за них устроить мужу приятную жизнь становится с каждым годом всё труднее. Между

тем Ольга Ивановна не любила думать о неприятном и почти никогда не думала. Избегала разговоров о болезнях, а когда мужу или дочери случалось хворать, говорила с ними так, точно они всё выдумывают и совершенно здоровы. Знала, что такая манера обращаться с больными часто оказывает на них полезное действие. Разумеется, при этом окружала их самым заботливым уходом. Ночью по несколько раз вставала и на цыпочках подкрадывалась к комнате дочери, если Лиля бывала простужена. «Спит ли? Не накрыть ли ее второй периной?»

Она недурно играла на пианофорте; музыку любила преимущественно простую: романсы Николая Титова и другие, русские и малороссийские народные песни. Пела очень мило, не конфузясь и не ломаясь. Музыке Ольга Ивановна научилась с детских лет, но вообще учили ее в детстве мало, хотя она принадлежала к состоятельной южно-русской семье Яценко. По-французски говорила плохо, не стыдилась этого в отличие от других дам, однако думала, что это нехорошо и что следовало бы научиться. Лейден, обладавший художественным воображением, иногда старался себе представить, кем мог бы быть тот или другой его знакомый, если б родился в иной обстановке, в иное время. Но Ольгу Ивановну он мог себе представить только такой, какой она была, когда и кем бы она ни родилась. Главной и редчайшей ее особенностью, кроме доброты, была совершенная естественность и простота во всем. *Просто* она и верила. Посты соблюдала не строго, в церковь иногда по воскресеньям не ходила, но едва ли было много людей более религиозных, чем она. Сказывались ее убеждения и в том, что она никогда ни о ком не злословила; гостям, особенно дамам, даже скучновато было с ней разговаривать, и они считали ее глупенькой. Любовь к злословию совершенно одинаково совместима в человеке и с умом, и с глупостью. Ольга Ивановна знала это, знала и то, что очень добрых людей обычно счи-

тают неумными, но сама себе отвечала: «Может быть, именно глупые так считают». Она дурой не была, не была лишена остроумия и наблюдательности, шутить любила, однако, когда при ней дурно и резко говорили о знакомых, особенно о людях, только что покинувших гостиную, Ольга Ивановна упорно, без улыбки, молчала. Ей в таких случаях казалось, что она и молчанием принимает участие в нехорошем деле.

Благодаря милому нраву хозяйки, ее редкому гостеприимству, хорошему столу и винам, приемы у Лейденов славились во всем Киеве. Правда, немного вредил их успеху характер Константина Платоновича. Обычно, после последнего сладкого блюда, когда гости шли пить кофе в залу, он незаметно исчезал, уходил даже не в кабинет, а в свою спальную, там ложился на диван, не сняв фрака (к огорчению Ольги Ивановны, которая для таких дней приготовляла ему самое лучшее, только что выглаженное платье). Там он оставался долго и с тоской, почти с ненавистью, спрашивал себя, когда же уйдут гости. Из гостиной доносились звуки музыки. В отличие от настоящих певцов, Ольга Ивановна охотно пела и тотчас после еды. «Нет, доктор, нет, не приходи! Твоя наука не поможет!..» — доносилось в спальную. Лейден думал, что этот романс он верно слышал уже раз сто, что прежде Оля его пела лучше, и что ему, Лейдену, нет никакого, ни малейшего дела до того, придет ли к кому-то этот доктор и поможет ли его наука. Знал также, что Тятенька бурно потребует повторения и что все-таки через четверть часа придется опять ненадолго выйти к гостям.

К обеду можно было являться и без приглашения, хотя хозяйка предпочитала, чтобы ее предупреждали. Повара у Лейденов не было, но была отличная кухарка Ульяна, которую Ольга Ивановна очень любила. Константин Платонович, напротив, совершенно Ульяну не выносил. «Господи, какая идиотка!» — сердито говорил он. — «Ничуть не идиотка, а стряпает прекрасно», —

виноватым тоном, но твердо отвечала Ольга Ивановна. — «Вы оба совершенны правы», — примирительно говорил Тятенька, — «Ульяна мастерица первого ранга, но это истинное чудо, так как она действительно глупа, как сивый мерин. Между тем для такого дела, как кухня, ум вещь необходимая. Очень глупый человек не может быть ничем, не может быть и хорошим поваром». — «И вдобавок честна она так, что другой такой не найти», — заканчивала Ольга Ивановна победоносно. Она и сама умела стряпать; иногда часами работала с Ульяной на кухне, когда готовилось особенно важное и интересное блюдо. Константин Платонович только пожимал плечами. Он не имел ни малейшего предубеждения против какого бы то ни было труда, но ему просто это казалось странным. «Да, что же, когда я это люблю? — оправдывалась Ольга Ивановна. — Вот мыть посуду терпеть не могу, это уж всегда делает Ульяна, разве что я после воскресного обеда помогу. А стряпать очень интересно».

О ней тоже злословили гораздо меньше, чем о других дамах. Только люди, гордившиеся злым языком, говорили: «Что правда, то правда: мухи не обидит, но если б наш херсонский помещик да приударил за какой-нибудь юбкой, то юбку Олечка верно и очень обидела бы». На что не-злые языки возражали: «Ну, уж какая там юбка! Кроме своей колумеллы он никем не интересуется». — «Как знать, как знать? В тихом омуте черти водятся», — говорили злые языки, без убеждения, но с таким видом, будто им было кое-что об этом известно.

Спала Ольга Ивановна отдельно от мужа. Так было гораздо удобнее обоим. Константин Платонович никогда не ложился до полуночи, еще довольно долго читал в кровати при свете канделябра с тремя восковыми свечами, вставал в седьмом часу: ему было вполне достаточно пяти часов сна в сутки. Жена его ложилась обычно раньше, вставала позже. Она с марта до ноября спала

при отворенных окнах и всегда при спущенных шторах. Он и летом окна затворял, чтобы не простудиться, а шторы поднимал: не любил просыпаться в темной комнате, говорил, что утром темнота напоминает ему о гробе и приводит в дурное настроение на весь день. Ольга Ивановна слушала это с досадой и только пожимала плечами: не видела никакого сходства между гробом и комнатой со спущенными шторами и даже не могла это принимать всерьез, как ни благоговела перед умом и ученостью мужа. «Между мамой и папой полная incompatibilité d'humeur! — весело объясняла друзьям Лиля, всегда вставлявшая в речь французские слова, — им собственно давно бы пора развестись». — «Ну, вздор, вечно глупости», — замечала при этом мать, не любившая таких шуток.

Теперь у Ольги Ивановны было тяжелое время. Осенью муж поднес ей сюрприз: сообщил, что ему по делам совершенно необходимо побывать в Турции и в Италии. Он и прежде нередко ездил за границу. Был даже как-то в Париже для переговоров со строительной фирмой Дерон и Кайль: покупал там машины для себя и для сахарных заводов графа Алексея Бобринского. Граф, очень влиятельный человек, создал в России свеклосахарную промышленность вопреки упорному сопротивлению министра финансов Канкрина, считавшегося гениальным финансистом. Он добился разрешения на поездку во Францию для Константина Платоновича, которого очень ценил и которому много раз безуспешно предлагал у себя должности с большим жалованьем.

На этот раз Лейден отправлялся за границу по собственным делам и на собственные деньги. Цель его поездки была довольно необычная: он хотел изучить южную растительность, приобрести деревья и семена для своих новых плантаций. В частности хотел насадить в Херсонской губернии платаны, что обещало немалыя выгоды. Эти деревья очень ценились как строительный

материал для флота, — хорошо выдерживали морскую воду. Кроме того, из их коры можно было изготовлять разные лекарства, и стоило построить фармацевтический завод. Помимо выгоды, дело соблазняло Лейдена новизной; если он не обзавелся собственным сахарным заводом, то больше потому, что теперь сахарные заводы строили все.

Холера в Киеве *почти* кончилась. Всё же Лейдену было страшно оставлять жену и дочь. Но и независимо от этого, душевное состояние Константина Платоновича в последний год становилось с каждым днем всё тяжелее, притом без всякой видимой причины. Он кое-как, с большим трудом старался скрывать это от своих. Однако вопрос о платанах и заводе настоятельно требовал решения до начала весны и откладывать поездку было невозможно.

Вещи мужа укладывала Ольга Ивановна, делавшая это очень хорошо. Только его книги и дорожную аптеку укладывал он сам: она относилась подозрительно и к его книгам, и к его лекарствам. Работы было дня на три. Константин Платонович впрочем нетерпеливо говорил, что всё можно сделать в полчаса, и, нервно расхаживая по комнате, давал жене указания. — «Да, да, ты мог бы сделать в полчаса, ты такой способный, но я не могу, я неспособная», — говорила она, вздыхая. Впрочем знала, что ее работа в сущности самообман: после первой же остановки всё придет в совершенный беспорядок, а к концу поездки (хотя кое-что будет растеряно) места не хватит, муж где-нибудь купит новый сундук, именно такой, какого не нужно покупать, побросает вещи как попало, не обвернет обуви толстой бумагой, туалетные склянки уложит так, что они непременно разобьются и красный элексир прольется на новый, бессовестно смятый костюм. «Что ж, он такой и другим быть не может», — как всегда в таких случаях, думала Ольга Ивановна. В исполнении этой своей очередной обязанности она находила грустное удовлетворение. За два дня до отъез-

да чемоданы уже стояли на полу в кабинете готовые, но не перевязанные ремнями, — вдруг в последнюю минуту о чем-либо вспомнишь или, наоборот, придется что-либо вытаскивать. На следующий день начал заполняться последний ящик, называвшийся по старинному погребцом. В кожаные карманы, по сторонам от окорока и колбас, были вставлены и пригнаны заложенными бумажками, чтобы не шатались, четыре бутылки венгерского вина. К большому огорчению жены, Константин Платонович пил в последнее время всё больше. Переезд из Киева в Одессу считался трудным: на станциях, в *ямах,* ничего нельзя было достать кроме водки. «Пусть уж лучше пьет хорошее вино». В последнее же утро, перед самым отъездом, Ольга Ивановна собиралась положить в погребец, в мешочках, кульках, картонках, *рогалики,* черный хлеб, еще горячий из булочной, масло и два фунта бекетовской икры прямо со льда. Подумала было, чтобы развеселить его в Константинополе, не положить ли в один из чемоданов старинную книгу, перешедшую к ней от матери: «Опасной спор или сколько женщины могут полагаться на верность мужчин», — но не положила: «Наверное где-нибудь потерял бы».

V

He never sat up when he could lie down; and never stood when he could sit *).

O. Henry

Тятенька сидел у них в кабинете накануне отъезда Лейдена в одиннадцатом часу вечера. В этот день обедало человек шесть. Другие гости давно ушли. Он остался как ближайший друг дома. Клятвенно обещал Константину Платоновичу бывать во время его отсутствия каж-

*) «Он никогда не сидел, когда можно было лежать, и никогда не стоял, когда можно было сидеть».

дый день и «за всем следить». Впрочем, Тятенька и без того бывал в доме Лейденов чрезвычайно часто. Он был как бы членом семьи. Но теперь Ольга Ивановна была не очень довольна, что он засиделся: в последний вечер мог бы оставить их пораньше.

Все, даже не близкие, люди называли его Тятенькой или реже Тятей. Это прозвище ему когда-то дали из-за какого-то малоинтересного, давно забытого происшествия; едва ли теперь и друзья могли бы объяснить, почему именно его так прозвали. Но прозвище к нему подходило, и главное, совершенно к нему не шло его необычное, чуждое русскому уху и даже труднопроизносимое имя-отчество. Тятенька был старый холостяк, чуть молодившийся, необыкновенно благодушный, жизнерадостный армянин. Он перепробовал в жизни много профессий, немало поездил по свету, видел знаменитейших людей мира, — именно только видел, ибо ни с кем знаком не был. Когда-то в царскосельском парке он встретил Екатерину II, и она, в ответ на его низкий поклон, сказала ему: «Здравствуйте, сударь». Из этого люди заключали, что, если Тятенька был уже «сударем» при скончавшейся полвека тому назад императрице, то верно ему не шестьдесят девять лет, как он говорил, а побольше. В 1814 году он, не то как чиновник по провиантской части, не то как поставщик, сопровождал русскую армию, застрял в Париже по случайности, — скорее же потому, что ему очень хотелось там пожить, и видел Наполеона в момент его возвращения с острова Эльбы. Рассказ об этой сцене был, как говорила Лиля, «коронным номером» Тятеньки. Впрочем, он видел императора еще и раньше, в Эрфурте, куда тоже как-то попал. Тятенька очень любил рассказывать о своих путешествиях, в частности, о том, что он в разных странах ел и пил. Хранил карты блюд и вин из тех заграничных ресторанов, где они уже были, и любил показывать меню Вери и Роше-де-Канкаль. Впрочем, всегда добавлял, что в России едят

еще лучше: — «Что ж, когда они до шашлыка не додумались!» Однако видел он в Париже не только рестораны; бывал и в театрах, и на лекциях, и даже в парламенте. Был еще чрезвычайно бодр. Волосы он красил, так что его, несмотря на его не-военную фигуру, на улицах, случалось, принимали за генерала, почему-то гуляющего в штатском платье (военным предписывалось красить седины). Это ему льстило. Офицером он никогда не был, но имел каким-то образом медаль за взятие Парижа и по торжественным случаям надевал ее.

Тятенька давно осел в Киеве. У него был кабинет для чтения, называвшийся «Аптекой души». При кабинете была книжная и писчебумажная торговля, одна из лучших на всю южную Россию. Названия он не выдумал: кабинеты для чтения со сходными названиями существовали и в других местах. Он даже и обставил свой магазин так, как тогда обставлялись аптеки: на вывеске были изображены лев и единорог. Благодаря опыту и связям Тятеньки, торговля в «Аптеке души» шла отлично. Он имел небольшое состояние. Происходил он из бедной семьи, со вздохом сообщал, что остался последний в роде, и добавлял: «Ожитворен средь небогатого люда. Мал бех в братии моей и юнейший в доме отца моего, и многому бех в жизни соглядатаем». Читал почти с одинаковым удовольствием и превосходные, и плохие книги, — не только потому, что не очень знал толк: находил много поучительного и в плохих книгах. Чтение у него стало такой же привычкой, как водка перед обедом или сон после обеда: он и засыпал всегда с книгой или с ведомостями. Знал на память много стихов и любил их цитировать (обычно перевирал). За границей и в Петербурге он проводил часы в музеях, в картинных галереях, всё изучал, многое помнил, кое-что даже записывал; непонятно было, для чего он всё это делает (как впрочем, и множество других людей): ни одной своей мысли это у него не вызывало. По делам своей

торговли он часто ездил в Гамбург, в Берлин. Немцев почитал за порядок и отчаянно ругал за еду. Любил повторять присказки какого-то немца, вроде „Frisch ins Leben hinein!“ или „Kein Leichtsinn, aber einen leichten Sinn“.

Так как Тятенька был человек хорошо воспитанный и остроумный, да и торговля у него была благородная, — не какие-нибудь сапоги, а книги, — то его принимали в хороших домах, звали — правда, лишь на большие приемы — к гражданскому губернатору Фундуклею и даже иногда к генерал-губернатору. Он, как и Лейден, нисколько за этим не гонялся, хотя, в отличие от Константина Платоновича, обиделся бы, если б совсем не звали.

Жил он, как почти все киевляне, не принадлежавшие к «простому народу», в собственном доме, — в подольной части города, недалеко от Днепра. Дом был всего в четыре комнаты, но тоже с садом, двором, беседкой, конюшней и сараем. На всех восьми окнах стояли горшки и цветами, покрытые кисейными занавесками. Полы были некрашеные, ковры рваные и дешевые; обои, не наклеенные, а прибитые гвоздями, кое-где углом отваливались вниз. Тятенька легко мог бы иметь то, что было у других: не очень дорогую обстановку, сносно подделывающуюся под дорогую. Но это его не интересовало, и ему и думать не хотелось о покупках, ремонте, чистке, переделках. Впрочем, у него было несколько не очень дурных картин, а на полках в столовой стояла старинная дорогая посуда. Он ее и называл как-то по старинному: штофа, штопка, фляша, збаночек, раструханчик, пуздерко, так что гости не всегда понимали. Его «Аптека души» находилась довольно далеко, на Крещатике. Тятенька ездил туда в своей обитой синим сафьяном бричке (неправильно называл ее «бидкою»), проверял счета, просматривал новые книги, давал общие указания главному приказчику, которого называл управляющим. Трудом себя Тятенька не угнетал: как

Людовик XV, находил, что работать в день один час человеку совершенно достаточно. Вставал он с рассветом, выпивал несколько огромных чашек кофе, варившегося «по-польски» в молоке, съедал густо намазанную маслом булку в фунт весом. В десять часов завтракал, еду предпочитал простую, — подавались ветчина, икра, гусиный полоток, борщ с сушеными карасями, зразы с кашей или жаркое по-гусарски, сочни с сыром и сметаной, а к ним кальмусовка, брусиловский гольдвассер, старый мед. В два часа он обедал еще гораздо плотнее, хотя обычно говорил старухе-ключнице: «Ох, что-то не обедается», — когда не говорил: «К завтраку еду, а к обеду домой приеду». Днем пил чай с бутербродами, паштетами, бабками. Вечером ужинал в гостях «как Бог пошлет», но бывал он обычно в таких домах, где Бог посылал хороший ужин. За едой особенно сыпал прибаутками. Вместо «выпьем» говорил «зашибем муху» или «задавим буканда», с умоляющим выражением просил хозяйку «уж не обнести его чарочкой», — она изумленно-обиженно вскрикивала от такого предположения, — а шипучее вино называл «таможенным квасом», — в пограничных городах шампанское продавалось по рублю бутылка. Любил поиграть в карты и за игрой изумлял тех, кто этого еще не слышал, сообщением, что колода из пятидесяти двух карт допускает шестьсот тридцать пять миллиардов комбинаций, — называл даже совершенно точную цифру.

Несмотря на свое обжорство, Тятенька особенно толст не был, так что дородные люди, евшие вдвое меньше его, недоумевали и завидовали. И только короткая шея и толстые синие жилы на его лбу вызывали печальные мысли. Сам он никогда о смерти и о болезнях не думал, да и было некогда, хотя он почти ничего не делал. Из развлечений любил рыбную ловлю или, скорее, притворялся, что любит: был и для нее слишком ленив. Иногда один уезжал на Труханов остров и *щупал* там раков, — по словам же друзей, покупал их

на обратном пути на Подоле, хотя врал реже большинства людей: и не любил, и не умел.

Не менее раза в месяц он приглашал к себе на обед всех, у кого ужинал, и тогда их закармливал. Поздно вечером, когда гости бурно возражали, что больше не могут ни есть, ни пить, готовил жженку и при этом обычно декламировал: «Когда могущественный ром — С плодами сладостей Мессины, — С немного сахара, с вином — Переработанный огнем — Лился в стаканы исполины», и не упускал случая добавить: «Вот и великоросс Языков, а русского языка не знает: «С немного сахара»! А впрочем именно потому, что великоросс, и не церемонится: *его* язык». Иногда Тятенька, фальшивя, затягивал песни, чаще всего малороссийские. Он любил говорить по-украински, хотя говорил не слишком правильно. Был дружен с Костомаровым; тот был такой же веселый, жизнерадостный человек, как он сам. Шевченко же недолюбливал и за слишком резкие стихи, и за то, что тот предпочитал ром всем напиткам: Тятенька стоял за коньяк. Гостили у него часто и великороссы, и украинцы, иногда живали неделями. Он и их кормил точно на убой, но иногда проговаривался: «Гость что рыба: три дни хорош, а потом портится».

Одевался он небрежно, носил с утра довольно потертый фрак с перламутровыми пуговицами, фуляры, широкие клетчатые брюки без штрипок, — штрипки почему-то ненавидел и презирал. Жилеты носил необычайно яркие, иногда, как в старину, сразу по два, и на цепочке от часов у него всегда уютно звенели огромные брелоки. От него и вообще веяло уютом. За дамами он ухаживал по-старинному. После пятой или шестой рюмки говорил соседкам, вздыхая, что-либо весьма галантное, тоже обычно по-малороссийски, вроде «Купидон пронизав у мине наскризь сердце стрилою». После десятой же рюмки, случалось, становился даже игрив и, глядя на шею соседки, спрашивал ее: «А что у вас здесь, прелестная Солоха?» Дамы делали вид, что сердятся, но

были довольны. На Тятеньку, по его благодушию, люди вообще не сердились. Впрочем, вольные цитаты он позволял себе лишь редко, да и в этих случаях не забывался; с барышнями же их никогда не допускал. Непристойные анекдоты очень любил, но исключительно в мужском обществе. Писал он и мадригалы в стихах, и даже эпиграммы, причем, несмотря на свою доброту, следовал лучшим образцам: чем была грубее и бесстыднее эпиграмма (даже о даме), тем считалось лучше. Шутки же предпочитал старинные. Так порою устраивал какой-нибудь Софье Васильевне сюрприз: помещал в губернских ведомостях или в календаре сообщение о том, что на небосклоне внезапно появилась новая красавица-комета, которую в честь богини мудрости назвали Софией; но в Испании духовенство опасается, как бы грешники не обоготворили ее и не переименовали в Диану или в Венеру. Эти, не им выдуманные, шутки имели большой успех. И только Лейден мрачно говорил: «А все-таки болван ты порядочный! Пора бы тебе о душе подумать». Тятенька не обижался и отвечал: «О душе думай о своей. А что болван, то не скажи: я много тебя умнее».

Он имел репутацию порядочного и очень доброго человека. Даже не близким людям давал взаймы деньги, разумеется без процентов, назад не требовал или требовал без настойчивости. Только книги давал неохотно, записывал и предупреждал: «Если кто зачитывает книгу, то я его считаю последним подлецом, хуже отцеубийцы», — люди иногда после этого с испугом от книги отказывались. Тятенька хорошо знал два иностранных языка, получал популярную тогда „Augsburger Zeitung“ и знал имена правителей в главных странах Европы.

При своих книжных связях он доставал и запре-

щенную литературу. Называл себя «партизаном представительного правленья», правительство втихомолку поругивал и, например, шутливо говорил «департамент подлостей и вздоров», поясняя: «департамент податей и сборов». В молодости ненавидел Наполеона за деспотизм и рассказывал, что когда-то назвал свою собаку Наполеошкой. Однако, после встречи с императором, простил его и собаку назвал Талейрашкой. В литературе он от моды отставал, Пушкина, случалось, поругивал, когда им уже опять принято было восхищаться, и одобрительно вспоминал ходившие в давнее время стишки: «И Пушкин стал нам скучен, — И Пушкин надоел, — И стих его не звучен, — И гений охладел»... Зато еще не всеми признанного Гоголя обожал и вечно цитировал. Дипломатом или светским человеком Тятенька никогда не был, но, как позднее несколько поколений дипломатов и светских людей, находил чрезвычайно остроумными «Сенсации госпожи Курдюковой» Ивана Мятлева, которого, как придворные в Зимнем дворце, называл Ишкой, хотя отроду его не видел. По-русски он говорил без малейшего акцента и чуть по-старинному, — воспитывался при Екатерине II. Писал «естли», «щастье» и даже произносил эти слова не совсем так, как люди следующих поколений. Новых писателей часто ругал за слог, за новшества, за то, что вместо «всётаки» говорят «всё-же», вместо «не достает» — «не хватает», вместо «вероподобно» — «вероятно». Впрочем, и сам слово «вероподобно» теперь уже произносил редко, как бы с вызовом, и, наряду со старинными выражениями, употреблял новые, так что выходило не очень складно. Точно так же он, употребляя слова, перешедшие в русский язык из французского, род им придавал произвольный, иногда правильный, как в словах «монограмм», «корветта», иногда и нет. Вставлял и простонародные выражения, часто говорил «быдто» или даже

«быдто-шта», хотя во Владимире никогда не жил. Употреблял и польские, и украинские слова.

Тятенька собирал разные рукописи и даже читал их. Обожал Киев, прекрасно знал его прошлое, мог долго и интересно рассказывать о Золотых воротах, об Оскольдовой могиле, о Крещатицком ущелье близь Государева сада, где князь Владимир крестил своих сыновей, о Выдубецком или Выдыбаевском монастыре, на месте которого *выдыбал* из Днепра брошенный в реку идол Перуна. Знал в молодости стариков, которые своими глазами видели, как над Крещатиком в воздухе пронесся змей с огневыми глазами и с длинным гремучим хвостом. Это рассказывал со смехом. Тятенька был вольнодумец, и, как многие вольнодумцы, знал духовную литературу. Любил озадачивать людей вопросами о малопонятных выражениях в молитвенных книгах. Знал, чем киевское богослужение отличается от великорусского и как случилось, что в церквах Киева в такие-то дни вместо трезвона бьют только в один колокол, вместо серебряных лампад вешают медные, а вместо белых свечей зажигают зеленые. Ризницу же Киево-Печерской Лавры он знал не хуже ее хранителей; водил туда приезжих и безошибочно называл им исторические панагии, золотые сосуды Самойловича и княгини Гагариной, золотопоставной крест, пожертвованный Мазепой.

С Лейденом Тятенька часто разговаривал о таинственных предметах. По существу они не слишком его интересовали. Но в разговорах о загробной жизни было что-то уютное. Обычно Тятенька, в меру поспорив за чаем, соглашался, что «во всем этом что-то есть», и прибавлял: «Есть, Горацио, много такого на свете»... Шекспир незадолго до того вышел в переводе Кетчера прозой, так что перевирать было удобно.

VI

Je mets tout mon plaisir a être triste...

Mais, au fond, cher lecteur, je ne sais pas ce que je suis: bon, méchant, spirituel, sot. Ce que je sais parfaitement, ce sont les choses qui me font peine ou plaisir, que je désire ou que je hais *).

Stendhal

Они и теперь говорили об ученых предметах. Говорил больше Тятенька. Лейден отвечал ему кратко и рассеянно. На письменном столе стояли бутылка и два стакана. Найти для них тут место между книгами, бумагами, тетрадками было не так просто. Несмотря на деловитость Лейдена, у него на столе всегда был хаос; он сам с трудом находил то, что ему было нужно. Ольга Ивановна только вздыхала; и ей, и прислуге строго запрещалось прикасаться к бумагам письменного стола. Иногда в грустные минуты она думала, что этот беспорядок отражает хаос мыслей в голове ее мужа.

— Ну, хорошо, так объясни-ка мне следующее: в книге пророка Даниила задается вопрос: «Когда будет конец сиих дивных происшествий?» А муж в льняной одежде отвечает: «К концу времени и времен и полувремени». Что это означает? — спросил Тятенька, подливая себе наливки. Впрочем, он тоже говорил без увлечения. То, что Лейден называл его «безграничной потребностью в чесании языка», было за день удовлетворено. Тятеньке давно хотелось на перины. Он засиделся, желая развлечь хозяев. Ему и в голову не приходило, что он где-либо может быть в тягость: так была прочна — да и заслужена — его репутация души общества. И уж совсем он не думал, что может иногда,

*) «Всё мое удовольствие в том, чтобы быть печальным. Но в сущности я, дорогой читатель, не знаю, что я такое: добр ли я или зол, умен или глуп. Зато я знаю отлично, что мне доставляет огорчение и что удовольствие, знаю, чего я желаю и что ненавижу».

правда чрезвычайно редко, тяготить семью Лейденов. К этой семье он чувствовал нежную любовь; такие семьи бывают у большинства одиноких старых холостяков.

— Не знаю, брось. Лучше скажи, где же мне квартировать в Константинополе? Впрочем, ты там был при царе Горохе.

— В самом конце царствования царя Гороха. Еще до того, как султан Магомет, царство ему небесное, не гной его косточки, вырезал янычар. Теперь лежу у себя на полатях и отлично делаю. Человек, особливо пожилой, должен сидеть дома. Ни к чему, братец мой, путешествия. Всего всё равно не перевидаешь. Кой чорт тебя несет в Турцию? Сидел бы во своясях. Хочешь работать, писчий стол отличный, книг видимо невидимо. Но в тебе, братец, есть авантюристическая жилка.

— Жилка, может, и есть. Мой родственник по матери, Штааль, был, кажется, совершенный авантюрист. Принимал участие в убийстве Павла... Да на этот раз жилка ни при чем. Я еду, как ты знаешь, просто по делу, а что лучше бы не ездить, в этом ты, быть может, прав. Предчувствия у меня самые мрачные.

— Какой вздор несешь! Предчувствия! — проворчал Тятенька. — Против предчувствий нет ничего лучше хорошего вина. В Турции ты, братец, пей тенедос: очень недурное красное вино и дешевое; в мое время я там платил на наши деньги что-то вроде двадцати копеек за бутылку. Теперь верно цены поднялись. Водка их, дузика, это не Бог знает что, но и ее пить можно. Всякую водку можно и должно пить. А о предчувствиях и думать не смей, стыдно. И свою философию вообще брось. Вот ты и теперь сидишь в кресле с видом Мария на развалинах Карфагена. Брось, брат! И Карфаген твой, слава Богу, цел и благополучен. Жена и дочь у тебя одно очарование. Денег достаточно, дом полная чаша. Чего тебе еще?

— У тебя счастливый характер. Ты верно о смерти никогда и не думаешь. Мне многие говорили, что никог-

да не думают, и говорили почему-то с гордостью. Людям нашего с тобой возраста, в сущности, решительно нечего больше ждать в жизни. Чего мне ждать? Ну, Лиленька, Бог даст, выйдет замуж и, как говорится, будет счастлива. Я этого слова и употреблять не могу иначе как в кавычках. Ну, создам большую плантацию, новый завод. А дальше что?.. Нет, правду говорит Гамлет в своем монологе «Быть иль не быть». Всё там правда, кроме одного: «Быть может, видеть сны», «Perhaps to dream». Нет, это соображение, конечно, никого от самоубийства не останавливало, ведь скорее это в пользу самоубийства: значит, еще что-то будешь видеть. Что угодно могло остановить, но не это. И никак не мысль, будто это грех! По-моему, тут не только нет «греха», а единственный достойный вид смерти это именно самоубийство.

— Какой ты вздор говоришь! Слушать гадко!

— Я говорю правду. Важно сознание, что ухожу когда хочу и как хочу, сам выбираю и срок, и способ. Не нужно мне отвратительных болезней. Ведь все болезни и безобразны, и постыдны своим безобразием. Без мучений ухожу, и прежде того времени, когда стану глупеть... Греки признавали счастливцами тех, кто умирал рано. Жрица Аргоса торопилась в свой храм, но что-то случилось с лошадьми. Тогда ее два сына впряглись в колесницу и доставили ее вовремя. Она помолилась Гере, чтобы та вознаградила ее детей за такую добродетель. Гера исполнила ее желание: в ту же ночь оба сына умерли.

— Дуры они были обе: и жрица, и Гера, уж это неотменно! — сказал Тятенька. — И плюнь ты на идиотские мифы! Уж если и самоубийства коснулся, то, значит, братец, у тебя ум за разум зашел. Настроение души у тебя в последнее время такое, будто ты живешь в больнице чахоточных и потерял там в весе полпуда. Брось ты Геру, пей венгерское и ухаживай за милыми женщинами. Куда бы хорошо сделал!.. А то засохнешь,

брат, от мыслей-то. Французский философ Фонтенелль заспорил о чем-то с какой-то дамой-красоткой, она возьми и приложи руку к его сердцу: «Здесь, говорит, сударь, у вас тоже мозги!» Добро бы еще, ежели бы мыслишки твои были путные... А то, право, они у тебя как у семи греческих мудрецов, уж если ты о греках заговорил. Помнишь, они свою мудрость записали в Дельфийском храме: Биас сказал: «Большинство людей дурны», Клеовул сказал: «Соблюдай во всем меру», еще кто-то сказал: «Всё обдумывай»... Ишь какую нашли мудрецы мудрость! — смеясь, сказал Тятенька. — Брось, брат, свою философию!

— Нет, не могу бросить. Буду уж думать до конца моих дней, — сказал Лейден. Ему впрочем было совестно говорить со своим другом о смерти. Тятеньке было семьдесят четыре года и его апоплексический вид показывал, что жить ему недолго. «Как вообще находят силу жить эти глубокие старики? Ведь ясно же: еще год-два и обчелся. Мне *всё-таки* осталось верно гораздо больше», — думал Константин Платонович. — «И вообще эти наши споры бесполезны. В спорах люди часто говорят первое, что им приходит в голову, иногда и такое, что вовсе не соответствует их действительным взглядам: подумали бы, сказали бы совершенно иное».

— Вот и иссохнешь, — сказал гневно Тятенька. — А кстати с твоей стороны премило говорить: «нашего с тобой возраста». Я старее тебя на десять лет. Только ведь, братец мой, будешь ты о смерти думать или не будешь, это ровно ничего не меняет: с думами умрешь и без дум умрешь. Смерть сама обо мне думает, авось ли малость подождет. А я тихонько сижу и делаю вид, будто не замечаю. А то сам перехожу в наступление и смеюсь над ней: подождешь, подождешь, я тебе скажу, когда будет время: как только хватит кондрашка, сейчас же приходи, голубушка, приходи поскорее, чего уж теперь ждать. А потом Ведомости напечатают некрологию: замечательный был человек, царство ему небес-

ное, редкий ум, чуткое сердце, помогал вдовам и сиротам, таких людей больше не будет. Мастера газетчики врать. Я бы для них заказал готовый листок, могли бы только проставлять имя-отчество и фамилию.

— Не нов, Тятенька, твой подход к смерти. У тебя слишком трезвый и земной склад ума. Иначе ты и не называл бы всего этого «филозофией». Конечно, и то, что я говорю не так уж оригинально. Но для каждого из нас это в известный момент из теории превращается в муку жизни. Вопрос ведь не в том, что придется умирать, а важно *как* умрешь.

— «Земной склад ума!» — сердито передразнил Тятенька. — У меня склад ума правильный: против непременяемого не спорить. Ни с природой, ни с царем я не борюсь. Запиши это своеручно, я ведь знаю, что ты ведешь дневник, как барышня. Лиля тоже ведет. И то, что ты говоришь о смерти, это действительно старо как мир. Тут, братец, никто ничего нового не скажет. А как этакий там Бальзак начнет описывать, так ничего, кроме каких-нибудь синих ногтей у покойника или покойницы, не выдумает. А доморощенный Бальзак еще добавит о своих чувствах: «Ах, я так страдал над ее гробом! Ах, этот запах ладана!.. Ах, всё в моей жизни посерело, точно солнце скрылось!» Всё это правда, и я очень люблю правду, только ты мне подавай правду повеселее. И притом что же: вот у тебя другой склад ума, философский, а ты всё же едешь закупать платаны, и землицы прикупил, — съязвил Тятенька и тотчас смягчился. — И куда хорошо сделал, что прикупил. Надо жить земными интересами. Их, слава тебе, Господи, достаточно.

— Так-то оно так, да у меня и для земных интересов в конец испортился характер, — сказал со вздохом Лейден. — Едва ли меня кто в Киеве считает несчастным человеком. — Он бросил вопросительный взгляд на Тятеньку, который только пожал плечами. — Но я-то знаю, что я несчастен.

— А ты лечись, — проворчал Тятенька.

— Заснуть без впрыскивания морфином не могу. Некуда уйти от тяжелых мыслей... И еще странно. Теренций сказал: «Homo sum, humani nihil a me alienum puto: я человек и ничто человеческое мне не кажется чуждым». А вот я тоже человек, но с каждым днем всё более удивляюсь, сколь многое мне чуждо. Большинство наук «алиенум», и музыка «алиенум», и живопись. Собственно и литература «алиенум», хотя, мне кажется, в ней у меня верный взгляд.

— Кстати, об литературе, — сказал Тятенька. — Заходил ко мне в «Аптеку» покупать бумагу управляющий Верховни. Говорил, что туда скоро пожалует Бальзак к своей «графине». Они ее там называют графиней, хотя она такая же графиня, как мы с тобой.

— Не совсем такая же: по рождению она в самом деле графиня Ржевуская.

— По рождению да, да кто же считает титулы дам по рождению? А Ганский никакой не граф. Она хитрая, как все Ржевуские. Поляки говорят:«Надо жить с Чарторыйскими, пить с Радзивиллами, есть с Огинскими и разговаривать с Ржевускими». Умная баба, а чтоб сказать красивя, то нет, не бардзо, проше пана... Что ж, у Бальзака, слышно, нет ни гроша за душой. Ты его любишь?

— Терпеть не могу. Он подхалим. Такие, к несчастью, есть среди писателей, философов, артистов! А я больше всего на свете ненавижу подобострастие и погоню за связями. К нам в Киев приезжают люди из деревень, и я по лицам их вижу, что их единственная цель в жизни: обзавестись домом, хорошо его обставить и затем принимать в нем каких-нибудь господ с положением. Это, по-моему, самые ничтожные и пошлые из людей... Обо мне говорят, что я рассчетлив. Это вздор, я просто независим. Мне самому ничего не нужно. Если я откладываю деньги, то это чтобы Лиля не знала нужды и ее унижений.

Тятенька слушал с видом означавшим: «Незачем врать, и незачем также доказывать, что дважды два четыре».

— Наполеон тоже сказал, что ему ничего не нужно кроме коня и трех франков в день. Только врал он, Наполеон. Ох, желтицы великолепная вещь, — сказал Тятенька, вздыхая. Он так называл золотые монеты.

— И ведь сам же Бальзак где-то говорит, что талант есть создание моральное: по дешевке великим человеком не станешь, on ne peut être grand homme à bon marché. Вот это верно. Нет, я у него больше люблю его фантастические вещи. Как и у Пушкина больше всего люблю «Пиковую даму».

— Пустая штука, — сказал Тятенька. — Как раз этот самый Бальзак говорит, что если иностранный писатель пожелает вывести немца, то он непременно назовет его Германом. Так твой Пушкин позднее и сделал.

— Уж Бальзак-то бы лучше молчал об этом вопросе. Нельзя было бы на заказ придумывать более неудачные иностранные имена, чем это делает он. У него русские аристократы, помнится, носят фамилии князей Галактионов, князей Нарциковых и далее в том же роде.

— Хоть бы у какого русского знакомого спросил! — сказал, смеясь, Тятенька. — Легкомысленный человек. Нет, он с твоим Пушкиным равнозначителен: первый сорт из второго сорта. Настоящий гений — Гоголь. Он их всех гораздо превосходнее.

— Не говори мне об этом тупом крепостнике! После его «Переписки с друзьями» я о нем слышать не хочу. Читал просто с отвращением!

— Ну, что ж, ошибка большого писателя, — сказал смущенно Тятенька. — Он, слышно, и болен.

— Самый замечательный писатель нашего времени, если хочешь знать, Гофман.

— Не люблю: не умеет изображать женщин. Кстати, я в Питере познакомился прошлого года с начинаю-

щим писателем Тургеневым. С тем, что написал поэму «Поп».

— Не слышал. Где она появилась?

— Ну, брат, она нигде не появилась и никогда не появится. Я в списке читал. Хочешь, дам тебе? Только не затеряй.

— Нет, я до таких поэм не охотник. Верно, «сатира»? Терпеть не могу сатириков.

— Тогда прочти в первой книге «Современника» его же рассказ «Хорь и Калиныч». Недурно. Так вот, брат, этот самый Тургенев, или он, кажется, Тургенев-Лутовинов, говорил при мне, что все русские писатели совершенно не умеют писать женщин.

— И Пушкин не умеет?

— Значит, и твой Пушкин не умеет. Нешто его Лиза на что-нибудь похожа? Или даже Мария Кочубей?

— Да уж всё-таки получше женщин твоего Гоголя.

— Не учи рыбу плавать, — сказал Тятенька наставительно, хотя сам критиковал известных писателей.

В комнату вошла Ольга Ивановна. Она незаметно бросила взгляд на почти опорожненную бутылку. Затем села рядом с мужем и взяла его за руку.

— Всё вы спорите! Кто кого побеждает?

— Я, конечно, — ответил Тятенька. — Твой сейчас уйдет в кусты. И отыдоша посрамлен.

— Уж будто? — заступилась она за мужа обиженно. — Да о чем это?

— О смерти. Есть, Оленька, загробная жизнь или нет?

— Разумеется, есть, — убежденно ответила Ольга Ивановна. Она не любила этих разговоров, хотя замечала, что они размягчают душу даже у неверующих людей.

— Все народы признают существование загробной жизни, — подтвердил Лейден. — Особенно глубоко по-

ставлен этот вопрос у греков. И не только у Платона. Большая глубина и в суде Эака, Миноса и Радаманта.

— Да ведь они были язычники, — сказала Ольга Ивановна и оглянулась на мужа, догадавшись, что замечание вышло неудачное. Он подавил зевок. — По-моему, лучше думать обо всем этом возможно меньше.

— Вот и я говорю, — сказал Тятенька. — Да его не переумишь.

— Повторяю, так делают почти все. Это единственный легкий выход, все остальные трудные. А какой там может быть оптимизм, какое жизнерадостное понимание мира, когда существует смерть? Вот и я слишком часто болатю о пустяках, а жить, быть может, осталось недолго. Для чего же я родился?

— Для того, чтобы чесать язык, — ответил Тятенька. Конечно, ты Кифа Мокиевич. Родился, ну и родился. Для чего рождается лягушка? Разница лишь в том, что ты проживешь сто лет, а лягушка, скажем, десять дней. Могло бы быть и обратное: люди жили бы несколько дней, тогда, брат, никаких Шекспиров бы не было: за десять дней «Гамлета» не напишешь, — сказал Тятенька и подумал, что, помимо невозможности создания «Гамлета», жить десять дней было бы странно: даже поесть как следует не успеешь.

— Вот и видно, что ты не изучал естественных наук: лягушки живут долго.

— Ах, какие там лягушки! Ни при чем тут лягушки! — сказала Ольга Ивановна, одинаково недовольная словами и мужа, и Тятеньки. — Вот он жалуется, что ему тяжело жить. Всем тяжело. Ты думаешь, мне легко вести дом?

— Он будет жить сто лет, сначала нас всех замучит, а затем всех нас и похоронит, — поспешно вставил Тятенька, признавший не совсем удачным и второе замечание Ольги Ивановны. Он считал ее не глупой, посвоему думающей женщиной. «Что-то она нынче не в ударе», — подумал он с сожалением. — Только уж что-

то быстро он стал у тебя, Оленька, лысеть. Смотри, как ему Бог за добродетель прибавил лица.

— Уж будто так полысел? — тревожно спросил Лейден. — Ну, да что ж, годы... Я вступил в тот возраст, когда у каждого человека начинается пора смертей. Не его собственной, так друзей и близких.

— Грех так говорить! — сказала испуганно Ольга Ивановна.

— Не только грех, но просто глупо! Весь этот вздор несут твои доктора! У какого нового болвана ты на днях лечился? — спросил Тятенька. Сам он врачей терпеть не мог и почти никогда их к себе не звал, даже в гости. Боялся, что они запретят ему есть и пить вдоволь. Если же случалось вызывать в крайнем случае врача, и тот ему действительно это запрещал, Тятенька чрезвычайно сожалел об истраченных трех рублях и думал, что на эти деньги мог бы купить, например, две бутылки отличного вина. Предписаниям же не следовал, а друзьям, настоявшим на посещении врача, говорил: «Пусть он идет ко всем чертям!» Это его отношение к болезням благотворно действовало и на людей мнительных.

— Да, я *так* это сказал, — поспешно поправился Лейден. — К счастью, ты и Лиленька совершенно здоровы. Но как вообще не думать о *выходах*? Их есть пять или шесть, я и людей по тому делю, как они относятся к вопросу о загробной жизни.

— Тут и вопроса никакого нет, — сказала Ольга Ивановна. — Загробная жизнь есть, и сомневаться в этом большой грех. А главное, не надо каркать. Я и так волнуюсь, что ты уезжаешь, а тут еще такие разговоры и мрачные предчувствия!

— Да я *тебе* не говорил, что у меня мрачные предчувствия.

— А я догадалась. Я тебя наизусть знаю.

— Чего же волноваться, что я уезжаю? Я часто уезжал.

— В Киеве холера кончилась, но кто его знает, вдруг, не дай Господи, появится там, где ты будешь! В Константинополе верно всегда холера?

— Холера-морбус, — сказал Тятенька, — появилась в Европе в первый раз лишь после Наполеоновских войн. Теперь она к нам приходит уже в третий раз, и ученые сделали свои выводы. Установлено, что она распространяется вдоль больших дорог по пути следования чумаков. Так как на Востоке люди путешествуют медленно, то едва ли она может прийти в Константинополь скоро.

— Установлено? Как же это могли установить?

— Наблюдениями и статистикой.

— Бальзак сказал: «La statistique est l'enfantillage des hommes d'Etat modernes». Он умен, этого я не отрицал.

— Лиля бредит Бальзаком, — сказала Ольга Ивановна. Я сама его очень люблю, — тотчас добавила она. В суждениях об искусстве большой уверенности не чувствовала.

— Какие первые симптомы холеры, ты не помнишь, Тятенька?

— При азиатской морбус ломота, холод и жажда. Через несколько часов судороги в ногах, в желудке, затем рвота с пеной, икотка, понос и эти самые синие ногти.

— Спаси Бог! — сказала, побледнев, Ольга Ивановна. — Первым делом, если о чем-нибудь таком услышишь, беги и лучше всего прямо домой! Дела подождут.

— Натощак жри хлеб с чесноком и пей дегтярную воду. А запивай эту дрянь чаркой водки. Если найдешь полынную или зверобой, лучше всего, да не найдешь, тогда пей простяк. И перво-наперво в случае чего пошли за рудометом, кровь пусти.

— Ну, ладно... А это верно, будто Константинополь так красив?

— Издали очень красив. Прямо как на виде у Айвазовского: и тебе восход солнца, и тебе заход солнца, и все цвета радуги. Когда подъезжаешь с моря, думаешь, что попал в рай. А потом видишь, что в этом раю целые кварталы это сплошной клоак. Улицы кривые, грязь неимоверная, ходить в этом аде по каменным лестницам нет хуже. Чтобы не отравиться, ешь там только в самых дорогих местах и пей как следует.

— В этом его и убеждать не надо, не беспокойтесь, — сказала Ольга Ивановна. — А как по-вашему, Тятенька, войны быть не может?

— Не скажу, — ответил Тятенька. Несмотря на то, что Лейден так долго жил в Киеве, это выражение, означавшее «не знаю», все еще резало ему слух. — Может, война будет, а может, войны не будет. Все заграничные поляки стоят за войну с нами (Тятенька говорил «поляки́» с ударением на последнем слоге, и это не нравилось Константину Платоновичу). — Вот верно и твой Ян Виер хочет войны.

— Все не все, — хмуро ответил Лейден. — А Ян и не очень заграничный, и даже не совсем поляк. Виеры нето из евреев, нето из голландцев. Ян легальный и приезжал в Россию, ты отлично это знаешь. И я его очень люблю, он мне почти как сын! — с вызовом в тоне добавил он. Ольга Ивановна вздохнула.

— Да люби его на здоровье, я ровно ничего худого о нем и не говорю, — ответил Тятенька, налив себе в бокал остаток вина. — Естьли он и хочет войны, то верно чтобы стать этаким Косцюшкой, проше пана. Будешь ему из-за границы писать, скажи ему мой поклон... И это делает тебе честь, что ты всегда заступаешься и за друзей, и за сыновей друзей, и за внуков друзей. А о смерти говори поменьше, а то всем надоест слушать. У одного немца медленно умирала жена. Всё жаловалась, что скоро умрет, а между прочим ела и пила вполне исправно, как и ты. Надоела мужу именно смертельно. И вот, доктор ему сказал, что у нее начинается агония, а

она как раз попросила дать ей малины со сливками. Муж рассвирепел и сказал ей: «Jetzt wird nicht gegessen, jetzt wird gestorben».

Ольга Ивановна сердито махнула рукой. Дверь с легким шумом отворилась и на пороге появилась Ульяна, огромная женщина с лицом, действительно не выражавшим большого ума. В руке у нее был зажженный огарок. Она делала страшные знаки барыне, из которых можно было бы заключить, будто только что случилось большое несчастье. Впрочем, все в доме знали, что это ничего страшного не значит: так она иногда появлялась на пороге столовой в дни больших обедов, и обычно оказывалось, что соус не совсем удался или что нужно бы еще прибавить варенья к пирожному. Что-то такое оказалось и теперь, — хотела спросить, не приготовить ли для барина несколько крутых яиц в дорогу. Лейден с досадой пожал плечами. Ольга Ивановна вышла и, оценив предложение кухарки, утвердила его. Возвращаться в гостиную ей не хотелось: слишком скучный был разговор. А главное, нужно было подать Лиле в кровать бутерброд и пирожное. Так повелось с давних времен: это скрашивало жизнь.

На кольце у Ольги Ивановны было не менее пятнадцати ключей. Она тотчас нашла нужный, всё в хозяйстве ей было известно до мельчайших подробностей, она замечала, если кто-либо передвигал стул в комнате. Ольга Ивановна отворила правое верхнее отделение буфета, достала всё необходимое, приготовила два бутерброда с икрой, намазав предварительно маслом булочки, нарочно для Лили оставленные в буфете. Достала пирожное, переменила в графине отварную воду, поставила всё на небольшой поднос, тоже специально предназначенный для ужинов дочери, и понесла в ее комнату. — «Ох, балуешь ты, девчонку! — говорил Тятенька. — Что она в кровати закусывает, люблю, да могла бы и сама о себе позаботиться, ручки авось не отвалились бы». — «Где уж там ей, и ничего она не на-

шла бы», — отвечала Ольга Ивановна. На самом деле Лиле было особенно уютно оттого, что всё ей приносила мать, да Ольга Ивановна и себе не хотела отказывать в этом удовольствии. С подносом в руке она прошла через неосвещенный коридор в боковое крыло дома, где были комнаты, выходившие окнами в сад. Споткнуться в темноте не могла бы, так хорошо знала каждый уголок в своем доме.

VII

Спи— еще зарею
Холодно и рано;
Звезды за горою
Блещут средь тумана.

Петухи недавно
В третий раз пропели;
С колокольни плавно
Звуки пролетели;

Дышут лип верхушки
Негою отрадной,
А углы подушки
Влагою прохладной.

Фет

Родители не стесняли дочь. Константин Платонович в ее воспитание почти не вмешивался. Им ведала Ольга Ивановна. Она и вообще вела всё в доме, дипломатически притворяясь, будто никакой власти не имеет. Строилось ее влияние преимущественно на том, что мужу было скучно с ней спорить. Ольге Ивановне больше всего хотелось, чтобы дочь сохранила навсегда самые радостные воспоминания о родительском доме. Она помнила свои детские и юные годы, старалась лучшим руководиться в воспитании дочери, а худшего тщательно избегала. Ее учили не очень хорошо, — для Лили не жалели денег на гувернанток и на уроки у дорогих учителей. Ей дома воли не давали, — ни одна ба-

рышня в Киеве не имела такой свободы, как Лиля: она даже выходила на улицу одна, без гувернантки или горничной, что вызывало у их знакомых несочувственное недоумение. Одна ходила Лиля — разумеется, лишь днем — и на концерты, когда в зале Контрактового дома выступали столичные и иностранные гастролеры: Ольга Ивановна была слишком занята домашними делами, а Константин Платонович никогда спектаклей не посещал, — еле-еле вытащили его жена и дочь на Подол послушать Листа. Лейден зевал во время долгого концерта и, с раздражением поглядывая на вдохновенное лицо пианиста, повторял чей-то глупый каламбур: «Le soliste!» («Le sot Liste»).

За границей мать и дочь никогда не были: паспорта выдавались нелегко и стоили очень дорого. Летом они отправлялись на дачу. Модной Пущи-Водицы не любили, предпочитали Боярку с ее удивительным сосновым лесом. Дачу снимали всегда одну и ту же, пустую, поговаривали, что давно следовало бы ее купить и обставить, а не возить туда каждое лето на подводах мебель и утварь: «Была бы навсегда своя дача». Против этого возражала Лиля. Ее слово «навсегда» приводило в ужас. Хотя она любила Киев, но твердо про себя решила, что жить будет в Петербурге или в крайнем случае в Москве. Однако, ей было очень весело и в Боярке, куда к ней приезжали подруги. Они там чуть не целый день ездили верхом, гуляли по просеке, закусывали на траве, собирали грибы, а в десятом часу отдавали себя на съедение комарам и засыпали мертвым сном в комнатах с окнами, выходившими прямо в лес. Впрочем, большой разницы между Бояркой и Липками собственно не было. Шелковичная улица, с ее большими садами, с липками, акациями и черемухой, мало отличалась от деревни.

А когда Лиле исполнилось шестнадцать лет, мать повезла ее в Петербург. Лейден с ними не поехал, ссылаясь на дела. Эта поездка была огромным событием в

жизни Лили. Приготовления начались месяца за три. Останавливаться в гостинице считалось не совсем приличным для дам. Тятенька и то ворчал, что они едут одни, без мужчин, так не полагается. — «Уж естьли великий мудрец не хочет ехать с вами, то я поехал бы с радостью», — говорил он. Но они, особенно Лиля, обошли молчанием его предложение. — «Тятенька, конечно, очень мил, но достаточно с нас его и в Киеве», — говорила матери Лиля. Было снято помещение в очень известном семейном пансионе на Миллионной, который содержала такая почтенная англичанка, что придраться не мог бы и самый злой сплетник.

Разумеется, поездка имела цель, тщательно и тщетно скрывавшуюся от Лили: надо было людей посмотреть и особенно себя показать. Тятенька и Ольга Ивановна шутливо вспоминали поездку Лариных в Москву. Популярность «Евгения Онегина» всё росла. Лиля впрочем предпочитала Пушкину Лермонтова. В «Минерашках» она с ужасом и ненавистью смотрела на Мартынова, и ее красивые голубые глаза при этом сверкали. «Задушила бы его собственными руками!» — кровожадно говорила она.

Однако, в отличие от Лариных, Лейдены цели не достигли. Приятельницы-княжны, у которой можно было бы остановиться, у них не было. В «свет» они не попали и не могли попасть по скромному общественному положению Константина Платоновича. Да и знакомых было очень мало. Мать и дочь осматривали достопримечательности, катались в только что появившихся в столице омнибусах, посещали императорские театры, не пропуская ни одного нового спектакля. Главным развлечением было заказывать туалеты. У Лили была настоящая страсть к нарядам. Она испытывала почти физическое удовольствие, перебирая шелковые и бархатные материи, рассматривая модные картинки, выбирая и заказывая платья. Продавщицы заверяли их, что всё у них по последней парижской моде, — это еще

усиливало радость. Ольга Ивановна и в Петербурге для себя почти ничего не заказала, хотя дочь умоляла ее об этом, а Константин Платонович, как всегда, денег дал много. Но наряды дочери занимали ее почти так же, как Лилю. После того, как всё было заказано, три-четыре раза примерно, доставлено, они стали скучать, тщательно это скрывая одна от другой. Ольга Ивановна беспокоилась, как муж, всё ли в порядке дома. Лиле хотелось показывать приобретения. Она уже соображала, куда что наденет. В петербургских театрах никто на них внимания не обращал: Лиля одевалась *против* киевских барышень.

И, точно на зло, лишь дней за пять до отъезда, они случайно в театре встретились с одной подругой детства Ольги Ивановны. Дамы не виделись лет тридцать, не переписывались лет двадцать пять, давно потеряли друг друга из виду, очень обрадовались, ахали над тем, как изменились, говорили: «но я тотчас тебя узнала, тотчас!», кратко сообщали о себе сведения; еле помнили, кто муж подруги, и обе боялись выдать свое незнание. Оказалось, что Вера Николаевна давно овдовела, что сопровождавшая ее барышня — ее дочь Нина и что они живут в собственном доме на Васильевском острове.

В этот дом они тотчас вчетвером и поехали из театра ужинать. В последние дни уже почти не расставались. Вера Николаевна, как Лейдены, имела состояние и тоже к свету не принадлежала. И она, и ее дочь умоляли Ольгу Ивановну еще остаться в Петербурге. Однако это оказалось невозможным. От Константина Платоновича пришло письмо, он писал, что соскучился и ждет их с нетерпением. Он не лгал, хотя и полной правды в его словах не было: ни по ком он никогда особенно не скучал, так был занят и делами, и особенно своими мыслями. Иногда про себя думал, что нет человека, без которого он не мог бы обойтись. Его письмо умилило Ольгу Ивановну. К тому же, столичный сезон кончался, найти жениха для Лили было бы всё равно невозмож-

но, и они решили отъезда не откладывать. Дали слово, что приедут опять. — «Оленька, уж если тебе никак нельзя будет, то пришли Лиленьку. Она у нас и будет жить. Я так рада, что они подружились с Ниночкой», — говорила перед их отъездом Вера Николаевна.

После возвращения в Киев Лиля, повысившаяся в ранге у киевской молодежи — побывала в столице! — еще недели три, закатывая глазки (это очень к ней шло), рассказывала о «Северной Пальмире», — так и говорила «Северная Пальмира», точно это было официальное или общепринятое обозначение Петербурга. Необыкновенной естественности матери она не унаследовала, была чуть жеманна. Немного стыдилась того, что живет в провинции, говоря по-французски картавила и употребляла модные парижские выражения, которые тайком выписывала из романов.

Справа из под дверей пробивался свет. Ольга Ивановна вошла. У Лили была очень милая уютная комната. Стены были обиты синим бархатом. В Киеве у всех стены либо были выкрашены, либо оклеивались обоями. Но Лиле во французских романах, после любовных сцен, больше всего нравились описания домов и мебели, разные “Cuir de Cordoue”, “Velours d’Utrecht frappé”, “murs tapissés de vieilles étoffes” и т. д. Поездка в Петербург была подарком родителей Лиле к ее шестнадцати годам. А за год до того они ей дали денег для того, чтобы она могла устроить свою комнату, как захочет. В киевских мебельных магазинах на нее только смотрели, выпучив глаза, когда она спрашивала о Кордовской коже; ничего не слышали и об Утрехтском бархате. Ей пришлось ограничиться бархатом-просто, да еще без выцветших тонов. Впрочем, более доверчивым из своих друзей она нерешительно называла этот бархат “velours d’Utrecht”, — не была уверена, как надо произносит: «Ютрешт» или «Ютрект».

На ночном столике у Лили стоял серебряный *шан-*

дал, — она не говорила «подсвечник». Ольга Ивановна поставила рядом с ним поднос, Лиля окинула его деловым взглядом, оценила трубочку с желтым кремом. Приняла всё как должное, но поцеловала матери руку.

— Спасибо, mon chat.

Она всегда называла мать самыми неподходящими словами: «mon chat», «mon bijou», «mon rat». Ольга Ивановна называла ее «чудо мое», «мое сокровище», «Лиленька», «Лилька» и только изредка, когда бывала недовольна, говорила, в наказание, «Лиля». Хотя в комнате всё было в порядке, Ольга Ивановна чуть передвинула платье дочери, лежавшее на стуле dorure éteinte, — пояс чуть касался ковра, — и села на кровать. Лиля отодвинула ноги к velours d'Utrecht.

Они поговорили о том, что Тятенька очень засиделся, что завтра надо встать в шесть часов, что переезд у папы будет трудный, что на Черном море в ноябре очень качает.

— Ах, зачем только он едет? — сказала со вздохом Ольга Ивановна.

— Мама, да ведь вы сами уговаривали папу!

— Уговаривала, потому что он очень стал скучать. Разве я не вижу? И я с вами обоими всегда на всё согласна, вы делаете что хотите... Да и не очень я папу уговаривала. Это он мне сказал, что либо теперь ехать, либо совсем отказаться от поездки. А зимой всё-таки из-за холеры спокойнее... Так я тебя завтра рано разбужу. Еще позавтракаем втроем.

— Мама, правда ведь, что у меня руки тоньше, чем у Нины? Смотрите, — сказала Лиля.

— Это всё равно, у кого руки тоньше, у кого толще... Твои тоньше.

— Я очень люблю Нину, но, по-моему, она только хорошенькая, правда?

— Нина очень мила, очень... Ну, спи спокойно, чудо мое, — сказала Ольга Ивановна и поцеловала дочь. — Довольно тебе читать. Что это у тебя? — спросила Ольга

Ивановна, прочла “Splendeurs et misèrs des courtisanes” и рассердилась. — Бог знает что такое! Совсем тебе, Лиля, не следует читать такие книги!

— Мама, чего я только ни читала! Я в сто раз хуже вещи читала! — сказала весело Лиля. — Вы очень отстали, милая маменька! Liebe Mutter... Или нет, начало у немцев тоже на agen, только забыла какое: Liebe “Agen” — Darf ich fragen — Wie viel Kragen — Sie getragen — Wenn Sie lagen — Krank am Magen — Kopenhagen...

— Что за ерунда! Ну, спи, я тушу.

— Ах, нет, я еще почитаю, — сказала было Лиля без настойчивости. Читать было очень приятно, но и спать тоже. Яблоко уже было съедено.

Ольга Ивановна своей властью задула свечу и вышла. Еще в столовой она услышала доносившиеся из передней прощанья. «Слава Богу, уходит, старый»... Но гостеприимство тотчас взяло в ней верх.

— Что же вы, Тятенька, спешите? — спросила она, входя в кабинет. — Еще посидели бы.

Лиля улыбалась наивности матери. С подругами она постоянно разговаривала о таких предметах, о которых ни Бальзак, ни другие романисты не писали и не могли писать. Их больше всего на свете интересовало то, что в старых романах называлось «тайнами любви»; каждая из барышень испуганно-восторженно делилась с другими тем, что случайно узнавала; всё это испуганно-восторженно обсуждалось, тем не менее большой ясности не было.

Теперь в кровати она всё себя примеряла к прекрасной куртизанке, еврейке Эстер, сводившей с ума мужчин. Самое слово «куртизанка» казалось ей обольстительным и страшным. «Могла ли бы я быть такой? — спрашивала она себя. — Нет никак не могла бы». Особенно не выходило с мамой: Лиля невольно улыбалась при мысли о том, как бы это Ольга Ивановна ока-

залась матерью знаменитой парижской куртизанки. «Я обожаю маму, но между ней и мной целая пропасть», — думала она. — «А может быть, здесь и никто меня не понимает»... Несмотря на «Velours d'Utrecht», на французские словечки и на некоторую жеманность, Лиля была очень милая девочка. Она жила в ожидании «его» появления, но откуда «ему» было взяться на Шелковичной улице, в бывшем Кловском урочище? Так можно было ждать и два, и три года, — она чувствовала, что просто этого не перенесет. Как всем девочкам ее лет, ей было нечего делать для достижения того, что было единственной целью, единственным смыслом ее жизни. Да ей и вообще было нечего делать. «Мальчики поступают в университет. А чем заниматься мне? Так сидеть и ждать: кто-то придет? А может быть, и никто не придет? Вот мы съездили в Петербург, я ведь понимаю, что мама меня повезла туда для этого. Даром только ездили»... В такие минуты она чувствовала себя очень несчастной. У нея бывали и «бессонные ночи»: вдруг при пении петухов просыпалась и плакала. Иногда плакала целых полчаса. Перед тем, как снова заснуть уже часов до десяти утра, утешалась: «И Маша так живет, и Нина, и Наташа, не я одна». Очень помогали и развлечения, и наряды, и шоколад, и особенно то, что она большую часть дня проводила на людях, а когда оставалась одна, читала французские романы и русские поэмы, жила чужой воображаемой жизнью, вечно примеривая ее к себе. В романах Лиле нравились преимущественно *безнравственные* герои: Растиньяк, Люсьен де Рюбемпрэ, Печорин, Арбенин, всего больше Демон. Она знала Лермонтовскую поэму наизусть и «Клянусь я первым днем творенья» никогда не могла читать без слез и без зависти к Тамаре. Тятенька где-то на Кавказе раза два видел Лермонтова. И Лиля не хотела ему верить, что так благородно, на дуэли, погибший поэт был некрасив, сутуловат и постоянно шутил, — Демон не шутил никогда. Тятенька, обожавший Лилю, ее дразнил:

— Нет, Лиленька, за Демона ты вряд ли выйдешь, — говорил он. — У нас в Киеве помещики есть, чиновники есть, врачи есть, а демона, как на беду, ни одного! Ах, как жаль!

Лиля презрительно отворачивалась: с Тятенькой вообще было бы невозможно говорить без шуток. Он то обещал подарить ей чудную куклу, то грозил поставить ее в угол. «А вот, естьли будешь хорошо себя вести, оставлю тебе свое достояние». Лиля была равнодушна к деньгам, и только недоумевала: что она будет делать с «Аптекой души»? Его домик решила подарить няне.

VIII

Il y a des moments où la crainte de me réveiller vieux, malade, et incapable d'inspirer aucun sentiment (ce qui commence), me prend, et alors je deviens fou. Je vais me promener mélancoliquement dans des endroits déserts, maudissant la vie et notre exécrable pays, le seul où il soit possible de vivre...

J'ai écrit cette année en tout seize volumes *).

Balzac

Бальзак в конце лета приехал в имение Ганской, с которой давно был в связи и на которой надеялся жениться.

Биографы так толком и не разобрались в этом странном романе, как не разобрались и в романе Наполеона с Жозефиной, кое в чем похожем на этот. Бальзак влюбился в Ганскую лет за четырнадцать до того.

*) «Бывают минуты, когда меня охватывает страх, что я проснусь старым, больным, не способным внушать какое бы то ни было чувство (это уже начинается). Тогда я схожу с ума. Гуляю в меланхолии по пустынным местам, проклиная жизнь и нашу отвратительную страну, — единственную, где можно жить... Я в этом году написал шестнадцать томов».

Она была миловидна, умна, привлекательна. Их связь началась еще при жизни «графа». Когда он умер, стал возможен брак, но Ганская очень долго не хотела выходить замуж за Бальзака. Она любила его. Он был так талантлив, умен и обаятелен, несмотря на свою прозаическую, вульгарную, чуть только не безобразную наружность. Быть может, она не хотела терять свой весьма сомнительный титул. *Партией* он при всей своей славе действительно для нее не был. Ганская знала, что он беден и кругом в долгу. Вероятно, знала, что он не *де* Бальзак, как подписывался, и даже не Бальзак просто, а сын провинциального чиновника со странной, неблагозвучной фамилией Бальсса. Быть может, знала даже, что родной брат этого чиновника, Луи Бальсса, был казен в Альби и отнюдь не как контрреволюционер в пору террора (что, напротия, в смысле *партии* было бы отлично), а гораздо позднее, при Людовике XVIII, за то, что убил свою любовницу. Бальзак был так откровен с Ганской, что мог сообщить ей и об этом, хотя едва ли думал, что преступление и казнь его дяди не будут иметь для графини никакого значения.

Когда-то он был, по-видимому, в нее влюблен. Она давно вышла из возраста, который уже назывался бальзаковским. Но он пятнадцать лет подряд писал ей совершенно одинаковые страстные письма, говорил — не только самой графине, а всем, — что обожает ее, восторженно отзывался об ее талантах. Даже очень опытный притворщик не мог бы пятнадцать лет так притворяться. В России он приобрел печать с еврейской надписью, — в ту пору кольца с надписью на еврейском или арабском языках были в моде, особенно среди писателей. В Париже Каган, учитель детей Ротшильда, перевел ему надпись. Это было слово из «Песни Песней» и означало «Любимая». Купленной в России печатью Бальзак запечатывал свои письма к Ганской.

Ему были чрезвычайно нужны ее связи, ее положение в обществе и особенно ее богатство. Об этом он

сам писал матери и сестре. Восторженно отзывался о графине, но порою добавлял, что она принесет ему «кроме богатства, драгоценнейшие социальные преимущества». Раз даже — несколько неожиданно — вставил, что графиня «скупа и предусмотрительна до невообразимости». По-видимому, полусознательно преувеличивал свою влюбленность, как и прежде преувеличивал влюбленность в письмах к другим женщинам. Больше всего на свете он любил свои книги, свое творчество; богатство давало возможность работать спокойно, хорошо, не торопясь. Женитьба на Ганской стала одной из главных целей его жизни. Для женитьбы он и выехал в Россию, хотя графиня не очень его звала: должно быть, думала о том, что скажут люди. Об их романе и без того говорили достаточно.

Бальзак прежде был уверен, что Бердичев, около которого была расположена Верховня, имение Ганских, находится где-то поблизости от Москвы. Теперь он навел справки, достал деньги, приготовил паспорт. Французов пускали тогда в Россию чрезвычайно редко и неохотно, но Бальзак, знаменитый писатель, известный своими консервативными взглядами, получил визу по протекции русского министра народного просвещения.

Из Кракова в Радзивиллов он ехал частью дилижансом, частью в тележке, которой правил почтарь в коричневой свитке с рожком, перекинутым через плечо на австрийском черно-желтом шнурке. Его несколько раз останавливали и расспрашивали, — видимо не одобряли поездки француза в Россию. Еще не очень давно французские газеты печатали о России сведенья, которые могли к ним перейти разве из книг путешественников семнадцатого столетия. Иные провинциалы еще, быть может, верили, что царь и бояре моют руки после того, как здороваются с иностранцем, особенно если он католик, и что послов держат взаперти, доставляя им каждый день невообразимое количество еды и напитков, — совершенно так, как описывал Олеарий прием

гольштинского посольства в Москве в семнадцатом веке. В Париже этому уже никто не верил, а Бальзак и до своей первой поездки в Россию встречал немало русских. Однако подъезжал он к Радзивиллову с тревожным чувством.

Его любезно и почтительно пригласил на обед Гаккель, занимавший в Радзивиллове важную должность. Но до того Бальзака допрашивали разные чиновники; каждое его слово записывалось. Поглядеть на путешественника пришел какой-то допотопный человек. Это был прежний пограничный цензор, служивший еще при императоре Павле и оставшийся доживать свой век в Радзивиллове. В свое время он давал отзывы об иностранных книгах, чаще всего неодобрительные: «Довлеет одного воззрения к презрению»... «Силится дать самой французской революции вид восхитительный»... «В сием аглицком романе россиянка графиня Орлова говорит служанке Павлине: «ты, Павлина, не дочь ли фермера Петровича?», а камердинер Лагрен ведет с означенным графом дружественный разговор, что сумнительно»... «На странице 96-ой сией книги сказано: «Полицеймейстер, несмотря на свой чин,верил добродетели». Сие не предполагает ли, будто полицеймейстеры добродетели не верят?» Теперь цензоры, и пограничные, и столичные, больше таких отзывов не давали (впрочем, в одной статье самого Бальзака петербургский цензор выпустил слова «La majesté de la nature», указав, что слово «величество» говорится только о коронованных особах, — петербургские сановники хохотали, читая этот отзыв). Допотопный старичек только поглядел с отвращением на Бальзака и ушел.

Обед у Гаккеля оказался превосходным. Хозяин был очень интересный собеседник. Разговорившись за вином, сказал, что России скоро будет принадлежать весь мир, так как живет в ней самый послушный в мире народ. Бальзак слушал с недоумением, хотя и сам высказывал довольно сходные мысли. Иногда говорил

даже, что примет русское подданство. Но он не понимал, зачем такие мысли высказывает русский чиновник. Правда, Гаккель был по крови не русский, и даже было не совсем ясно, рад ли он тому, что думает о будущем России, или же, наоборот, говорит с сокрушением.

Гостя долго не отпускали, и сел он в кибитку лишь вечером. Ему дали провожатого. Поездка была долгая и трудная. Днем стояли облака пыли. Ночью особенно мучили комары. Ночевал он чаще всего тоже в кибитке, так как постоялых дворов боялся. Кюстин говорил о мириадах блох и клопов. Тем не менее все нравилось Бальзаку чрезвычайно. «Нельзя себе представить богатство и мощь России. Надо это увидеть, чтобы поверить», — писал он сестре. Он все замечал: пригодится. Поразило его обилие лесов. Во Франции строились железные дороги. Что, если отсюда вывозить лес на шпалы? Бальзака всю жизнь занимали разные коммерческие проекты, на которых он неизменно терял деньги. С тревогой думал о том, как встретит его Ганская и выйдет ли, наконец, за него замуж. И больше всего — днем и ночью — думал о своих книгах.

Не зная по-русски, он при перемене лошадей кричал ямщикам и провожатому одно слово: «Бердичев!» Но верно и это слово произносил плохо, не понимал вопросов, и попал в Житомир. Впрочем, это было по дороге. На Бердичевском почтовом дворе его окружили евреи, с изумлением смотревшие на странного человека, который не знал ни слова ни по-еврейски, ни по-польски, ни по-русски. С таким же изумлением смотрел на них и он. На Гейне они похожи не были, а кое в чем могло быть сходство с его бароном Нусингеном, — кое-что он и занес на память: жест у одного, выражение глаз у другого. В Бердичеве оказался французский портной, владевший, как все в городе, еврейским языком. За ним побежали, и дело разъяснилось. Лошадей из Верховни на станции не было: графиня предполагала, что он приедет значительно позднее. Пока искали

«балагулу», Бальзак вышел на улицу. Проходила еврейская погребальная процессия, хоронили холерного. Он приподнял дорожную шапочку. Все изумленно на него взглянули, — он и это занес в память и поспешно отошел.

В Верховне его встретили с любовью, с восторгом, с легким смущением и с дружеским негодованием: как же можно! отчего не дал знать раньше? В ожидании обеда гостю дали чаю и повели осматривать «дворец». В сущности это был самый обыкновенный большой помещичий дом, не старинный и не слишком роскошный. У графини было двадцать тысяч десятин земли, много тысяч крепостных и человек триста дворовых. На стенах зал висели Грезы, Ватто, Каналетто и даже Рембрандты. Он всем восторгался, говорил: «да это Версаль, просто Версаль!» Бальзак знал, что только люди, посвятившие живописи долгие годы, могут отличить, и то не всегда, оригинал от хорошей копии. Но, разумеется, делал вид, что в подлинности картин не сомневается, да и поверил, когда ему объяснили, что эти картины принадлежали последнему польскому королю. Всё же кое-что в доме его изумило. Из разговора выяснилось, что печи и камины топят соломой, — это было тем более странно, что везде были леса. Подали обед из невообразимого числа блюд. Он всё хвалил, но про себя думал, что за такой обед у Вери или у Вефура посетители устроили бы скандал. Позднее писал племянницам, что телята в имении Ганской «отличаются республиканской худобой», что блюда из говядины и баранины невозможно есть, а овощи просто отвратительные; только молочные продукты и чай выше всяких похвал.

После обеда его отвели в помещение для гостей, состоявшее из кабинета, гостиной и спальной. На стенах тоже висели картины, он и от них пришел в восторг. Вид из окон на парк, на лесистые холмы был в самом деле изумительный.

Он объявил, что тотчас ляжет спать: не спал девять

ночей, но заснуть сразу не мог, именно из-за крайней усталости. Настроение у него было тяжелое. С Ганской разговора наедине в первый день не было. Она долго выражала радость по случаю его приезда, однако он видел, что ее радость несколько преувеличена. «Верно, опять скажет, что еще не приняла решения, что надо подождать, что надо закончить процесс». Ганская всегда ссылалась на какие-то судебные и административные дела. Думал, что, быть может, против брака, по денежным соображениям, высказалась дочь. Графиня Мнишек очень ему нравилась, но он обычно объяснял действия людей дурными побуждениями.

И в Верховне, и в Париже, и везде он часто испытывал то чувство, которое Фонтенелль в конце своей жизни называл «difficulté d'être». Фонтенеллю было без малого сто лет, а ему не было пятидесяти. Это чувство у него особенно сказывалось во время путешествий. Всю жизнь переезжал — и всю жизнь ненавидел переезды. Не хотел покидать Париж, теперь с ужасом думал, что скоро надо будет покинуть Верховню. С отчаянием думал о своих болезнях, о нищете, о кредиторах. Ему больше не хотелось *ничего*. Не хотелось даже жениться на Ганской.

IX

> A l'écrivain toutes les formes de la création, à lui les flèches de l'ironie, à lui la parole douce et gracieuse qui tombe mollement comme la neige au sommet des collines; à lui les personnages de la scène; à lui les immenses dédales du conte et des fictions; à lui toutes les fleurs, à lui toutes les épines; il endosse tous les vêtements, pénètre au fond de tous les coeurs, souffre toutes les passions, devine tous les intérêts *).
>
> Balzac

Когда он проснулся на следующий день, комната была залита светом, — ставни не были затворены. Он

подошел к окну. Парк был необыкновенно хорош. Подумал, что работа пойдет отлично: никто беспокоить не будет. И тотчас настроение духа у него изменилось.

Вещи уже были вынуты из чемоданов и размещены по шкафам и комодам. За них в этом богатом доме ему было неловко перед прислугой. Давно прошло то время, когда он щеголял платьем (почему-то в особенности жилетами), тростью, о которой сам, кажется, распространял вздорные рассказы, бельем, кольцами, когда ездил в карете с ливрейным лакеем, с графской короной, — он уверял не только других, но, верно, и самого себя, что происходит из старинного рода графов Бальзак д'Антрэг. Собственно денег у него и тогда было не больше, чем теперь, быть может даже меньше. По-настоящему он не был элегантен и в то время; в свете над ним посмеивались и едва ли его принимали бы, если б он не был так талантлив и известен. С годами он потерял интерес к этому роду вздора. В Верховню привез с собой довольно мало вещей, и всё было не слишком высокого качества. Разыскал расшитые золотом красные сафьянные туфли, надел белый халат с золоченой цепочкой, на которой висели ножницы: без ножниц и клея писать было бы трудно. Подумал было, не затворить ли ставни: предпочитал даже днем работать при свечах. Но решил, что приставленный к нему лакей сочтет его сумасшедшим. Да и слишком хорош был вид из кабинета. Это не Париж, совершенная тишина.

Ганская знала его привычки, — беспокоить нельзя, за работой пьет крепчайший кофе и ест в огромном количестве фрукты. Всё это было ему тотчас принесено. Было очень тихо. Шум во время его работы или

---

*) «Писателю все формы творчества, ему стрелы иронии, слово ласковое и изящное, падающее мягко, как снег на вершины холмов. Писателю все действующие лица, беспредельные дебри рассказа и выдумки. Ему все цветы, ему все шипы. Он надевает все одежды, проникает вглубь всех сердец, переживает все страсти, разгадывает все интересы».

появление в его кабинете людей доставляли ему что-то, напоминавшее физическое страдание. Знаком хозяйского внимания было и то, что на письменном столе лежали очиненные перья, карандаши, стопка веленевой бумаги. Он первым делом всё внимательно осмотрел, разобрал даже марку бумаги, но произнести не мог: Jeziorna. Над маркой была императорская корона. Бальзак всё-таки не слишком ясно представлял себе, как в этом доме надо говорить о царе. С одной стороны Николай I поработил Польшу, с другой же стороны под его властью в это тревожное время только и жилось спокойно богатым помещикам. Графиня старалась поддерживать добрые отношения с русскими властями в Киеве.

В первый день нужно было выйти к хозяевам пораньше, и Бальзак в халате просидел за столом не более часа, думая сразу о нескольких книгах, которые собирался написать в Верховне. Его тотчас «обступили образы».

Это забавное выражение было в отношении Бальзака почти верно. «Образы» и были тем, для чего он жил. Они были и главной радостью, и главным мученьем его жизни. Он с полным правом говорил, что носит в своей голове целый мир. Говорил, что создал две тысячи «образов». Почти невозможно понять, как он сам разбирался в их сложных семейных, личных, имущественных отношениях. В грандиозном замысле — больше, чем в его выполнении — и есть главная ценность «Человеческой комедии». В каждом новом романе Бальзака были и прежние, и новые действующие лица. Прежних выводить снова было легче, но и они могли и должны были измениться на протяжении десяти, пятнадцати, двадцати лет. Создание же новых характеров было гораздо труднее. Он знал французскую жизнь как никто другой, встречал на своем веку бесчисленное множество самых разных людей. То их портретно и изображал, то начисто всё выдумывал, то соединял в одном действу-

ющем лице черты нескольких человек. В отличие от многих больших писателей (особенно в отличие от Достоевского), он не заботился о том, чтобы его действующие лица совершенно не походили на людей, уже созданных воображением других романистов. Это едва ли и считал возможным: думал, что люди приблизительно стоят друг друга, что у всех у них есть общий фонд, составляющий верно три четверти их характера; творить, менять, заострять можно лишь в пределах одной четверти, и это само по себе уже необычайно трудно. Еще меньше заботился о том, чтобы не повторять самого себя, — это делали ведь все великие писатели; должно быть, он не слишком огорчался от того, что Люсьен де Рюбампре всё-таки уж очень похож на Растиньяка. Думал же обо всем своем мире целый день. Ко многим из своих книг относился как должно: переделывал, переписывал, правил в корректуре каждую строчку.

В это утро ничего не писал, делал только заметки к планам. Так приятно, так непривычно было то, что здесь он мог бы ничего не делать месяц, два, три — и всё-таки были бы у него и кров, и стол, и все удобства жизни. Ближайшие кредиторы находились на расстоянии тысяч километров и сюда ни один из них явиться не мог бы; конечно, они могли писать ему, но отвечать кредиторам на письма было настолько легче, чем разговаривать с ними; еще проще было им вовсе на письма не отвечать. С улыбкой представил себе, что́ теперь о нем говорят враги, недоброжелатели и даже добрые друзья: «Поехал жить на чужой счет»... «Поехал жениться на богачке»... Почти за это и не сердился: привык к тому, что люди, даже хорошие, *должны* говорить именно так, — он сам на их месте, верно, говорил бы то же самое. Он знал, что в их брани есть правда, но знал также, что из враждебных ему людей ни один не работал так много, как он. Ему часто случалось проводить за своим крошечным письменным столом по шест-

надцать, даже по двадцать часов в сутки. Иногда он думал, что для своего *дела* имел бы право не только жить на чужие деньги, но воровать и грабить.

В одиннадцатом часу он спустился в гостиную. Молодых членов семьи не было. Вероятно, они хотели дать матери возможность поговорить с гостем наедине. И тотчас произошло то, чего он ждал и боялся. Робко на него поглядывая, Ганская сказала как будто небрежно, но вместе с тем и твердо, что должна *сначала* перевести свои имения на имя дочери, — себе оставит только пожизненную ренту. Как он ни готовился к этому известию, оно всё же было тяжким ударом. Он сто раз обдумывал, что ей ответить в этом случае. Не показал ни огорчения, ни злобы, — принял известие как джентльмен: сказал, что она прекрасно делает, что для него будет счастьем содержать ее своим трудом. Понимал, что она ему не верит, понимал, почему она отдает состояние графине Мнишек: боится его долгов и расточительности: его дела были ей известны так же хорошо, как ему самому. Он понимал даже, что она преувеличивает (быть может, чтобы его испытать): *всего* дочери не отдаст. И действительно перед его отъездом графиня дала ему на дальнейшее устройство *гнездышка* девяносто тысяч франков.

Надежда на большое богатство исчезла, но, по крайней мере, в именье он мог жить и работать спокойно.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Puissance du ciel, j'avais une âme pour la douleur donnez m'en une pour la félicité *).

Laclos.

Прощание произошло так, как происходило у Лейденов всегда: Ольга Ивановна и Лиля вышли на улицу, Константин Платонович умолял их вернуться в комнаты, испуганно кричал, что они непременно простудятся; они отвечали, что это пустяки, — и не подумают простудиться. Затем, когда дворник и ямщик стали размещать чемоданы, обе дамы заплакали, а он их утешал: «Не стыдно ли? Ведь я уезжаю не в Америку и не в Австралию! Скоро вернусь». Ольга Ивановна сквозь слезы и десятый раз сокращенно повторила свои наставления в дорогу: чтобы он в *ямах* ни к какой колбасе не притрагивался и чтобы всякий раз, садясь в экипаж, пересчитывал вещи. Он тоже чему-то их учил. Наконец, обнялись в последний раз. Из коляски, он, стоя спиной к ямщику, махал им рукой и еще что-то кричал. Они тоже махали платочками, старались улыбаться и посылали ему воздушные поцелуи. Уже издали он отвечал воздушными поцелуями, жестами требовал, чтобы они ушли, и показывал рукой на свое горло: простудитесь!

Но, когда коляска скрылась за поворотом Лютеранской, Лейден, садясь, вдруг почувствовал облегчение, даже радость, — непонятную, как будто беспричинную радость. «В чем дело? Никогда этого со мной не было при разлуке. Между тем ведь я люблю, нежно люблю

*) Силы небесные, у меня была душа для скорби, дайте же мне душу для радости.

их, — с тревожным недоумением думал он. — Что ж хорошего в том, что я теперь один? Свобода? Да кто же меня стеснял и дома?».

Теперь можно было подумать как следует о *пуговке*. Впрочем, он довольно думал о ней и в Киеве. Она образовалась, дня четыре тому назад, сзади, на шее; если бы не была покрыта волосами, Ольга Ивановна, конечно, тотчас ее заметила бы. Константин Платонович ничего своим не сказал, но в первую же минуту подумал, что это, быть может, рак. Попробовал, запершись в комнате, рассмотреть пуговку при помощи двух зеркал. Это не удалось. Собрался было пойти к врачу, однако едва ли врач уже мог бы распознать болезнь, и было несколько совестно, да и страшно: вдруг подтвердит! В старом медицинском учебнике Лейден ничего не нашел. «Если будет расти, тотчас вернусь, хотя тогда уже не всё ли равно?» В экипаже он беспрестанно нащупывал пуговку, — как будто не росла. Думал о том, что рак на шее (если такой бывает?) не может считаться безнадежной болезнью: лечат оперативным путем не без успеха. «Да, плохо, всё плохо... Какой это старик-француз на вопрос «Comment ça va?‘ отвечал «Ça ne va pas: ça s’en va»? Действительно, организм разрушается, начинается самый худший период жизни: *доживанье*, болезни. Хорошего больше ничего не будет. А я думаю о платанах!.. От какой же болезни я умру? Пожалуй, самое безболезненное: воспаление легких. А то разрыв сердца? Но сердце у меня, кажется, здоровое. Или будут возить в повозочке после удара? Тогда, если останется сознание, столь ничтожным покажется всё, что теперь меня огорчает, раздражает, беспокоит! Но каким же образом громадное большинство людей не думает о своей смерти — или же думает только весьма редко, по каким-либо особым оказиям вроде болезней, завещания или похорон близкого человека?»

Он заснул. Ему снилось, что он находится на Гаити. Или на Таити... Петр Игнатьевич предложил вырезать

пуговку и хотел за это взять всего пятнадцать копеек, но он не согласился: еще зарежет! Между ним и Петром Игнатьевичем из-за этого произошло резкое столкновение, он всё Петру Игнатьевичу выпел, напомнил разные его поступки, всю его некорректность в том деле с заводом. Тятенька старался их помирить и обратил их внимание на красоты природы, объяснил, что Гаити открыл Колумб и добавил: «Frisch in's Leben hinein», пане Христофоре!» Эта чушь затем развивалась по-своему почти логично. Лейден проснулся от толчка, испуганно открыл глаза и обрадовался: «Все ерунда, никакой операции, никакого Таити! Приходит же в голову этакий вздор! А еще люди приписывают вещее значение снам! Отроду, кажется, ни о Таити, ни о Гаити не думал!..» Коляска стояла у избы с надписью под крышей: «Почтовая станция».

В избе других проезжающих, к его удовлетворению, не было. Ему подали самовар, он велел принести из коляски погребец. «Время глупое, — подумал Константин Платонович, взглянув на часы, — для завтрака поздновато, для обеда рано». Еды на станции не было. Он подумал, что верно у ямщика есть свои харчи, велел дать ему водки и послал большой кусок ветчины.

— И скажите ему, пожалуйста, что в четыре часа мы поедем дальше, — прибавил Лейден. — Водки больше стакана не давайте, еще вывернет.

Эта мысль его заняла: что если коляска упадет и он вывалится в грязь? Лишь бы тогда не потерять вещей и особенно денег. Он взял с собой немало золота; кроме того было заемное письмо. «Что я стал бы делать, ежели бы всё как-нибудь да пропало? В дороге знакомых ни души. Ждать пока пришлют из Киева?» Он долго обсуждал это за завтраком: как даст знать Ольге Ивановне? сколько пришлось бы ждать? Не вытерпел, заглянул в чемодан, деньги были целы. «Смешно, ведь я опытный путешественник. Прежде, бывало, тоже беспокоился, да всё же не так».

Помещение станции было очень грязно. После необыкновенной чистоты их киевского дома, комната была особенно противна. «Хотел бы я увидеть Оленьку в таких аппартаментах!» — подумал он, чувствуя теперь к жене особенную нежность. — «Что они обе сейчас делают? Лильки верно нет дома, а Оленька вздыхает и рассуждает обо мне с дурой Ульяной». Неожиданно ему пришла мысль, что он отлично мог бы вернуться домой. «То-то они обрадовались бы!.. Ведь в сущности Тятенька прав: не очень мне нужно всё это: платаны, семена, завод... Что же я сказал бы в Киеве, если б вернулся? Что забыл захватить подорожную? Но ведь тогда надо было бы тотчас опять уехать. Враги пустили бы какую-нибудь сплетню»...

Он знал, что его в киевском обществе не любят, и сам любил лишь немногих, да и то не очень горячо. Впрочем, отдавал должное чужим достоинствам. Этот хороший человек, да скуп до отвращения. Этот тоже хороший, но меняет белье раз в неделю и ногти грязные. Всё же Лейден понимал, что мало кто его *ненавидит*. «Ненависть, конечно, слишком сильное слово... Если б я сейчас вернулся в Киев, Петр Игнатьевич и Марк Петрович объявили бы, что меня давно пора свезти в дом умалишенных и что они всегда это говорили. А какое мне дело до того, что они скажут? Может ли меня интересовать мнение чужих, ничтожных людей? — спрашивал он себя, хотя чувствовал, что даже мнение Петра Игнатьевича и Марка Петровича имеет для него некоторое значение. — Да что такое вообще враги? Люди имеют разные интересы, разные взгляды, разные вкусы, и поэтому часто относятся друг к другу недоброжелательно и враждебно; кроме того, есть множество дурных, гадких людишек, и если по поводу каждого их слова раздражаться, расстраиваться, то лучше вообще не жить на свете. И, наконец, в известном смысле даже стыдно не иметь врагов: значило бы, что я бесцветный человек». Это он часто говорил себе и прежде. Тем не

менее, случалось, в особенно плохие свои минуты, думал о том, как бы причинить какую-либо большую неприятность дурным людям. Иногда долго представлял себе, какой убийственный фельетон мог бы написать барон Брамбеус о Петре Игнатьевиче, и даже мысленно участвовал в составлении этого фельетона, в котором его враг был бы обозначен ясно для всех, например, Игнатием Петровичем.

В комнату внесли сальную свечу. Он взглянул на часы и закрыл глаза. «Да, «гимнастика смерти», — подумал он. Так он про себя называл то, о чем думал и дома в бессонные ночи: представлял себе смерть знакомых и близких людей или, точнее, влияние на него их смерти. «Это безошибочный признак того, что я крайний эгоист. Смерть знакомых в сущности никакого влияния на меня иметь не может. Да, вероятно, я был бы огорчен, а через полчаса забыл бы. И так все, только другие притворяются и изображают большое горе... А смерти Петра Игнатьевича я даже был бы очень рад. Каждый из нас наверное мог бы составить мысленно список людей, смерть которых ему была бы удобна, полезна, а то и приятна. Только и тут люди этого не говорят. И я тоже никогда никому не скажу. Если б сказал, то Тятенька верно постучал бы многозначительно пальцем по лбу, а Оленька ужаснулась бы, заахала, а вечером помолилась бы Богу, чтобы Он простил мне столь страшный грех и чтобы хранил тех, кому я желаю смерти. А я всё-таки им ее порою желал, а Петру Игнатьевичу и сейчас желаю, и ничего тут со мной не поделаешь... Но враги и в счет не идут. А друзья? Тятенька? Близкие? Да, я сто раз приучал себя мысленно к тому, что они умрут, что я их переживу, могу пережить, мысленно преодолевал свое горе, думал даже, к моему позору, о том, что будет со мной, если я их переживу! И это ужасно, хотя, может быть, каждый из нас *должен* иногда это делать, чтобы приучать себя к неизбежному. У

меня же эта гимнастика смерти — чужой смерти — становится, кажется, манией».

Он вспомнил о пуговке, открыл глаза и ощупал шею. «Нет, как будто не увеличилась». По столу бегали тараканы. Несмотря на занятия Константина Платоновича естественными науками, три вида существ вызывали у него непреодолимое отвращение: насекомые, крысы, змеи. «Что-то меня еще ждет в Турции: клопы, сомнительные кровати, еще более сомнительная еда, от которой легко отравиться или заболеть холерой. Право, не лучше ли вернуться?» — подумал он, хотя и отлично знал, что не вернется. Он обрадовался, когда подъехал ямщик.

— Ну, что, голубчик, поели, выпили? — спросил его Лейден и подумал, как неестественно это развязно-ласковое обращение к чужому мужику. Он не только не говорил простым людям «ты», но в ресторане не мог сказать «человек», а в бытность свою в Париже в кофейнях не произносил слова «гарсон», казавшегося ему очень оскорбительным для слуги. «Тем не менее вся эта ничего мне не стоющая деликатность, которой я внутренно горжусь или даже хвастаю перед самим собой, одна фальшь. Всё-таки я только что ел икру и пил венгерское, а он пил водку и ел *пожалованную* мною ветчину. Если же я не пожаловал бы, то он ел бы сухой хлеб. Конечно, много правды в том, что говорят в свободных странах революционеры. А я вот и знаю, что в этом много правды, но это ровно ничего в моей жизни не меняет. Тоже фальшь, везде и во всем фальшь... Лучше дома говорил бы Никифору ты, но жалованья платил бы ему втрое больше».

Дорога была долгая, утомительная. Лил холодный дождь. И всё время его преследовали те же мысли. Все несчастья были возможны: рак, удар, разорение, пожар дома. Он мог простудиться в такую погоду и заболеть воспалением легких. «Кто же даст знать Оле? Или вдруг заболею холерой? Тогда лишь бы скорая смерть...

Цели же ведь всё равно в жизни больше никакой нет, вот как у этого стада овец, которое там куда-то гонит мужик. Их зарежут через неделю, нас немного позднее, зато нас уже без всякой нужды или пользы». Впрочем, ему самому показалось, что и мысль эта, и сравнение с овцами не так блистательны: «Для этого не стоило прочесть сотню философских книг. Правда, я — Кифа Мокиевич!» — сказал он себе, рассеянно нащупывая пуговку.

От таких мыслей помогало ненадолго вино. Он не очень любил вкус спиртных напитков, а водку глотал почти как лекарство. Но после нескольких стаканов вина начинал чувствовать то, что принято было называть «приятной теплотой». У других людей от спирта развязывался язык, у него развязывался ум; мысли не путались, а, напротив, становились более ясными и неизмеримо более приятными.

Ночь перед Одессой он опять провел на почтовой станции. Она была немного лучше первой, но и тут пахло луком, мокрой кожей и жженым салом. Был диван и на нем Лейдену приготовили постель. Однако, он не решился лечь, — представил себе людей, которые, быть может, спали на этой простыне, под этим одеялом: могли быть и больные чесоткой, и сифилитики. Запасы еды уже кончались, как ни много было ее в погребце: он ел в пути очень много, хотя опасался, не испортилась ли уже провизия. Делился запасами с ямщиком, давал и голодным детям, когда они появлялись в комнате для проезжающих и смотрели на него жадными глазами. «Да, вот он, нищий народ!» — думал Лейден: в отличие от Бальзака, не восхищался богатством России; вспоминал о чистеньких гостиницах Австрии и сравнивал. И всё пытался понять, чего именно он хочет. С растущей тревогой думал о радости, которую испытал, простившись с женой и дочерью; ясно видел, что одиночество выносит с большим трудом; и так же ясно чувствовал, что не очень хочет и своего киевского общества. Ему те-

перь казалось, что в Киеве его преимущественно тяготило однообразие его жизни: всё одно и то же, милые приятные люди, но одни и те же.

От скуки он вышел из избы. Дул сильный холодный ветер. «Жутко человеку быть одному вечером, да еще в такую погоду, на новом, незнакомом месте, будь это хоть Париж». Лейден вернулся в избу и просидел всю ночь на диване, с которого сбросил одеяло и простыню. Ночью и в комнате стало холодно. Он ежился под пледом, думал, что клопы могут развестись и в его вещах. Дремал, под утро заснул и проснулся совершенно разбитым. Пуговка не уменьшилась. Клопы кусали по-прежнему. «Человек, которого кусают клопы, не может сохранять человеческое достоинство!» — с отвращением думал он. Очень дорожил своим достоинством. — «Хоть бы скорее город, ванна, цивилизованная жизнь!»

В Одессе погода тоже была плохая. Море было неприветливо. Перед отъездом Константин Платонович разменял ассигнации. Решил есть поменьше. Действительно, через полчаса после того, как судно отошло, стало сильно качать. Пассажиры с тревогой и с некоторой гордостью говорили, что годами такого бурного моря не было. Лейден поспешно спустился в каюту и стал думать, что произойдет, если судно пойдет ко дну. «На лодке куда же спасешься? Кажется, и островков никаких нет».

Он всю дорогу пролежал пластом, проклиная день и час, когда решил ехать в Константинополь. Мечтал теперь только о том, чтобы под ним снова оказалась земля, всё равно какая, но твердая. Вычислял мысленно, сколько еще плыть. Его звали к завтраку, к обеду. Он смотрел на звавших с завистью и отвращением: что это, издеваются они, что ли? Лакей участливо предлагал принести ему бульона или чаю. — «Оставьте меня! Ничего не хочу», — шептал Лейден страдальчески.

Его мучения кончились внезапно. Под конец пере-

езда он задремал. Когда проснулся, увидел, что каюта залита солнцем. Полотенце на вешалке, прежде качавшееся, как маятник, теперь висело неподвижно, графин и стакан на умывальнике не звенели. «Неужто берег? Слава Тебе, Господи!» Вспомнил о пуговке, протянул руку к шее, — пуговки не было! Сразу было не поверил, долго искал: нет пуговки, исчезла! «Надо же было волноваться! Просто стыдно! Был простой волдырь, или что-то в этом роде! Эх, дурак я!» — с восторгом подумал он. Попробовал встать, — отлично встал. Осторожно, держась за перила, поднялся по лестнице, — тоже удалось превосходно. В коридоре, выходившем на палубу, даже не пошатнулся!

Близко, совсем близко, была земля, — не только твердая, но невообразимо прекрасная. Видны были белые купола, гигантские копья минаретов, кипарисы, невиданных размеров платаны, цветы, раскрашенные дома, — необычайное сочетание красок, от ярко-зеленой до ярко-красной. Но главное было солнце. Такого солнца он отроду не видел: оно здесь было светлее, белее, ярче, чем в России. «Что, как Тятенька прав? Незачем думать о смерти и загробном мире, надо жить со дня на день, брать от жизни всё, что еще можешь!» — сказал он себе. И только мелькнула у него мысль, что ведь и резкую, ничем кроме погоды не вызванную, перемену настроения можно было бы приписать душевному расстройству.

Еще до отхода судна из Одессы он справился у капитана, где бы остановиться в Константинополе. Капитан посоветовал меблированные комнаты у Галатской башни: «Содержит грек, у него очень чисто и недорого, будете благодарить. Я вам запишу адрес, на меня и сошлитесь». Когда корабль остановился, на борт мгновенно вскарабкались носильщики; ругаясь друг с другом, набросились на Лейдена, выхватили записку, закивали головами и с криками повели его вниз. Никаких формальностей не было; быть может, капитан откупился от

властей. Лейден очень скоро очутился на твердой земле — и сразу ошалел: попал в новый мир!

На улицах была давка, кладь везли на ослах и верблюдах, везде бегали тощие собаки, почти сплошной стеной неторопливо продвигались люди, белые, арабы, негры; женщины были в чадрах. Вся эта разноплеменная, по-разному одетая, разноцветная толпа шумела, как никогда не шумели люди в России, в Австрии, в Пруссии, даже в Париже. Ему в первую минуту показалось, что он попал на какой-то скандал. Кое-где орали так, точно сейчас здесь совершилось или совершится убийство. Однако ни скандала, ни убийства никто, по-видимому, в мыслях не имел. Было очень тепло, солнце всё заливало не лучами, а именно потоками света. «Какая-то световая вакханалия!» — по-книжному, но с подлинным восторгом подумал Лейден. В этой вакханалии, в прозрачном, как ему казалось, чуть фиолетовом, воздухе, в диком жизнерадостном шуме этого нигде невиданного им человеческого моря был дурман. По дороге он вспомнил, что не оставил на чай лакею на судне: мысленно назвал себя скотиной. «Не возвращаться же!» Дал деньги носильщику и как умел объяснил ему, для кого они предназначаются. «Конечно, не отдаст, если даже и понял. Ну, что ж, и ему надо жить!»

К приятному удивлению Константина Платоновича, меблированные комнаты у Галатской башни оказались очень приличными, лучше киевских, не хуже венских. Грек, очень любезный человек, говоривший по-русски и по-французски, повел его по мягким толстым коврам в хорошо обставленную по-восточному, чистую комнату. В ней приятно пахло, — хозяин объяснил, что душит свои комнаты розовой эссенцией. Обещал тотчас послать за гидом, посоветовал сходить в турецкую баню в соседнем доме, прислал голубовато-синюю чашечку в медной подставке с турецким кофе и тарелку сладкого печенья. Кофе было необыкновенное, — «отроду такого не пил!» Столь же необыкновенной оказалась и

баня. Лейден просидел в ней с час, решил ходить каждое утро, вышел в состоянии радостной бодрости, какой давно не испытывал. «Да, в самом деле, всё вздор: и несчастья, и враги, и мысли о самоубийстве всё такой же вздор, как пуговка!» (опять ощупал шею — ни следов!). «Право, произошло чудо! Константинопольское чудо!»

В гостиной его ждал гид, небольшой, очень худой человек с проседью в волосах и в бородке, с редкими черными зубами. Желто-зеленое лицо его было странное, как бы двух измерений: «Если провести плоскость от вершины лба к низу подбородка, то на ней оказались бы и лоб, и глаза, и нос, и рот, точно всё это нарисовано». Одет он был бедно, старомодно и с некоторыми претензиями: на нем были черный фрак с бархатными отворотами и металлическими пуговицами, оливковые брюки и гетры: так одевались при Первом Консуле. Всё было очень потерто и грязновато. «Похож на утопленника!» — подумал Лейден.

— Первый *дрогман* в Константинополе, — отрекомендовал гида хозяин. — Дрогман нашей гостиницы. Он всё знает, историю, достопримечательности, магазины.

Гид слабо улыбался. Улыбка у него была одновременно почтительная и ироническая. Он как будто этой улыбкой защищался от грубого обращения, к которому могли подать основание его профессия и бедность.

— Очень рад. Какие ваши условия? — спросил Лейден. Нисколько не будучи скупым, он, как деловой человек, не любил, чтобы с него брали больше настоящей цены. Плата, которую Константин Платонович мысленно перевел на рубли, оказалась скромной. Гид назвал цифру, робко на него глядя. Видимо, боялся лишиться клиента.

— Это обычная здесь плата, мосье. Полагается также завтрак, но я ем очень мало и не требователен, — сказал он. Лейден почувствовал неловкость (вечером морщился, вспоминая эти слова).

— Будем вместе и завтракать. Завтра утром и начнем, приходите пораньше. А вы хорошо говорите по-французски.

— Я говорю и по-немецки, и по-английски. По-русски, к сожалению, не говорю, — вежливо добавил гид. — Мой родной язык испанский. Не прикажете ли, мосье, сейчас проводить вас куда-нибудь? Вы, верно, пойдете обедать? Или, может быть, вам нужны папиросы? Наш табак лучший в мире, — сказал он. Гид видимо не очень уважал турецкие порядки, но гордился, что и в Турции есть что-то самое лучшее в мире. — Я всё могу вам указать. Разумеется, бесплатно: за время, потраченное на переговоры, клиенты не платят.

«Верно, получает утопленник от лавок процент», — подумал Константин Платонович благодушно: всё ему нравилось и всё казалось совершенно естественным.

— Да, да, мне надо обзавестись табаком.

— Тут рядом есть отличный магазин. Отсюда всё близко, вы, мосье, не могли выбрать лучше места, — сказал гид, отплачивая хозяину за любезность.

— Прекрасно, мы сейчас же и выйдем. Очень рад, что попал на такого хорошего гида.

— Я дрогман, — мягко поправил гид. — «Дрогман, так дрогман», — подумал Лейден. Это слово вызвало у него представление об опиуме, о гашише. Он не знал, что по-французски не говорят «драгоман».

— А как, о холере у вас в Константинополе теперь не слышно?

— Избави Бог! Никакой холеры нет! — сказал гид, испуганно оглянувшись на хозяина. У того на лице выразилось даже что-то вроде негодования: холера у нас!

— Вот это приятно! — сказал Константин Платонович. — Пойдем.

Действительно, по соседству оказались прекрасные лавки, в них продавались табак, чубуки, бусы, коробочки, ковры, восточные сласти, фрукты и овощи необычно ярких цветов. Константин Платонович купил папи-

рос, маленькую коробку рахат-лукума и угостил гида. Тот рассыпался в выражениях благодарности, закурил, а два кубика рахат-лукума аккуратно завернул в бумажку и спрятал.

— Это я отдам деткам, — виновато сказал он.

— Возьмите больше, эффенди, — предложил Лейден, становившийся всё благодушнее. «Эффенди» было единственное известное ему турецкое слово; и то он не знал, можно ли так называть человека. Но постоянный словообмен «мосье» — «мосье» был скучноват и слишком обычен. Константину Платоновичу в этом городе хотелось говорить и даже вести себя возможно более по-восточному. Дрогман слабо улыбнулся.

Они еще поговорили. Гид тотчас соглашался со словами клиента. Если же говорил от себя, то его улыбка становилась еще более иронической, точно он высказывал не свое мнение, а чье-то чужое, быть может заслуживающее осуждения. Лейдену становилось все более его жалко.

— Так прикажете проводить вас к ресторану? Здесь недалеко есть ресторан с самой лучшей французской кухней.

— Нет, я немного погуляю, — сказал Лейден. — И притом, что ж в Константинополе есть французские блюда? Я хотел бы чего-нибудь такого...

— У них есть и все блюда турецкой и греческой кухни, — сказал гид, знавший, что так в первый день говорят все туристы. — Завтра, если вам угодно, мы будем завтракать в Стамбуле. Но этот ресторан я вам особенно рекомендую, и лакеи понимают по-французски.

Гид объяснил, как пройти к ресторану, и простился. Оба остались довольны друг другом. «А я почему-то думал, что все они наглые люди. Этот, напротив, очень застенчивый... Ах, какой город! Я уверен, что, живи я здесь, ничего от моей тоски не осталось бы. Тятенька обиделся бы за Киев... Что и говорить, Киев чудесный

город. Но константинопольского солнца в нем нет, а тут ведь всё дело в солнце», — думал Константин Платонович, чувствовавший что-то вроде смущения по случаю *измены* Киеву.

II

> The General said, there was no beauty in a simple sound, but only in an harmonious composition of sounds. I presumed to differ from this opinion and mentioned the soft and sweet sound of a fine woman voice. Johnson. No, Sir, if a serpent or a toad utters it, you would think it is ugly *).
>
> Boswell

Теперь он и гулять старался с *восточной важностью* и сам радостно улыбался своему тихому помешательству. С твердой земли было приятно смотреть и на море, так недавно внушавшее ему крайнее отвращение. Едва ли даже не в первый раз в жизни оно показалось ему в самом деле прекрасным. Как все, он восхищался красотой моря, но про себя думал, что ничего в нем красивого нет; скучное, однообразное зрелище, любая река гораздо лучше, не говоря уже о Днепре.

Ресторан по виду почти не отличался от петербургских или московских. При виде закусок, Лейден вдруг почувствовал необыкновенный голод. Лакей, говоривший по-французски, подовинул ему стул, принес ту самую хиосскую анисовую водку *дузику* и то красное тенедосское вино, о которых говорил Тятенька. Дузика была действительно хуже русских водок, но недурна, а вино оказалось прекрасным. Константин Платонович

*) Генерал сказал, что в простом звуке нет красоты; красота только в гармоническом сочетании звуков. Я не согласился с этим мнением и упомянул о мягком и милом звуке прекрасного женского голоса. Джонсон. — Нет, сэр, если б такой звук издавала змея или жаба, вы нашли бы его безобразным.

заказывал больше наудачу. К константинопольской еде надо было бы относиться с особой осторожностью, но в этом городе его мнительность ослабла. Вдобавок, все вокруг ели с аппетитом и видимо никак не думали, что могут отравиться. Он стал с жадностью есть всё, что приносил лакей и к чему он не прикоснулся бы в Киеве или в Петербурге. Были поданы жареные моллюски, затем что-то фаршированное, что-то рубленое, что-то мучнистое, что-то очень сладкое. Всё было необыкновенно вкусно и непохоже на то, что он ел дома. Подавали крайне медленно. В России люди тоже не очень спешили, но здесь уж никто никуда не торопился. «И слава Аллаху! В отличие от нас, они не заражены, не отравлены с детства мыслью, будто надо что-то делать, к чему-то стремиться, куда-то спешить»... За соседним длинным столом весело обедала большая компания. Мужчины были в фесках, — быть может, и турки. Дамы, очевидно, мусульманками быть не могли. «А недурна та, что слева», — подумал Константин Платонович, допивая вино. Он не был гастрономом, но, как многие гастрономы, любил обедать один и в этом расходился с Тятенькой. — «Ты следуешь Иосифу Волоцкому, он запрещал иосифлянам разговаривать за трапезой, «да не уподобляются свиньям, которые хрюкают, принимая пищу». Только это, братец, вздор: нет лучше, как почесать язык за едой», — благодушно говорил ему Тятенька. «Вот и в Киеве, как вернусь, буду один ходить в Английскую гостиницу. То-то Оля удивится. Что ж, собственно, ведь я еще не очень стар». Он чувствовал, что его назад в Киев нисколько не тянет. «Южное вино довершает дело южного солнца... Именно, константинопольское чудо! Может быть, я и циник, и бесчувственный человек, но что ж я буду себя обманывать? Давно мне не было так хорошо и легко, как нынче. И, право, так именно и надо жить, как эти восточные люди... Враг? Но вызови в себе и к нему расположение, скажи себе, что ты его врагом не считаешь, что ты не только

смерти, а никакого зла ему не хочешь, и станет легче не ему, — ему всё равно, — а тебе самому. В сущности, это даже единственный выход: все враги всё равно не вымрут, а и вымрут, так появятся другие»...

Когда Лейден, часа через полтора, вышел из ресторана, он не узнал города. День кончился. На улицах было тихо. Вдали купола и минареты сливались с воздухом. Вдруг послышался приятный заунывный крик. «Муэдзин!» — догадался он и остановился, прислушиваясь с восторгом. «Неужто *в самом деле* существуют муэдзины! Господи, как хорошо!» — Теперь он не сомневался, что с ним произошло чудо, что он на шестом десятке лет жизни понял новую мудрость «Да, они, восточные люди, правы, а мы, европейцы, варвары! И нам у них надо учиться, а не им у нас! Как же они-то смотрят на смерть и загробную жизнь?» Константин Платонович старался припомнить то, что читал об этом в книгах по истории религий, смутно вспомнил о дервишах. Меньше всего знал именно о Коране и мусульманах.

Он вернулся домой, лег на диван, — турецкий диван был у него и в кабинете киевского дома. «Но здесь *турецкий* — турецкий диван, и это совершенно иное дело», — думал он. — «А кто это у Лермонтова дремлет, склонясь в дыму кальяна на цветной диван? Чуть ли не Тегеран?.. Смелый образ... Почему не говорят правды, когда большой поэт пишет плохие стихи? А еще кто-то там же в тени чинары льет на узорные шальвары пену сладких вин. И слова такого нет «чинара», а есть «чинар», и это платан, только «чинар» звучнее. Да, я якобы приехал сюда для платанов. А на самом деле всё это вздор, и совсем я не для них приехал. Я не знаю, для чего я сюда приехал. Видно, просто потому, что *не мог* больше жить так, как жил»...

Надо было бы написать жене: он обещал писать каждый день. «Но ведь всё равно письмо уйдет не раньше, как через неделю, на том же судне. Буду писать по несколько страниц каждый вечер, начиная с завтраш-

него дня, обо всем, что увижу за день. Так наберется страниц двадцать...». Вспомнил, что в кармане пальто есть рахат-лукум. Достал, не без труда расклеил слежавшиеся теплые кубики, всё съел, запил тепловатой водой из кувшина и подумал, что никак не следовало бы пить сырую воду. «А здесь, на востоке, и умирать, верно, так же просто, как жить, или во всяком случае проще, чем у нас. Жил, помер, будут гурии, велик Аллах... Зачем только грек всё так душит своей эссенцией? «Восточная изнеженность?» Это тоже вздор». В комнате тикали стенные часы. Он в Киеве, случалось, говорил, что людей, приобретающих такие часы, или попугаев, или канареек, надо вешать. С Ольгой Ивановной однажды вышла ссора: не спросив его, она купила часы с кукушкой, он устроил скандал, она испугалась и вернула их в магазин. Однако здесь, в Константинополе, ему и тиканье показалось уютным. Оно говорило: «Встань, встань, встань». Константин Платонович подвел под темп другие слова: «лежи, лежи, лежи». Часы согласились и на это. Лейден достал из чемодана туалетные принадлежности, ночную рубашку, мягкие туфли. Заснул, не потушив свечи. Огарок погас, выпустив фитилек со дна подсвечника.

Ночью были виденья, которых не было очень давно. Он проснулся с рссветом; как раз пропел петух, — и в этом тоже было нечто успокоительное, *восточное,* хотя петухов он постоянно слышал и в Киеве. «Где я? Что такое случилось счастливое?» — спросил он себя. — «Ах, да, Константинопольское чудо!» Не чувствовал своей, обычной по утрам, гнетущей тоски. Надел туфли, уютно, как в Киеве, подвернулся под пятку задок левой. «Встань... встань... встань», — мило, опять односложно, советовали часы. И с раннего утра он начал ту же приятную игру в восток. Подошел к окну. Утро было чудесное. Видна была небольшая мечеть. Под окном неторопливо шел человек в странном кафтане, постукивал остроконечной палкой по лежавшим на улице ог-

ромным, поросшим мхом камням: дошел до угла и вернулся. «Очевидно, ночной сторож». Издали, со стороны мечети, сверху, опять послышался заунывный крик. «Муэдзин зовет правоверных восславить Аллаха», — подумал Константин Платонович; и то, что он мог думать такими странными словами, было для него неожиданно. «Что ж, Магомет был наверное не глупее меня и даже не глупее тех философов, чьи книги у меня в Киеве стоят во втором шкапу...». Ему захотелось есть и пить. «Часов в восемь уже можно будет попросить чашку их чудесного кофе. Спрошу и дузики. Хотя Магомет кофе, верно, не знал, а пить водку строго запретил... Чудесный город, чудесная страна... Как я хорошо сделал, что сюда приехал!»

Несмотря на свой новый, мусульманский взгляд на жизнь, он после утреннего завтрака решил начать с дел и, к некоторому недоумению гида, сообщил ему, что хочет осматривать не дворцы и мечети, а сады, рощи и плантации.

— Не знаете ли вы каких-либо садоводов и агрономов, которые понимали бы по-французски или по-немецки? — спросил он.

Дрогман, подумав, ответил, что знает, и повез его к старому немцу, давно жившему в Константинополе. Результаты оказались не обнадеживающими. Цветы в Турции были чудесные, но цветоводство первобытное, такое, каким верно было при византийских императорах. Здесь всё делало солнце без человеческой помощи. Немец продал Лейдену семена, а к его затее о платанах отнесся скептически. Константин Платонович осмотрел знаменитый константинопольский платан, которому будто бы было не меньше восьмисот лет. Турецкие платаны считались лучшими в мире. По совету немца, он отправился в греческую торговую контору. Греки смотрели на него с удивлением: деревьями не торговали, но, пошептавшись, сказали, что препятствий не видят: можно попробовать. Раздачу необходимого

бакшиша контора охотно принимала на себя: это видимо было для нее привычным делом. Он навел справки о фрахте, тут же сделал подсчет и дал пробный заказ.

«Что же теперь-то делать? Приехал якобы выяснять дела, а вот за одно утро всё выяснил!» — подумал он, выйдя из конторы. Все же побывал в еврейском магазине, торговавшем иностранными книгами. Там ему опять с недоумением ответили, что по агрономии и цветоводству у них книг ни на каком языке нет. Книги об Исламе, о дервишах нашлись. Затем Лейден съездил с гидом на пристань. Ближайшее судно уходило в Италию лишь через неделю. Это был английский пароход. «Вот хорошо! Я еще никогда на пароходах не ездил». Была свободная только одна каюта, двухместная. Немного поколебавшись, Константин Платонович заплатил за оба места. Тратиться не хотелось, но не хотелось и жить в одной каюте с другим пассажиром. «Быть может, еще будет храпеть или же потребует, чтобы в девятом часу гасить свечи? А ежели еще на беду начнется качка! Хотя и Средиземное, и Мраморное, и Эгейское совсем не то, что Черное».

Теперь можно было осмотреть город. Лейден и проделал в три дня то, что делали другие туристы. Дрогман оживился, перейдя к своим обычным занятиям. В святой Софии подробно рассказывал о падении Константинополя, о гибели последнего византийского императора, о том, как султан-победитель подъехал к храму верхом на коне и прикоснулся окровавленной рукой к стене, — вот отпечаток. Показал и другие мечети, показал сераль, показал Сожженную Колонну, большой базар. Они поднимались на Галатскую башню. Побывали в пятницу на селамлике. Эта церемония показалась Лейдену малоинтересной: петербургские парады были гораздо пышнее; султан, нисколько не походивший ни на тирана, ни на фанатика, был не в раззолоченном мундире, а в черном сюртуке, большого блеска не было ни в чем. Когда дрогман предложил осмотреть

еще Семибашенный замок и монастырь Балуклу, Константин Платонович запротестовал: довольно. Дрогман говорил о каких-то волшебных рыбках в подземном бассейне монастыря; Лейден отказался и от волшебных рыбок.

— Танец дервишей будет вечером. Может быть, вы до завтрака хотели бы взглянуть на рынок невольников? — спросил дрогман. Он очень оценил этого иностранца: в ресторанах Лейден заказывал ему то же, что ел и пил сам, или предлагал выбрать что угодно. Вначале гид сконфуженно отвечал, что ему всё равно. Ел он с жадностью, а когда лакея вблизи не было, незаметно кое-что завертывал в бумажку и прятал в карман оливковых брюк. «Ну, что ж, для деток», — думал Константин Платонович. Теперь, освоившись с клиентом, дрогман стал менее робок и не только улыбался, но иногда шутил и смеялся. Смех у него был странный, точно он чихал или кашлял, и всегда улыбка появлялась на его лице раньше, чем начинался шутливый рассказ. «Вот как молния предшествует грому», — думал Лейден. Свое достоинство гид по-прежнему оберегал и, когда Константин Платонович спросил его, много ли в Константинополе гидов, снова мягко поправил: «Я дрогман». «По-видимому, это у него point d'honneur. Так у нас статский советник обиделся бы, если б его назвали надворным». Гид, которого он теперь мысленно называл не иначе, как Утопленником, был человек не лишенный образования. Раза два он в разговоре упомянул о Байроне и о Бальзаке.

— Какой рынок невольников?

— У нас в Турции продаются невольники, — сказал гид, и его улыбка из иронической стала печальной и неодобрительной. Он знал, что после этого сообщения европейцы всегда выражают негодование — и идут смотреть рынок. Лейден негодования не выразил. «Что ж, у них люди продаются на рынке, а у нас в государ-

ственных учреждениях, хрен редьки не слаще», — подумал он.

— Далеко это? Успеем до завтрака?

— Конечно, успеем, если опять взять извозчика, — сказал гид.

По дороге он рассказывал о продаже невольников тем же тоном, каким сообщал исторические сведения о мечетях и дворцах. Прежде продавались на рынках люди, которые в пору войн угонялись турецкими войсками из южной России, из Грузии, Армении, Персии. Отношение к ним всегда было хорошее. Если они были еще очень молоды и если их покупали высокопоставленные люди, то их тотчас обращали в ислам, учили и воспитывали. При Солеймане I из бывших невольников выходили великие визири. А одна из его невольниц, дочь русского священника, стала любимой женой султана Роксоланой и правила Турцией. Ее воспевали лучшие поэты.

— Одни говорят, что она была ангел, а другие говорят, что она была изверг, — с улыбкой добавил дрогман, показывая черные зубы. — Теперь пленных больше нет, на рынке продаются люди из райи, чаще всего с их же согласия.

— Как это?

— Ну, что ж, у какого-нибудь болгарина много детей, а есть нечего.

— Так, так, понимаю, — сказал Константин Платонович.

Извозчик шагом проехал по площади рынка. На табуретах сидели продававшиеся люди, взрослые мужчины, а больше женщины, девочки, мальчики. Никаких цепей, представлявшихся воображению Лейдена, на них не было. Некоторые невольники играли на странных грушеобразных инструментах. Другие лениво переговаривались с теми, кто их, очевидно, продавал. На площади было много голубей и, как везде в Константинополе, бегали тощие собаки. Не было женщин в чадрах:

мусульманки на рынке не продавались. Была одна черная женщина, у нее через нос была продета цепочка из мелких серебряных монет, но это очевидно было украшеньем. При виде европейца, медленно проезжавшего в сопровождении гида, невольницы прихорашивались и улыбались такой же улыбкой, какой улыбались по вечерам женщины на Невском или на Крещатике. «Верно туристы тут х о т я т мысленно содрогаться», — подумал Константин Платонович. — «Но точно ли содрогаются? Почему же у нас «содрогался» — да и то по-настоящему ли? — Радищев, а остальные, честные, хорошие люди и по сей день преспокойно пользуются благами крепостного права, самые либеральные из них покупают и продают мужиков». Обстановка была обыкновенная, разве чуть праздничная, как на Контрактах. Люди прохаживались мимо табуретов и поглядывали на продававшийся товар. «Тот же *ряд,* только человеческий». Он вышел из экипажа и пошел вдоль *ряда,* хоть ему было неловко перед дрогманом и извозчиком. Впрочем, они, по-видимому, ничего странного тут не нашли: ежедневно возили туристов на эту площадь.

«Очень хороша эта зеленая», — подумал Лейден, поравнявшись с блондинкой в конце ряда. Около нее сидела старуха, очевидно не продававшаяся. Она что-то шепнула блондинке. Как раз в эту минуту прекратилась музыка. Блондинка засмеялась и что-то ответила старухе. Слов Лейден не понял, но ее голос и певучая интонация поразили его: «Точно речитатив в опере!» Он прошел дальше и этим видимо разочаровал обеих женщин. Константин Платонович сделал даже вид, будто просто переходил через площадь, как раз по случайности вдоль табуретов. Блондинка засмеялась ему вслед, смех у нее был особенно музыкальный и чрезвычайно приятный.

— Ну, хорошо, скажите ему, чтобы он ехал домой. Я устал и нынче ничего другого осматривать не буду,

так что вы мне больше не нужны, — сказал он дрогману и, увидев испуг на его лице, добавил: — разумеется, я вам заплачу за весь день и за завтрак. А вечером пойдем в самом деле посмотреть на дервишей.

В коляске он оглянулся на площадь и увидел, что к блондинке подходил какой-то седобородый турок. «Может быть, он ее и купит? — с досадой подумал Лейден. — Собственно и я мог бы ее купить, если не очень дорого. Разумеется, с тем, чтобы тотчас отпустить ее на волю. Почему же именно ее, а не других? Да и что она сделала бы с волей».

— Мосье, быть может, обратил внимание на эту светловолосую женщину, — сказал гид. — Она в самом деле очень красива.

— Кто? — как бы рассеянно спросил Константин Платонович.

— Эта блондинка, сидевшая со старухой. Старуха, кажется, ее мать, — пояснил дрогман. Лейден подумал, что уж тут непременно надо *содрогнуться,* и не содрогнулся. «Ну, что ж, конечно, в этой стране все другое, смешно к ним применять наши мерки и требования, вдобавок и у нас весьма невысокие. Может ли быть в этом воздухе, под этим солнцем настоящее понятие греха? И в чем ручательство, что их моральные понятия хуже наших? Ежели исходить из счастья, то они наверное счастливее, чем мы. Нет, здесь есть подлинная поэзия, в которой можно найти и настоящее высокое религиозное начало».

Расставшись с дрогманом, он купил папирос; теперь курил очень много: уж очень хорош был табак. «Возможно, что это и способствует моему странному состоянию: турецкий табак, турецкое кофе, турецкая баня, турецкое вино». Лейден посидел в кофейной и в первый раз почувствовал, что ему скучно. «Конечно, изумительный город, но общество, хотя в малой дозе, везде необходимо, даже такому нелюдиму, как я». Спросил себя, хотел ли бы, чтобы тут же за столиком сидел Тятенька.

«Что ж, поболтать с ним можно было бы», — подумал Константин Платонович.

Об Ольге Ивановне он себя на этот раз не спросил. Однако, вернувшись в гостиницу, точно за что-то себя наказывая, сел за письмо к жене. Это письмо он действительно начал писать на следующий день по приезде. В первый день описал путешествие, на второй день — меблированные комнаты, дрогмана, баню, на третий сообщил о немце, о делах. Теперь можно было описать рынок. Он написал о женщине, которую продает мать, но подумал, что это по счету уже шестнадцатая страница. «Где же Оле все это читать, надо знать меру».

И опять он почувствовал, что лжет: знал, что если он напишет и пятьдесят страниц, то Ольга Ивановна прочтет всё несколько раз. Сначала раза два для себя, *начерно,* — нет ли чего-либо такого, чего другим читать не надо? Интимные страницы обычно бывали в его письмах, он их оставлял под конец: таким образом Ольга Ивановна, читая письмо *начисто,* вслух дочери, могла ей сказать: «Ну, а там дальше ничего интересного, там *так*». Лиля в подобных случаях притворялась, будто не понимает, в чем дело, или же, чтобы сделать тайное удовольствие матери, скромно *потупляла взор*; это у нее тоже выходило очень мило. Затем, он знал, выдержки из его письма еще будут читаться Тятеньке и кратко пересказываться другим приятелям. И Тятенька скажет: «Куда его нелегкая понесла! Жил на дому, а оказался на Дону!» Другие же будут спорить: «Что вы, Тятенька! Такая интересная поездка, просто зависть берет».

Он описал Святую Софию, рассказал о кровавом пятне на стене, затем начал описывать зеленую башню и положил перо. «Ведь платье у той шельмы было желто-красное. Я ее назвал зеленой потому, что у нее зеленые глаза!.. А голос у нее точно необыкновенный, смеха я никогда такого не слышал. Жаль, что купил

верно проклятый турок. Верно, и та Роксолана умела так смеяться»... Собрался было писать дальше, но перо было плохое, и очинить его было нечем. «Скажу, чтобы дали другое, потом допишу, еще есть время».

III

...Le repos que la vie a troublé *).

Leconte de Lille

— Дервишей вообще очень много, — рассказывал по дороге гид. — Есть воющие дервиши, есть пляшущие дервиши, есть мунсихи, есть хайрети, есть эшраки. Обычно иностранцы ходят смотреть пляшущих мевлеви, но я сегодня покажу мосье таких дервишей, которые очень на них похожи и всё-таки не совсем как они.

— Да зачем же они пляшут? Какой тут смысл?

— Для того, чтобы это понять, надо быть ученым мусульманином, а я не мусульманин и не ученый, — сказал дрогман, смиренно-иронически улыбаясь. — Конечно, мы с мосье не стали бы плясать для того, чтобы выразить наше отношение к смерти и к Богу. Но таков у них тысячелетний обычай. Кажется, тут дело в идее круга: по их учению, жизнь есть круг, а в центре круга Аллах. Все люди рождаются на равном расстоянии от Бога. Затем начинается пляска жизни. Одни пляшут молча, другие пляшут и воют..

— Так это и есть жизнь: плясать и выть?

— Я ведь не говорю мосье, что это я так думаю. Я просто так о них слышал. Может быть, это неверно, — ответил гид с кроткой улыбкой. — Они танцуют по кругу, и понемногу начинают понимать, что Бог в центре всего, что на каждого из них льются его лучи. Дервиши совершают полный круг, затем приближаются к центру. Не удается в первый раз, проходят второй круг

*) ...Отдых, потревоженный жизнью.

или третий. А когда кончено, это смерть, то есть слияние с Богом. У них самое важное: смерть... Так по крайней мере мне объяснял один ученый человек.

— Что ж, как символ это совсем не худо.

— Это даже, может быть, очень глубоко, — поспешно сказал дрогман.

— А какое происхождение этих дервишей?

— Происхождение их самое разное, в зависимости и от ордена. Самый влиятельный орден это Мевлеви, орден пляшущих дервишей. Их шейх один из самых высокопоставленных людей Турции. Когда новый султан венчается на царство, то его в мечети Эйюба этот шейх опоясывает мечом Османа. Такова их привилегия. Попасть к ним трудно. Надо пройти искус в 1001 день, и если чем-нибудь нарушить правила хоть в один из этих дней, то нужно всё начинать сначала. Это всё тоже связано со смертью, но как, я не знаю... Часто сын дервиша становится тоже дервишем, однако принимают людей и со стороны. Иногда в орден уходят пожилые люди, желающие замолить свои грехи. А есть и такие дервиши, которые и состоя в ордене ведут грешную жизнь... Я слышал, что между ними есть и неверующие, — сказал дрогман, понизив голос, хотя извозчик, который их вез, по-французски не понимал. — Вероятно, мосье слышал о франк-масонах? Их во Франции очень много. Говорят, что некоторые дервиши поддерживают тайную связь с франк-масонами.

— Ну, это вздор! — сказал Лейден. Он встречал в Киеве, в Петербурге людей, бывших масонами в прошлое царствование, и они очень мало походили на дервишей.

— Я и не утверждаю, что это так, — опять испугавшись, сказал дрогман. — У нас только такой слух. Но я знаю, что есть дервиши, которые ничего не признают. Говорят, они атеисты! Другие их очень не любят. Дервиши делятся вообще на две ветви: люди, признаю-

щие закон, это ветвь Ба-Шар, и люди, не признающие закона, это ветвь Би-Шар...

— Ба-Шар и Би-Шар? — повторил Константин Платонович.

— Вот мы и приехали. Прошу мосье говорить здесь очень тихо, хотя мы и будем сидеть на местах для европейцев. Что ж делать, они фанатики.

Они вошли в небольшой двор. По обеим сторонам его тянулись невысокие строения. Дрогман объяснил, что здесь живут холостые дервиши; женатые могут жить у себя дома с тем, чтобы два раза в неделю проводить ночь здесь; у шейха есть отдельное помещение, у него много слуг и лошадей.

В галерее для посетителей уже почти все места были заняты европейцами. Восьмиугольный зал был освещен довольно ярко. Пол был устлан ковром. Гид шепотом объяснил, что баранья шкура на ковре это то место, где будет находиться шейх. — «А оркестр вон там», — показал он в другую сторону. Галерея была освещена слабее. Все в ней переговаривались вполголоса. Преобладала английская речь.

«Ба-Шар и Би-Шар, — думал Лейден. — Я всю жизнь жил по закону. Как Ба-Шар. Но я не знал, что есть орден Би-Шар, т. е. что люди заранее сговариваются жить без закона. Впрочем, может быть, тут просто игра слов: вероятно, они под законом разумеют обряд? Однако неверующие среди них могут толковать закон и иначе... Видел ли я Би-Шаров в жизни? Революционеры? Но я их не знаю, за исключением разве польских повстанцев. А кроме того, у них есть свой закон. Здесь на Востоке Би-Шары наверное совершенно иные». — Он вспомнил о женщине с зелеными глазами.

— А вот я всё не могу забыть этот ваш невольничий рынок, — сказал он дрогману, еще понизив голос. — Неужели европейцы покупают там людей?

— Да, покупают, но я этим не занимаюсь, — ответил шепотом дрогман. — Есть *гиды,* которые на

этом наживают хорошие деньги. А я, извините меня, не могу по своим убеждениям. Я помогаю в какой угодно торговле, только не в торговле людьми.

«Этот болван верно решил, что я через него хочу купить рабыню!» — сердито подумал Константин Платонович.

— *Надеюсь*, что вы этим не занимаетесь, — сухо сказал он.

Одна из дверей зала отворилась, стали входить худые бледные дервиши в длинных зеленоватых одеяниях, в странных высоких закругленных сверху шапках. Они отвешивали низкий поклон у бараньей шкуры. Лейден смотрел на них с любопытством и не без сочувствия. Были и совсем молодые безусые люди, были и старики. Он обратил внимание на одного из них. «Вот этот седой со страшным лицом наверное Би-Шар, из тех, что много и по-разному пожили! замаливает грехи? Зачем же, если он Би-Шар?»

— Шейх! — прошептал дрогман. На баранью шкуру стал древний старик, в котором с первого взгляда можно было признать начальника. Он прочел молитву. Дервиши, скрестив на груди руки, повалились на пол, образовав точный круг, в котором их тела были радиусами, а шейх центром. В ту же секунду заиграл оркестр. «Теперь они сосредоточивают мысли», — шепнул гид.

«Сосредоточивают мысли на чем? — спросил себя Константин Платонович. — Едва ли эти люди, лежа на полу, да еще в присутствии неверных, могут сосредоточить мысли на чем-либо священном. Верно думают каждый о своих делах... Странная мелодия... Печальная, очень однообразная, но приятная... Какие это инструменты? Флейты, что ли? Странно: значит, какой-то философский балет? А я и до простого балета не охотник. Не так уж неправ был Цицерон: танцевать могут только пьяные или сумасшедшие»...

Дервиши поднялись, низко поклонились шейху, широко раздвинули руки и опять образовали правиль-

ный круг. Седой человек, которого Лейден признал Би-Шаром, закружился, то же сделали все другие. Поочередно все стали кружиться вокруг шейха. «Как планеты вокруг своей оси и вокруг солнца». Музыка играла всё быстрее. Так же ускорялась пляска. Лица у плясавших становились всё бледнее. Круг понемногу расстраивался, дервиши то приближались к шейху, то удалялись от него, то скрещивали руки, то простирали их вверх, вперед, в стороны. Шейх обводил их взглядом, изредка вскрикивал и всплескивал руками. «В этом, правда, есть нечто демоническое», — подумал Лейден. — «У меня и у самого начинает от них кружиться голова... У того старого на губах пена! Лицо без кровинки, он сейчас свалится!..»

Его мысли спутались. «Где же мое Константинопольское чудо? Если *то* восток, то *это* не восток. *Там* благодушие и почти животная радость жизни. Здесь... Здесь Би-Шаризм? Правда, в каком-то смысле это, быть может, совместимо, хотя и плохо... Но если во мне сидит Би-Шар, то отпадают и мои давешние добрые чувства, — с огорчением подумал он. — И в самом деле, вздор это, будто я могу вызвать в себе добрые чувства к врагам. Какие у меня могут быть добрые чувства, например, к людям Третьего Отделения: сколько ни вызывай, не вызовешь, они-то и есть главные Би-Шары, хотя прикидываются Ба-Шарами. И Петра Игнатьевича я тоже никак не полюблю: он крепостник, лгун и хам. А здоровое человеческое чувство именно в том, чтобы считать хама хамом... Но когда же я ошибался, вчера или сейчас?»..

Вдруг сзади блеснул свет. Дверь отворилась. Вошли два человека, они еще очевидно не приспособились к тишине галереи. Лейден оглянулся, услышав вместо полушепота обыкновенные голоса. Вошедшие говорили по-польски.

— Виер! Ян! — воскликнул он.

Тот из двух поляков, что был повыше ростом, уста-

вился на него в изумлении. По его лицу как будто скользнула досада. Так по крайней мере показалось на мгновенье Константину Платоновичу. На них оглядывались с разных концов галереи.

IV

> Ils parlèrent d'eux-mêmes, ce qui est toujours la plus agréable et la plus attachante des causeries *).
>
> Maupassant

Четвертью часа позднее они вдвоем сидели на террасе кофейной. Дрогман ушел, очень довольный тем, что не надо оставаться до конца церемонии: он ее видел сто раз. Ушел и второй поляк. Виер познакомил с ним Лейдена, но фамилии произнес невнятной скороговоркой. Константин Платонович крепко пожал руку нового знакомого. Как многие русские, чувствовал себя виноватым перед поляками. Товарищ Виера сказал по-польски что-то очень учтивое, затем пошептался с Виером и простился.

— Он не говорит по-русски, он *корониаш,* — сказал Виер.

Еще во дворе монастыря дервишей было сказано: — «Да быть не может!» — «Какими судьбами?..» — «Вы здесь!» — «Как ты оказался в Константинополе?..» — «А вы?..» Теперь они не знали, с чего начать разговор. Лейден заказал себе кофе, а Виер еще и *наргиле.*

— В Константиноле надо поступать, как турки, — сказал он, смеясь. Виер говорил по-русски совершенно свободно, почти без акцента. Это был довольно высокий красивый горбоносый брюнет, лет двадцати восьми, не очень похожий на поляка. Глаза у него были

---

*) Они говорили о себе. Это всегда самый приятный и увлекательный разговор.

большие, черные, очень серьезные. — Да, какая встреча! Вот не ожидал!

Он не сказал, что рад встрече. Этого Константин Платонович не заметил, но от него не ускользнуло выражение досады, проскользнувшее в первую минуту на лице молодого человека. «В чем дело? Чем же он может быть недоволен?»

— Так ты знаешь Константинополь?

— Да, немного знаю.

— Правда, необыкновенный город?

— Необыкновенный ли город? — сказал Виер. У него была привычка переспрашивать или отвечать вопросом на вопрос. — Да, в некоторых отношениях необыкновенный.

— По-моему, каждый город что-то воплощает. Наш Киев воплощает уютный покой, Петербург — барство, а Константинополь — радость и мудрость жизни, но какую-то фантастическую радость и фантастическую мудрость. Здесь чувствуешь, что жить надо иначе, совсем не так, как жил... Париж, верно, выражает действие.

— Действие, вытекающее из идей. Париж поэтому самый лучший город в мире... Да как же всё-таки вы сюда попали?

Константин Платонович рассказал о своих делах и планах. Виер слушал внимательно, но как будто больше из учтивости. И по мере того, как Константин Платонович рассказывал, ему становилось всё яснее, что рассказывать незачем.

— Ну, да это тебе не интересно.

— Напротив, очень интересно, как всё, что вас касается, — учтиво сказал Виер. — Так вы едете в Италию? Значит, вернетесь не скоро? Жаль. Я рассчитывал побыть с вами в Киеве. Как Ольга Ивановна? Лиля верно уже совсем большая? А Тятенька что?

— Ты едешь в Киев?

— Да, я буду и в Киеве.

— Но надеюсь, ты еще пробудешь в Константинополе? Давай завтра пообедаем вместе.

— К сожалению, никак не могу: я завтра утром уезжаю.

— Завтра утром? Да ведь и корабля никакого нет.

— Я еду сухим путем, хочу еще побывать в разных землях Турции.

— Экая досада! И никак нельзя отложить?

— К сожалению, нельзя. Быть может, мы еще увидимся в Киеве? Вы ведь говорите, что к весне вернетесь.

— Я надеюсь, что ты у нас остановишься? — Лейден подумал, что верно Ольга Ивановна будет не так рада этому приглашению и что в самом деле оно не очень удобно, если его самого в городе не будет.

— Спасибо, это очень мило с вашей стороны. Я во всяком случае к ним зайду. Я тоже путешествую по делам. Одна торговая фирма послала меня закупать в России разные товары.

— Почему же ты не поехал морем через Штетин? Это гораздо проще: теперь у вас в Европе уже почти везде и железные дороги.

— А так приятнее. Да я и в Турции должен кое-что приобрести для моей фирмы. Мы торгуем и табаком. Турецкий табак лучший на земле. Вы ведь курили?

— Курил и курю, даже слишком много, — сказал Лейден, всё больше чувствуя, что они придумывают темы для разговора. Лакей принес кофе и трубку.

— Молодцы турки, что выдумали эти трубки... Кажется у вас есть такая языколомка: «Турка курит трубку, курка клюет крупку», — сказал Виер, отлично выговорив эти слова. — Молодцы турки, — повторил он после первого недолгого молчания.

— Молодцы-то они молодцы, но вот что я вчера здесь видел. Я своими глазами видел, как мать продает дочь!

Он рассказал о рынке невольников.

— Разумеется, ужасно. Но у вас собственно то же самое, только продаются люди по купчим крепостям, — сказал Виер. Хотя Константин Платонович сам так думал, ему это замечание было неприятно.

— Ты говоришь «у вас». Помимо того, что ты российский гражданин, ты должен принять во внимание, что польские паны тоже имеют крепостных.

— Да, это правда. Правда и то, что в Европе польские паны крепостных не имеют. Что же касается невольницы, о которой вы говорите, то... Вы никогда не слышали о графине Софье Потоцкой?

— Нет. Кто это?

— Она была греческой невольницей в Константинополе. Ее здесь, может быть на том же самом рынке, продала ее мать. Купил ее наш посол Лясопольский, это было еще до третьего раздела Польши. И он ее не то продал, не то подарил графу Потоцкому. Она была необыкновенная красавица. После смерти графа на ней женился русский генерал Витт. Что ж, всё это та же власть денег, которую теперь справедливо осуждают передовые люди.

— Ты, может быть, сен-симонист или фурьерист? Я знаю, ты всегда сочувствовал всему этому...

— Сочувствовал ли? А как же не сочувствовать? Я знаю, что такое бедность. Однако я не фурьерист и не сен-симонист, а бланкист.

— Это еще что такое?

— Бланки французский революционер, один из самых замечательных и благородных людей во Франции. Впрочем, вы не интересуетесь политикой.

— Так ты в наши места, в Россию, совсем не вернешься? У нас легко найти работу, и я мог бы тебе...

— Я вернусь не в Россию, а в ту часть Польши, которую вы захватили, вернусь тогда, когда она освободится, — перебил его Виер.

— Я Польши не захватывал, и русский народ за это не отвечает.

— Нет, отвечает. Всякий народ отвечает за свое правительство. И не Бенкендорф, не Орлов, не Дуббельт, а Пушкин написал «Клеветникам России»!

— Случайная ошибка гения. «Но зачем же ты едешь в Россию при таких чувствах?» — хотел спросить Лейден и не спросил.

— Поговорите обо всем этом не с поляками, а с вашими же русскими казаками, с теми, которые живут в Турции.

— Я что-то о них не слышал. Что это за люди?

— Это так называемые казаки-некрасовцы. Они говорят на чистейшем русском языке и исповедуют православную веру, но русское правительство ненавидят. В пору войны 1812 года они желали победы французам, а Наполеона боготворили, хотя никогда его не видели.

— Они, что ж, турецкие подданные?

— Подданные султана и даже верноподанные. Турки к ним очень хорошо относятся. Турки и вообще оклеветанное племя. Нет народа терпимее, чем они. Они были терпимы еще в ту пору, когда на западе была инквизиция.

— Мне тоже очень нравятся турки, но всё же кто устраивал всевозможные погромы и резню?

— Резня у турок происходила реже, чем у западных народов. И резню обычно устраивали не они, а курды или янычары.

— Да янычары-то кто же были, если не турки?

— Среди янычар турок было мало. Янычары в большинстве были дети христиан, а то евреев, обращенные в мусульманскую веру. Турки их всегда ненавидели, да и султаны тоже. Но султаны их боялись: они ведь устраивали все перевороты, убивали султанов. И обычаи у них были соответственные. Когда янычары хотели поговорить с султаном, они поджигали один из кварталов Стамбула. По закону, падишах должен выезжать из сераля на большие пожары, вот тогда они с ним

объяснялись и добивались всего, что хотели. Ведь Магомет истребил янычар именно тем, что поднял на них турок. Когда они лет двадцать тому назад устроили одну из своих очередных штучек, султан велел поднять на серале знамя Пророка и призвал правоверных и регулярные войска. Турки рассвирепели и истребили всех янычар. Так они и закончили свое существование.

— Каюсь, мне такие нравы не очень нравятся.

— Что ж делать? Так, надеюсь, закончат существование и ваши собственные янычары.

— А ты расскажи подробнее об этих казаках.

— Это очень хорошее племя. Красивое, даровитое, терпимое. При них живут греки, армяне, евреи, и они к ним относятся прекрасно. Управлял ими 92-летний казак Солтан, мудрый был старец.

— Вот как? Ты, значит, был у них?

— Да, проездом. Кое-что и у них купил.

— И они опять мечтают о войне?

— О войне никто не мечтает. Война просто неизбежна. Никто не мечтает о том, чтобы вечером зашло солнце. Но оно вечером зайдет, а утром будет рассвет. Так и война. В отличие от вас, народы не вечно будут терпеть Николая!.. Впрочем, я напрасно разгорячился. Я прекрасно понимаю, что всё же такие русские, как вы, за Николая не отвечают. Если я что сказал не так, пожалуйста извините.

— Помилуй, за что же мне сердиться? Ты думаешь, я сам люблю Николая Павловича? Но, во-первых, плетью обуха не перешибешь...

— Смотря какой плетью!

— А во-вторых, это всё... Ну, как сказать? Это всё — земное.

— Конечно, земное. Каким же ему быть?

— Ненавижу войны и революции. Грязное, брат, дело.

— Война одно, революция другое.

— Нет, не обманывай себя: это одно и то же.

— Да и войны бывают осмысленные.

— Не бывает таких войн. В какой это войне три тяжело больных короля гонялись друг за другом на носилках? Помнится, это Карл V, Франциск I и Генрих VIII? Так их бы всех поместить рядышком в дом умалишенных. Им бы о душе было подумать, а они вот каким занимались делом!

— Чем же надо заниматься? Платанами?

— Уж много лучше платанами... Ты о смерти думаешь? — спросил Лейден. В последнее время он нередко задавал этот вопрос новым людям и приводил их в недоумение.

— Думаю ли о смерти? Этим делу не поможешь.

— Какому «делу»? В бессмертие души веришь?

— Ведь, кажется, теперь все сходятся в отрицании личного бессмертия.

— Я тебя спрашиваю не о «всех», а о тебе. Да и вовсе не все сходятся. Ты Платона читал? Хорошо, знаю, Платон это не «теперь», Сенека тоже нет, но Кант это уже «теперь».

— Впрочем, тут спорить не о чем. Всё равно человек по природе оптимист. Докажите ему как дважды два четыре, что вечной жизни нет, что жизнь есть юдоль слез и бедствий, а он всё-таки будет жить и наслаждаться жизнью, пока может.

— Именно, пока может. То есть, очень недолго. Впрочем, с тобой об этом разговор еще бесполезен, ты слишком молод. Но что же всё-таки вас, молодых, поддерживает? Неужели только инстинкт веселья и бодрости, как у котят?

— Инстинкт веселья? У меня его очень мало, — ответил сухо Виер. — Да что же притом делать? Нам никто не предлагает жить вечно.

— Кое-кто «предлагает», — ответил Лейден и поделился с ним мыслями о бессмертии. Упомянул и о философии дервишей, о которой только что узнал. — Ты во всё сие, конечно, не веришь?

— Не верю.

— Что же, повторяю, тебя поддерживает? Я хочу спросить: чем ты духовно живешь?

— Чем живу? — переспросил Виер с усмешкой. Тема разговора показалась ему слишком отвлеченной и несколько странной для первого разговора после долгой разлуки. «Какой-то экзамен! Да и что тут можно сказать нового?» — подумал он. — Меня всё-таки гораздо больше интересует жизнь, чем смерть. А жизнь это борьба за идеи. Да собственно и смерть тоже. По крайней мере, так должно было бы быть. Уж если вы спрашиваете, то жить надо... Не говорю «надо героически», потому что это звучит нескромно и чересчур торжественно. Но во всяком случае надо чему-то служить. Вот в том смысле, в каком Фридрих II говорит: «Ich dien'». Только этот деспот служил злу... Помните «Unsterblichkeit» Шиллера: «Vor dem Tod erschreckst du! Du wünschest, unsterblich zu leben? — Leb im Ganzen! Wenn du lange dahin bist, es bleibt».

— Знаю этот ответ! Утешение слабое, брат. Если бессмысленна каждая отдельная жизнь, то не разумнее и жизнь человечества в целом. Сумма нулей равна нулю... Ладно, оставим эту тему. А чему же, кстати, ты служишь? Польше? Ты, однако, по крови не совсем поляк.

— А вы по крови не совсем русский, — сказал Виер. Лицо его покрылось пятнами. Он пожалел, что заговорил о политике. Это было и не очень конспиративно. Лейден был честнейший человек, но настоящий конспиратор не должен был и хорошим людям из чужого лагеря открывать свои политические взгляды. — И я служу Польше постольку, поскольку она теперь представляет общечеловеческий идеал. Хорошо, а вы-то чем живете? Наверное, не «Wein, Weib und Gesang», хоть вот вы интересуетесь невольницей, — пошутил он.

— Какой вздор!

— Я знаю, что вздор. А то я не посмел бы так шутить с вами. Не думайте, что я забываюсь.

— О любви человеку моих лет и думать глупо. Женщины, брат, на меня давно и не смотрят, — сказал Константин Платонович. Он подумал, что ему не следовало бы вообще так говорить с человеком вдвое его моложе.

— Не смотрят? — переспросил Виер. — И на меня тоже не смотрят.

— Это, брат, врешь. На тебя верно заглядываются, и ты на них заглядываешься. А я теперь вроде как те дряхлые обезьяны, которым уже не под силу карабкаться на деревья; они ждут, вдруг с дерева что-либо им само свалится.

— Им обычно и сваливается, — ответил, смеясь, Виер, тоже несколько удивленный словами и тоном Лейдена. — Но я здесь слышал итальянскую поговорку: «Chi vuol fare sua rovina prende moglie Levantina», — «кто хочет себя погубить, пусть сойдется с левантинской женщиной»... А как же ваша милая жена и Лиля?

— Ничего, у них всё благополучно. Ты знаешь и по-итальянски?

— Немного. Читаю свободно.

— Я тоже... Так непременно заходи к ним в Киеве, — сказал Лейден, спрашивая себя, можно ли уже встать или надо посидеть еще минут десять. — А знаешь, брат, я ведь в ранней юности твоей оказал на тебя влияние. Ты тоже любишь копаться и в своей, и в чужой душе. Не обижайся, это так.

— Оказали влияние? За что же мне тут обижаться? — спросил Виер. Он подумал, что если уж кто на него оказал влияние, то Мицкевич, Шиллер, Бланки, а никак не этот мистически настроенный агроном, правда, очень порядочный человек, оказавший много услуг его матери.

— Обижаться незачем, я только констатирую

факт. А в общем, мой молодой друг, живи своим умом. По словам Тятеньки, Руставели сказал: «Выслушай советы ста мудрых людей, а затем следуй голосу собственного ума и сердца».

— У меня, к сожалению, нет ста мудрых советчиков. Я и живу своим умом просто, никого не спрашивая.

«Какой он стал вдобавок надменный!» — с неудовольствием подумал Лейден. — «Задатки были и тогда, когда он еще был совсем мальчишкой».

— Так, быть может, и надо. Но мудрые советчики тебе, по твоей юности, пригодились бы, — холодно сказал он. — Боюсь, наделаешь, брат, много глупостей.

— Увидим. Вот вы советуете мне жить своим умом и для этого совета ссылаетесь на авторитет: на Руставели.

— Одно скажу тебе, как старший: держись ты подальше от всех этих Бланки. Это может кончиться нехорошо.

Виер засмеялся.

— Действительно, может... Вы — на авторитет, так и я на авторитет, хотя и скверный. Тот же Фридрих кричал в бою своим бегущим солдатам: «Собаки, вы, что ж, хотите жить вечно?»

V

Ah! said Coningsby, I should like to be a great man *).

Disraeli

О происхождении Яна Виера ходил рассказ, который он сам слушал с легкой улыбкой.

Во время морских маневров, устроенных в Голландии в честь Петра Великого, царь обратил внимание на ловкого юнгу с очень красивым лицом семитического типа. Это был сын бедного португальского еврея Ману-

*) Ах! — сказал Конингсби, — я хотел бы быть великим человеком.

эля Виера или Дивиера или де Виера. У Петра была слабость ко всему экзотическому, ко всему необычному, ко всему свободному от вековой косности московского государства. Так, другой еврей, Шапиро, стал при нем первым русским бароном Шафировым и породнился с шестью семьями рюриковичей и гедиминовичей. Так, третьему еврею, д'Акоста, уж совсем ни в каком отношении не выдающемуся, царь пожаловал титул «самоедского короля», подарил остров в Финском заливе и вел с ним долгие беседы и философские споры, тоже впрочем вероятно шутовские. Так сделало удивительную карьеру при Петре немало других людей. Так, негритенок Ганнибал, — «Абрам Арап», как его называл Петр, «черный Абрам», как он называл себя сам, — кончил свою жизнь русским губернатором.

Юнга голландского судна тут же на маневрах был награжден талером и принят на русскую службу. Скоро он стал генерал-адъютантом и был назначен первым генерал-полицеймейстером созданного на берегах Невы *Парадиса.* Дивьер был ловок, энергичен, жесток, честен, не брал взяток, хорошо пил, имел веселый, жизнерадостный характер, — всё это нравилось Петру. После разных скандалов, царь заставил Меншикова, ставшего благодаря сходным качествам светлейшим князем и самой могущественной особой в государстве, выдать за Дивьера свою сестру. Московские рюриковичи ахали при вестях о таких карьерах. Для них и бывший нищий пирожник был не лучше генерал-полицеймейстера. Карьера Дивьера шла бурно, но этим в ту пору никого удивить было нельзя. Он бил людей, и его били люди. Он порол, и его пороли. Он пытал, и его пытали — впрочем, уже после смерти царя, который до конца был к нему милостив. Екатерина I пожаловала Дивьеру графский титул; а годом позднее новопожалованный граф, генерал и сенатор был вздернут на дыбу, бит кнутом и сослан в Сибирь, по проискам и к великой радости его злейшего врага и свойственника Меншикова. По-

водом же к столь жестокой каре было то, что Дивьер, — вероятно, в пьяном виде, — во дворце, в пору «прежестокого болезни пароксизмуса» императрицы, «вертел» ее племянницу Софью Карлусовну Скавронскую, «не отдал должного рабского респекта государыне цесаревне Анне Петровне» и, смеясь, «в своей продерзости говорил ее высочеству, сидя на той кровати: «О чем печалишься? выпей рюмку вина», а также «против государыни цесаревны Елизаветы Петровны не вставал и респекта не отдавал, и смеялся о некоторых персонах». Быть может, в самом деле прежестокий пароксизмус царицы не вызвал большого горя у Дивьера. В нем едва ли были очень сильны верноподданнические чувства вообще, а к этой царице в особенности. Возможно и то, что о некоторых персонах он действительно смеялся, так как, насколько можно судить по очень скудным сведениям о нем, характер у него был насмешливый и непочтительный.

Впрочем Дивьер не пропал и в Сибири. При Анне Иоанновне был определен там на службу, с жалованьем в триста рублей в год, да хлеба всякого по сту четвертей, да вина простого по сту ведер в год. А при Елизавете Петровне, которая, несмотря на его продерзость и на свой антисемитизм, была, по-видимому, к нему расположена, Дивьеру были возвращены титул, чины, именья и должность петербургского генерал-полицеймейстера. Умер он генерал-аншефом, быть может вспоминая голландские синагоги времен своего детства.

Этот жизнелюбивый красавец имел огромный успех у женщин. Обожавшая его жена была старше его и чрезвычайно некрасива. Ходили слухи, что, кроме законных детей, у него было немало незаконных. В старину незаконным детям знатных людей часто давались сокращенные фамилии их отцов, — так, например, внебрачные дети князей Оболенских становились Ленскими без титула. Возможно, что от одного из сыновей первого генерал-полицеймейстера и в самом деле произо-

шел Ян Виер. Другие, впрочем, говорили, в объяснение странной фамилии, что его предком был известный врач и путешественник Виер, тоже человек смешанной крови и неясного происхождения, автор книги о сифилисе «De morbo gallico». Мать его была полька. Она была очень бедна и Лейден, знавший ее с детских, лет, нередко дружески помогал ей, — она рано овдовела.

Учился Виер в польской школе и получил очень хорошее, но странное воспитание, в котором католическая вера смешивалась с национально-революционными взглядами. Учителя оценили его характер и способности и возлагали на него большие надежды, а один из них даже предсказывал ему великое будущее. Лет с шестнадцати он и сам стал мечтать о жизни, которая была бы непохожа на жизнь других людей. Как почти все поляки, как большинство очень молодых людей, он любил военное дело, бредил о том, как станет великим полководцем, как поведет польскую армию в бой за освобождение родины. Эти мечты кончались то принятием короны в Вавеле, то смертью на поле брани с историческим восклицанием вроде «Finis Poloniae». Позднее, когда он подрос, это прошло, он перестал заниматься фехтованием, перестал развивать в себе физическую силу и любоваться бицепсами перед зеркалом. По правдивости своего характера он критически относился к легендам. Иногда даже спрашивал себя, действительно ли Косцюшко, падая с лошади раненый, мог что-то воскликнуть по-латынии и неужели его восклицание поняли и запомнили взявшие его в плен казаки? О карьере полководца он перестал думать, но для Наполеона и у него в душе осталось особое место. Теперь он в нем видел, как и Мицкевич, лишь «человеческое воплощение идеи», — идеи великой революции.

После окончания средней школы мать отправила его, с легальным паспортом, учиться в Париж. Для этого было перезаложено ее небольшое имение. Новая свободная жизнь его пленила. Природная религиозность в

нем скоро ослабела. Виер в большие праздники бывал в Notre Dame, богослужение потрясало его красотой, но он потерял веру в некоторые догматы католической церкви, что тщательно скрывал от матери, — для нее это было бы страшным ударом. Он был принят в одну из масонских лож, однако и туда ходил редко; всё не мог понять, что это такое: если религия, то ее ритуал смешно и сравнивать с церковным, — настолько он хуже, беднее, прозаичней; если же это политическая организация, то зачем ритуал? Не нравилось ему и то, что масоны слишком хвалили друг друга, что, например, все речи, произносившиеся в ложах, обычно объявлялись глубокими, замечательными, необыкновенными, тогда как ему самому многие из них казались посредственными и скучными. Кроме того, масоны говорили о всеобщем братстве и равенстве, на деле же это не осуществлялось: среди них были бедняки и революционеры, но были также богатые люди, в политике державшиеся очень умеренных, а то и просто консервативных взглядов. В отличие от многих западных людей, Виер не думал, что убеждения сами по себе, а жизнь тоже сама по себе. Неравенство во всех его видах было ему противно.

Из революционных групп ему всего больше нравились самые крайние. Он съездил на Луару к Бланки. Несмотря на рекомендательные письма, глава революционеров, по своему обыкновению, заподозрил в нем было полицейского агента. Но уж очень не походил на шпиона этот молодой поляк с задумчивыми, часто останавливавшимися, глазами и с румянцем, бывающим у людей, обреченных чахотке. Бланки занялся им и стал выбивать у него из головы то, что казалось ему дурью. Когда услышал о «человеческом воплощении великой революции», только засмеялся своим горьким, неприятным смехом. Очень скоро Виер стал бланкистом; это слово уже пользовалось признанием.

В сущности ничего общего и с Бланки у него не было. Тот всё строил на ненависти; она характеру Ви-

ера была довольно чужда. По неопытности он думал, что возможны настоящие революционеры, руководящиеся чувством любви. Ему казалось, быть может ошибочно, что некоторые поляки его *своим* не считают: предок был португальский еврей, ставший русским графом (сам он не был уверен, что происходит от графа Дивьера), среди родных были православные малороссы. Он всё чаще, хоть не всегда, думал, что национальность большого значения не имеет, что в этом Бланки, быть может, прав. Тем не менее Россию и русских Виер не любил. Впрочем, делал и исключения. К Лейденам с ранних лет чувствовал расположение.

Он был одаренным человеком. Любил живопись и даже кое-что в ней понимал: столько, сколько в ней может понимать не-художник. Разумеется, романтиков предпочитал классикам. «Гамлет и могильщики», «Взятие Константинополя крестоносцами» потрясли его. Очень его волновала и музыка. Конечно, он и здесь следовал преобладающему мнению своего времени; Россини и Мейербера считал вершинами музыкального творчества, но один из первых в Париже оценил и Бетховена. Несмотря на свою бедность, не пропускал концертов Листа. Хорошо знал он и литературу. Байрона почитал больше на веру и из-за его биографии, — английский язык знал плохо. Ламартином и Гюго восхищался, но в общем французскую поэзию не очень любил; вначале не понимал, что во французских стихах главное не в ритме, и даже не в рифме, и уж, конечно, не в мысли. Был изумлен, когда француз-поэт сказал ему, что лучшие два стиха в мировой литературе это «On dit même qu'au trône une brique insolente — Veut placer Aricie et le sang de Pallante». И хотя немцев он любил неизмеримо меньше, чем французов, гораздо больше восторгался Гете и особенно Шиллером. Отдавал должное и Пушкину, которого, по слухам, высоко ставил Мицкевич. Гоголя и Бальзака недолюбливал. Мицкевича же по-настоящему боготворил и знал наизусть едва ли не

всё им написанное. Пробовал и сам писать стихи, но почувствовал, что это не его дело. «Любовь к искусству при отсутствии талантов скорее печальная черта. Может быть, с этим связан мой интерес к политике и даже моя революционность», — думал он иногда.

Незадолго до окончания университетского курса он получил известие, что мать его тяжело больна. Виер тотчас вернулся в Россию, но матери в живых уже не застал. Лейден, отечески к нему относившийся, устроил дело так, что Виеру досталось около пяти тысяч франков: Константин Платонович доложил из своих тайно, так как знал, что Ян, теперь уже почти взрослый, подарка не принял бы, особенно от русского. Виер снова легально выехал заграницу.

В Париже он стал жить бережливее прежнего. Решил никакой платной работы не искать и стать революционером. Революция именно в ту пору, впервые в истории, начинала становиться профессией; но оплачивалась эта профессия чрезвычайно скудно. Он жил в крошечной комнате на пятом этаже, поднимался по крутой лестнице с удовлетворением, — так и полагается, при бедности народных масс, жить порядочному человеку. Мясо ел не каждый день. Знакомый врач при нем весело говорил, что для борьбы с похотью нужно есть поменьше мяса, устриц и сельдерею, — «да гораздо умнее с похотью не бороться, поэтому ешьте, молодые друзья мои, всё что любите и что позволяет кошелек». Виер слушал, не улыбаясь; кошелек позволял ему немногое; он перестал есть и дешевый сельдерей.

Женщинам он нравился так же, как граф Дивьер, но пользовался этим неизмеримо меньше. Особенно нравились им его глаза. У него была привычки долго и пристально вглядываться в людей; тогда взгляд его казался холодным и тяжелым. Мужчин это раздражало: «Что это он изображает Николая I! Думает верно, что всех видит насквозь, а на самом деле ровно ничего не видит, всё от таких глаз отскакивает!» Женщины же

находили, что этот взгляд к нему необычайно идет. В ранней юности у него была долгая связь с крестьянкой; мать опасалась, что он на этой крестьянке женится. Были у него романы и в Париже, чаще платонические и всегда романтические. Приятели считали его холодным человеком. Это было ему неприятно. Впрочем, он думал, что таковы были и многие люди больших дел, как Робеспьер. «Говорят, и Бланки таков. Вдруг это в особенности характерно для революционеров? Их страстность уходит в революционную деятельность, в фанатизм?» Его в истории особенно интересовали люди, считавшиеся фанатиками. В жизни он их не встречал. В фанатики себя почти бессознательно и готовил. Жил аскетически не только потому, что был беден. Он вел философско-политический дневник, но имел и тетрадку расходов. Для гостей держал коньяк, но сам пил лишь редко. Вел суровую жизнь из гордости, а гордость у него усиливалась от суровой жизни: так не жил никто из его товарищей. Оттого, что многие считали его странным человеком, странность его усиливалась. Женщины защищали его от нападок друзей. Но и друзья считали его человеком исключительных душевных качеств. «На слово Яна я без колебания доверил бы честь, жену, всё что имею!» — сказал о нем приятель, любивший пышную речь. Другой впрочем пожал плечами и подумал, что денег у его собеседника нет, жена его безобразна, а честь вообще передоверить нльзя: что человек может сделать с чужой честью?

У одного видного польского эмигранта Виер случайно встретился с Андреем Товянским. Об этом человеке в польской эмиграции ходили таинственные рассказы. Говорили, что он как-то странно, мистическим образом, излечил от тяжкой болезни жену Мицкевича, или, по крайней мере, предсказал ее исцеление. Говорили также, что он имеет свой план нравственного переустройства мира, исходящий из слов святого Павла: ut omnes unum sint. Кое-кто считал его сумасшедшим.

В самой наружности Товянского, в его простых, величественных приемах обращения было нечто привлекательное и внушавшее уважение. То, что он проповедывал, очень легко могло вызывать насмешки. Но люди, оказывавшиеся в его обществе, над ним не смеялись, — даже тогда, когда он говорил, что в него вселилась душа Наполеона или что он иногда с Наполеоном беседует. Как и другой польский мистик, Гене-Вронский, он проповедовал идеи польско-еврейского мессианизма. Вронский, имевший в Париже «Bureau du Messianisme» и издававший «Bulletins Messianiques», утверждал, что у поляков есть «ожидание правды и надежда на добро», а у евреев «надежда на правду и ожидание добра». Товянский проповедовал идею трех исторических Израилей: еврейского, французского и польского. Настоящий смысл обоих утверждений понять было трудно (если вообще в них был смысл). Однако Товянский производил сильнейшее впечатление на самых разных людей, от бедняков до Ротшильда. Его страстный поклонник и последователь Мицкевич в годовщину разрушения Иерусалима являлся в парижскую синагогу и там произносил непонятные речи, к большому неудовольствию раввина, не понимавшего, почему и по какому праву католик хочет проповедывать в синагоге. Мицкевич, ссылаясь на Товянского, предсказывал, что скоро появится Мессия у обоих народов.

Предсказывал же вообще Товянский не очень удачно. В 1842 году он предсказал, что король Людовик-Филипп умрет до окончания года, и был за это выслан из Франции. После его отъезда в Париже было основано тайное общество, состоявшее из «семерок». Его делами зеведовало «Божье правление», в котором Товянский именовался Учителем, а Мицкевич Наместником. В одну из «семерок» попал и Виер. Но скоро он убедился в том, что делать обществу решительно нечего и перестал ходить на заседания. А затем прошел слух, будто Товянский стоит за сближение с Россией и хочет

написать письмо Николаю I. Это постепенно отдалило от него громадное большинство поляков. Западные же революционеры, особенно французы, недоумевали и прежде. Они почти все были неверующими людьми и только пожимали плечами, слушая рассказы своих польских товарищей о Товянском. — «C'est un mystique, quoi!» — говорили они, когда не говорили: «C'est un fou». Недоумевали и немцы, хотя прекрасно совмещали революционность с немецким национализмом. Но польские товянисты, не столько умом, сколько всем своим существом, были убеждены, что никакого противоречия у них нет.

Быть может, Товянский всё же не так заинтересовал бы Виера, если б не близость к этому мистику Адама Мицкевича.

Многие поляки — да и не только поляки — уже в ту пору справедливо считали Мицкевича великим поэтом. Но он был эмигрант, к нему ходили в гости, с ним пили чай в разных домах, иногда и сплетничали о нем, как обо всех других. Того культа, который после смерти великого писателя он может внушать никогда не видавшим его людям, вокруг Мицкевича быть не могло. Случалось и так, что его осыпали насмешками и даже грубой бранью. Он сам тоже не был в восторге от эмиграции. «Зарубежные газеты называют меня изменником... У нас те же глупости продолжаются, и ссор всё больше. Это стало хроническим явлением. Часто говорят о широкой амнистии. Думаю, что значительной части наименее скомпрометированных людей будет разрешено вернуться. Многие были бы почти готовы уехать в ад, лишь бы только вырваться из эмигрцаии... Французы вынуждены меня защищать от моих соотечественников, которые называют меня еретиком (благочестивые люди!), а также москалем», — говорил он в своих письмах.

Виер давно знал, что в эмиграции, которую он всё-таки любил, все друг друга ненавидят и друг над дру-

гом издеваются. Поэтому он ни малейшего значения сплетням не придавал. Тотчас после его приезда в Париж общие знакомые предложили ему познакомить его с Мицкевичем. Он отказался: вдруг при знакомстве разочаруется? Но, как влюбленный, ездил к дому поэта в Батиньоль и долго гулял по бульвару в надежде его увидеть. По случайности же увидел его в первый раз, совершенно неожиданно, в двух шагах от себя, в дешевеньком ресторане около польской библиотеки. Мицкевич что-то читал. К нему подошел лакей, поэт оторвался от книги, и Виеру показалось, будто в глазах у него было «неземное выражение». Заказал он бифштекс, прибавил что-то вроде «bien cuit, s'il vous plait». Виер был в восторге: он слышал голос автора «Дедов».

Впрочем, несмотря на насмешки над Мицкевичем, почти все польские партии старались привлечь его к себе. Он изредка бывал у князя Адама. Встречался и с врагами Чарторыйских, как будто был ближе к республиканцам, но вместе с тем боготворил Наполеона почти так же, как его самого боготворил Виер.

Опять по случайности, как раз тогда, когда деньги у Виера почти вышли, кто-то сообщил ему, что в Отеле Ламбер ищут энергичных людей, хорошо знающих русский язык и имеющих возможность легально проехать в Россию. Он удовлетворял этим условиям. Тем не менее колебался: позволяют ли ему его убеждения работать с польскими консерваторами, да еще получая от них деньги?

В Париже на углу quia d'Anjou и rue Saint-Louis-en L'Ile, стоит великолепный дом, с давних пор, по имени первого владельца, называющийся Hôtel Lambert. Построил его в семнадцатом веке для важного чиновника знаменитый архитектор Луи Лево. Над украшением дома немало поработали лучшие художники и ваятели, жили в нем в разное время разные богатые люди, аристократы или откупщики; иные его украшали, другие

портили, почти все переделывали и перестраивали. Жил в нем Вольтер, бывал в нем Наполеон. Бальзак упоминает об этом доме, как об одном из чудес Парижа. В 1840 году купил Hôtel Lambert и поселился там старый князь Адам Чарторыйский, человек с большим прошлым и в польской, и в русской, и даже в западно-европейской истории, когда-то министр иностранных дел Александра I, давний кандидат на польский престол, находившийся по эмигрантскому положению уже не у дел, не всеми признанный, многим ненавистный, глава польской эмиграции в мире.

Как и другие эмиграции в истории, польская эмиграция делилась на направления, партии, фракции. Все они сходились в ненависти к правительству Николая I и к России. Все были убеждены, что между Россией и западным миром неизбежна война. Но демократическая часть эмиграции возлагала большие надежды на восстания в западных странах. Аристократы же, вождями которых были князь Чарторыйский и его племянник граф Замойский, чрезвычайно боялись всех народных восстаний и надеялись на существовавшие монархические правительства, больше всего на французское и английское, порою на австрийское, прусское и даже турецкое. Расхождения были очень острые. Тем не менее в гостиных Отеля Ламбер, с расписанными Лебреном потолками, а летом в небольшом, выстланном косыми плитками дворе, из которого за двумя колоннами вела вправо и влево прекрасная старая двойная лестница, постоянно бывали и поляки другого лагеря, часто очень не любившие князя. По сторонам двора тяжелые двери открывались в помещение нижнего этажа. Там бесплатно учила польских детей княгиня Анна Чарторыйская. Она же помогала наиболее бедным из эмигрантов, кому явно, кому тайком, старалась мирить тех, кто был в ссоре, выслушивала просьбы, жалобы, даже попреки ее богатством. Ее муж был теперь далеко не так богат,

как прежде: его русские имения были конфискованы после войны 1830-31 года.

Как обычно бывает в эмиграции, у каждого течения был один человек с большим именем и много людей, за это имя иногда с ненавистью цеплявшихся. Но польские эмигранты понимали, что у иностранцев все их имена выветрились или выветриваются из памяти. Иностранные министры еще считались, да и то с каждым годом все меньше, лишь с князем Чарторыйским. После смерти Талейрана он был едва ли не старейшим дипломатом Европы; даже многие русские послы в свое время были его подчиненными. К демократам он старался относиться хорошо. Некоторые из них считали возможным поступать к нему на службу, когда дело было общенациональное. Князь Адам нередко рассылал эмиссаров в разные страны. Люди с его поручениями ездили в Польшу, в Россию, в Турцию и даже на Кавказ, к Шамилю. Поручения бывали разные и все строились на уверенности в неизбежности европейской войны.

Престарелый князь умел быть очарователен, когда хотел, и любил обольщать польских революционеров. Виер был ему представлен. Говорилось о возможности совместной работы: политические расхождения не должны мешать польским патриотам действовать заодно, по крайней мере в особых случаях. Как ни скромен был Виер, ему не могло не польстить то, что князь Адам разговаривал с ним как с равным. «Хотя говорил он со мной всё-таки немного и так, как, например, король ласково разговаривает с бедными детьми, которых угощает в своем дворце», — с улыбкой думал Виер.

Поездка по Европе в качестве тайного эмиссара увлекла его своим романтизмом. Было и другое. Он был влюблен в польскую барышню, жившую недалеко от Киева. Ее отец, небедный и небогатый помещик, знал его с детских лет, относился к нему хорошо, но едва ли хотел бы выдать за него свою дочь. Виер был уж слиш-

ком беден, незнатен, не занимал в обществе никакого положения и даже не имел профессии: ремесло революционера, вероятно, повергло бы помещика в полное изумление, если не в ужас.

В Отеле Ламбер желали, чтобы вновь принятый на службу эмиссар после Турции побывал в Киеве и Петербурге: надо было узнать настроение украинского и русского населения: как оно относится к возможности войны, и есть ли надежда на восстание? Виер принял поручение, выговорив себе право после его исполнения расстаться с их организацией. — «Разумеется. Это право остается и за вами, и за нами», — сказал ему с легкой усмешкой Замойский, вообще менее любезный с революционерами, чем его дядя.

Осенью 1847 года Виер и отправился в Турцию с поручением к казакам-некрасовцам. В этом году ездил в Константинополь и сам Замойский, но он путешествовал открыто, почти официально. Агенты же, выполнявшие тайные поручения, особенно отправлявшиеся затем в Россию, должны были, разумеется, соблюдать конспирацию. Поэтому случайная встреча с Лейденом и была неприятна Виеру.

Конспирация была плохая, но и Третье Отделение работало не лучше. Путешествовавший по торговому делу русский подданный Виер проехал в Киев совершенно беспрепятственно, не должен был скрываться и никакой опасности не подвергался. Если б это было не так, он не посетил бы Лейденов.

Ему впрочем и не очень хотелось встречаться с русскими друзьями. Как раз перед отъездом из Парижа он прочел о разных новых делах Николая Павловича. Приказывал царь, но исполняли, на всех ступенях, от министров до городовых, бесчисленные русские люди. «Нет, прав Кюстин, нехороший народ, все они в душе рабы!» — думал Виер, несмотря на свои убеждения, которые в ту пору еще не назывались интернационалистическими.

VI

> Седина женатому почетна, холостому досадлива. А то и ни сединочки нет, да весь плешив.
>
> Народная мудрость

Пароход отходил на следующий день. Лейден простился с дрогманом и дал ему лишний золотой. Тот рассыпался в словах благодарности и цветисто говорил о великой северной стране, о благородных людях, относящихся и к бедному дрогману, как к равному человеческому существу. Предложил даже помочь в укладывании вещей, хотя это было несовместимо с достоинством, которое он так тщательно оберегал. Лейден от его услуг отказался, сам уложил вещи и действительно уложил очень плохо, еще хуже, чем предвидела жена. Он ничего, кроме трех книг, в Константинополе не купил, но еле стянул ремни на главном чемодане; да еще сбоку из под кожи высовывалось что-то белое.

Константин Платонович погулял по городу. Несмотря на то, что он уже начал здесь скучать, уезжать было нелегко: придется ли когда-либо всё это увидеть снова? С тягостным чувством вспоминал и о вчерашнем разговоре с Виером. Впрочем, ничего особенно неприятного сказано не было; они обнялись на прощанье и выразили надежду, что скоро встретятся в Киеве. «Вот, он и ее сын, и вроде моего воспитанника, а оказалось, совершенно чужой человек, не о чем было разговаривать. Да, большая преграда национальность, и дружеские чувства не выдерживают долгой разлуки».

В ресторане лакей уже сам, без его заказа, принес ему рюмку дузики и бутылку тенедоса, приветливо улыбался и говорил о погоде. Даже это вызвало огорчение у Константина Платоновича: никогда больше в жизни не увидит этого лакея. После жаркого он от грусти и из любознательности спросил, есть ли у них хо-

рошее белое вино. Лакей закивал головой и принес бутылку исмита. Расплачиваясь, Лейден сообщил, что завтра уезжает. — «Ах, как жалко! Счастливого пути, мосье», — сказал лакей и выразил надежду, что мосье приедет опять. «Едва ли», — подумал Константин Платонович. У дверей оглянулся, обвел ресторан взглядом и удивился своей сентиментальности. На улице он почувствовал, что гулять не в состоянии. Нанял извозчика по часам и кое-как объяснил, что хочет совершить прогулку по городу.

Теперь Константин Платонович уже всё в Константинополе знал и почти не смотрел на дворцы и мечети. Он думал о философии дервишей. Ему всё больше казалось, что в их идее круга и особенно в делении людей на Ба-Шаров и Би-Шаров есть нечто очень глубокое и важное. «Что ж делать, каждому свое. Я, очевидно, рожден Ба-Шаром и никакой другой жизни в этом мире знать не буду. А дальше по радиусу подойду к центру: там вечная загадка разъяснится... Прожил с плясками, но без воя. А может, надо было с воем? Да и плясок было мало, а в этом мире люди живут только раз», — нерешительно говорил он себе. Думал также о том, сколько ушло у него денег и не следовало ли бы купить несколько рубашек, а то к Флоренции останутся только грязные. «Не войдут в чемодан, и опять перекладывать не хочется. Куплю в Италии и обзаведусь еще чемоданом. Там верно и дешевле»... Константин Павлович с досадой замечал, что у него всегда мысли о важном и значительном смешиваются с самыми пустыми соображениями.

Вино на южном солнце выделялось из пор как будто быстрее, чем в России, но Лейден всё-таки был не совсем трезв. На улицах было то же столпотворение. Он печально поглядывал на толпу, теперь особенно чужую. Вдруг он заметил, что они выезжают на площадь, на которой находился рынок невольников.

Почему-то это его взволновало. «Довольно катался, теперь погуляю, полезно пройтись». Он остановил извозчика, расплатился, подождал, пока извозчик отъедет, и только тогда вышел на площадь. Еще издали увидел что зеленоглазая невольница сидит на прежнем месте и разговаривает со своей матерью.

На площади по-прежнему бегали худые собаки, ворковали голуби, звучали инструменты. «Никакой нет причины подходить к ним, иди прочь, старый дурак!» — сказал себе Лейден. Обе женщины тотчас его узнали. Невольница с радостной улыбкой кивнула ему головой. «Теперь тем паче надо бы уйти!» — подумал он и подошел к ним.

— Добрый день. Как вы поживаете? — сказала мать на ломаном французском языке.

— Я хорошо, а как вы? — ответил он и почувствовал, что его слова глупы. Вдруг дочь с улыбкой обратилась к нему по-русски:

— А я знаю, кто ты, господине. Ты русский.

— А ты кто? — изумленно спросил он. — Ты не русская.

— Я не русская. Я из Эноса, — ответила она. — Там живут казаки, бывшие ваши, а таперича турецкие. А я у них по вашему выучилась.

— Что же ты у них делала?

— В баштанах работала, огурцы солила. Казаки по бумаге с турком не имеют право работать землю. А они нанимают нас или евреек. Мы у них все делаем.

— И хорошо у них жить?

— Там дыни, — сказала она. — Ах, какие дыни! Лучше здешних.

— Ну, так что же?

— А меня там старики не любили.

— Какие старики?

Она подняла брови, точно удивлялась его невежеству. Удивленный вид очень к ней шел: ее зеленые глаза становились еще лучше. «Черты лица у нее не очень

правильные. Нос вздернутый, глаза слишком широко расставлены. Но мила необыкновенно».

— Дай мне золотой, — сказала она. — Вот спасибо. А у казаков кому пятьдесят лет, тот старик. Как здесь паша... Нет, не паша, а меньше. А ты еще не старик, господине, — польстила ему она. — Казаки старикам говорят вы. А я тебе говорю ты, значит люблю тебя. Ты не молодой. Это что ж, ничаво.

— Скоро и я буду стариком. За что ж казаки тебя не взлюбили?

— А так. — Она засмеялась. — А что мне у них делать? До смерти солить огурцы? А я красивая.

Мать слушала их разговор с недоверчивым видом, но, по-видимому, не понимала ни слова. Она нагнулась к дочери и что-то ей сказала вполголоса.

— Что она говорит?

— А она говорит, чтобы ты меня купил.

— Купил! Зачем я тебя куплю?

— Ты знаешь, зачем, — ответила она и засмеялась опять. — А я недорогая, господине.

Она назвала свою цену, действительно не очень высокую. В России ревизская душа стоила дороже даже если душа была простой девкой.

В кухмистерской они пили водку и вино. «Что же это я сделал? С ума сошел!» — растерянно думал Константин Платонович. — «Ну, понятно, я ее тотчас отпущу на волю, так что это доброе дело... Видно нашло затмение в этом зачарованном городе, вот и еще чудо Константинополя! Никогда в России крепостных не имел, так обзавелся на старости лет турецкой рабыней!»

Но как он себя ни ругал, чувствовал, что давно не был так весел. «Чего же ждать? Сначала допьем бутылку. Мне нынче нечего делать, а ей верно и деться некуда. Что я с ней буду делать?» — спрашивал себя он, глядя на нее. По-видимому, она отлично знала, что он будет с ней делать. «Голос, право, что у Каталани. Толь-

ко глаза наглые. Добрые и наглые, это бывает». Скоро она перешла на французский язык. На нем говорила гораздо лучше. К некоторому его недоумению, она на вопросы отвечала невпопад, точно не понимала. Ее слова казались бессвязными. Впоследствии он убедился, что это было не совсем так: она только отвечала не сразу; часто впрочем и совсем не отвечала.

— Где же ты научилась по-французски? — спросил он по-русски. Его веселила ее русская речь. Она иногда вставляла старинные или простонародные слова и выражения, очевидно сохранившиеся точно в ее звуковой памяти; выходило странно и забавно.

— Вон тот старик такой богатый! — сказала она с восторгом, показывая на человека, сидевшего в углу за чашкой кофе. — Он в феске, но еврей. Я хотела, чтобы он меня купил, да он не купил. Значит, старый.

— А тебе всё равно, кто тебя купит?

Она улыбнулась.

— Дай мне два золотых. Я люблю, кто щедрый. Вот, спасибо.

— Так ты меня любишь?

— А здесь все говорят по-французски. А я к языкам очень способная. Я хочу в Париж. Возьми меня в Париж. Я тебя люблю.

— Да я туда и не еду. И никуда я тебя не возьму. Я верну тебя твоей матери.

Она весело засмеялась.

— А какая она моя матерь? Я с ней встретила в прошлом году. А ты глупый, всему веришь. Вот я умная. И ты переплатил. Она увидела, что с тебя можно взять много грошей.

Почему-то это ее сообщение было ему приятно. Он впрочем и раньше догадался, что старуха не мать ее: сходства между ними не было никакого, и ушла старуха, еле простившись с «дочерью»: только кивнула головой, оскалив зубы и как бы поздравляя обоих.

«Понимаю: если дочь продают родители, то у покупателя больше доверия», — подумал он.

— Кто же твои родители?

— Матерь моя была маркитанка. Служила у паши. А потом у грека была. Он строил... Как это называется? Арсенал. Потом балакали, что он был шпион.

— Как шпион?

— А так. У инглезов был один важный князь в Миссолонги, он за греков воевал.

— В Миссолонги? Байрон, что ли?

— Может, и Байран. А грек за ним был шпион, если не врали люди. Может он был мой батюшка, а может и не он. Может был турок или сербин или болгар. А я знаю? Это что ж, ничаво.

— «Это что ж, ничаво», — передразнил ее он. Она засмеялась и опять он подумал, что никогда такого голоса и смеха не слышал.

— А ты кто, господине? Ты барин?

— Нет, не барин.

— Ты врешь, — сказала она. — А я вижу, что у тебя много грошей. Я всегда знаю, у кого много грошей. Тогда человек ходит, как паша! Ты богатый, а говоришь, что бедный. Так многие делают. А другие бедные, а говорят, что богатые.

— Да не всё ли тебе равно?

— Как же всё равно? Это не все равно, кто богатый, а кто бедный! А ты женатый?

— Да, я женат.

Она вздохнула.

— Я люблю тебя. А ты меня любишь? Дай, я тебе погадаю, — сказала она и взяла его за руку.

— Ты умеешь гадать?

— Умею, но еще не добре умею. Буду учиться, а здесь плохо учат. А я в Париж перееду и стану добрая гадалка. — Она опять перешла на французский язык. — Гадать я умею по-французски. Вот видишь, это линия жизни. Ах, какая у тебя длинная! Ты будешь жить

сто лет! Болеть будешь, но будешь жить как казак Солтан. А вот этот бугорок у тебя маленький. Это бугорок мудрости. Значит, ты глупый, — удовлетворенно сказала она.

— Спасибо. А если я за дерзость накажу тебя? — пошутил он. — Ты моя раба.

Она засмеялась еще более звонко. На нее ласково оглянулись мужчины с разных сторон кухмистерской.

— Видишь, ты глупый, — сказала она, снова по-русски, чтобы не поняли соседи. — Ты всё веришь. А какая я твоя раба? Я свободная и всегда была свободная. Это старуха всё выдумала. И хорошо выдумала, так платят больше, особенно инглезы. Жалко, что ты не инглез: они богатые. Ты будешь мне давать много грошей? А сколько?

— Как же вы не боитесь так обманывать иностранцев? Ведь я могу пожаловаться полиции, — сказал он с досадой.

— Поедем в Париж. Все инглезы едут в Париж. А никто никогда не жалуется: стыдно будет и что хотел купить, и что надули. А почему ты сердитый? Я не раба, но все равно, что раба, только давай мне много грошей, — сказала она. Язык у нее уже немного заплетался от вина, как впрочем и у него. — А твоя жена здесь?

— Нет, она осталась в России... Ну, что ж, можешь идти на все четыре стороны, — сказал он. При мысли об Ольге Ивановне ему вдруг стало стыдно. Блондинка удивленно на него взглянула.

— Как идти? На четыре стороны? На какие четыре стороны? Почему?

— Потому что я Ба-Шар, а не Би-Шар!

— Что ты говоришь? Не понимаю. А куда я теперь пойду?

— Это твое дело! К твоей дорогой маменьке.

— А зачем ты меня купил? Нет, я не пойду на четыре стороны. Не хочешь теперь дать гроши, я подож-

ду. У меня есть, она мне платила мою часть... А только мало, — добавила она, спохватившись. — А где ты живешь?

Немного поколебавшись, он сообщил свой адрес. Она одобрительно кивнула головой. Знала эти меблированные комнаты и их владельца.

— В Париже гадалкам добре, — сказала она. — А он добрый человек. Богатый. У него мы можем жить два: ты и я. У него можно. Он много полиции дает.

«Прожил до седых волос, не зная, что я Би-Шар, прикидывающийся Ба-Шаром или почти Ба-Шаром!» — думал он всё более растерянно. И, к его изумлению, эта, как будто покаянная, мысль наполняла его душу радостью. «Она предлагает, чтобы я отвел ее к себе! Но ведь выйдет скандал, это может стать известным! Как же это станет известным?.. Или разве на одну ночь? Ведь я уезжаю... А то вернуть билет? Переменить?.. Что же ей ответить?» — спрашивал он себя и смутно чувствовал, что вопрос уже решен, что он всё равно побывал бы на рынке, если б его туда не привез случайно извозчик.

— Нет, ты уходи куда знаешь. Ты совершенно свободна.

Она насмешливо смотрела на него.

— А я не кончила гадать, — сказала она и опять взяла его левую руку. — Ах, будет у тебя беда!.. В твоей комнате две кровати? Одна? Это хорошо. Я никогда не храпею... Беда тебе от одной женщины! Но ты не бойся, она уже старая. И у нее есть один молодой, — говорила она, внимательно на него глядя. — У тебя большая комната?

— Большая.

— А кровать широкая?

— Широкая.

— Я не люблю когда узкая. А я чистая... И блох у меня нет. Дай мне золотой за гаданье, — сказала она. — Вот спасибо.

VII

> Перикл был так влюблен в Аспазию, что целовал ее два раза в день, уходя от нее и возвращаясь к ней.
>
> Антисифен

Жизнь в Верховне была привольная, мешали мало, неизмеримо меньше чем в Париже. Но только теперь Бальзак почувствовал, как устал: от забот, от болезней, от каторжного труда, быть может вообще от жизни, несмотря на свою жадную любовь к ней.

К графине приезжали соседи, чтобы познакомиться со знаменитым человеком; официально всё было в порядке: он приехал погостить к друзьям. Бальзак до пяти часов дня работал в своем помещении, куда ему приносили завтрак, а в пять всегда спускался в гостиные. Понимал, что *обязан* говорить: люди приезжали, чтобы его послушать. Однако особенно для них не старался: это было не то, что разговаривать с Гюго, Гейне, Ламартином. Ему очень нравились необыкновенно учтивые и жизнерадостные, умевшие жить, польские помещики. Внимательно приглядывался и к ним. Бальзака особенно интересовали французы, но неинтересных людей для него вообще, вероятно, не существовало.

В первые дни он разрабатывал и свой план продажи леса во Францию. У графа Мнишека как раз были леса недалеко от австрийской границы. Бальзак писал письма, наводил справки, спрашивал о мостах на Эльбе и на Рейне. По начальному расчету, на деле можно было нажить миллион двести тысяч франков. Потом прибыль сократилась: четыреста двадцать тысяч. Наконец, выясниллсь, что будет большой убыток и что вообще дело неосуществимо. Он был очень огорчен: уже снова, в сотый раз, считал себя богачем.

Он переделывал старые произведения, обдумывал новые. Теперь это давалось не так легко, как прежде.

Быть может, стал строже к тому, что писал; быть может, ослабел интерес к творчеству, — будет еще несколько новых книг, не достаточно ли и старых? По вечерам гулял с хозяевами в парке, слушал музыку, писал письма (в Париже он в пору работы обычно ни на какие письма не отвечал). Описывал свою жизнь и многое выдумывал даже в письмах к близким людям. В литературе он — не всегда, правда, удачно — старался изображать правду. В жизни часто бывало обратное. Друзья Бальзака думали, что относительно своих интимных дел он нарочно вводит людей в заблуждение. Так, очень часто изображал себя аскетом и проповедывал целомудрие. Одни просто ему не верили, другие уверяли, что он потерял мужские способности, третьи предполагали, что Бальзак такие сведения о себе предназначает для своих прежних любовниц, — пусть каждая думает, что он по-прежнему любит ее. Когда оставался наедине с Ганской, он изображал страстную влюбленность. В общем хорошо изображал, но иногда в его глазах вдруг проскальзывало бешенство. Он и ее видел насквозь.

Визу он получил только до конца года, и в ноябре выехал в Киев просить об ее продлении. После книги Кюстина русское правительство относилось к фарнцузским литераторам враждебно. Кюстин был маркиз, его отец и дед погибли на эшафоте в пору революции, высшее общество Петербурга встретило его необыкновенно радушно, его ласково принимал сам царь, — и уж если так подвел этот, то чего можно было ждать от других! В Петербурге, в другой приезд Бальзака, Николай I не выразил желания его принять. В Киеве власти отнеслись к французскому путешественнику любезно, хотя незаметное наблюдение за ним установили. Ведавший этим чиновник был, надо думать, знатоком человеческой души и, в частности, хорошо знал писательскую натуру. Несмотря на весь свой ум, Бальзак поверил тому, что ему рассказывали. Он писал сестре, что один киевский богатый мужик (un riche mojic) читал все его книги,

молится о нем в церкви каждое воскресенье и готов заплатить деньги, чтобы посмотреть на него.

Киев ему понравился. «Я видел Северный Рим», — писал он, — «этот татарский город с тремя стами церквей, видел богатства Лавры (La Laurat), св. Софии степей. На это хорошо взглянуть. Меня осыпали любезностями».

Визу ему продлили. Но погода была холодная; лисья шуба, заказанная у крепостного портного Ганской, еще не была готова. Кроме того холера всё же не кончилась; ему кто-то сказал и о какой-то «молдавской лихорадке». Бальзак приобрел для гнездышка литографические виды города и вернулся в имение.

Его симпатии к России были неизменны и даже росли. Политические же его взгляды менялись беспрестанно. Он то писал, что русскому крепостному живется лучше, чем громадному большинству французов, то говорил о варварстве, которое замечал в Верховне. В отношении графини к нему продолжались, как он говорил, разные «если», «но», «ибо», «да» и «нет». Он видел, что ответа дождется не скоро.

VIII

> L'amour aime à la première vue une physionomie qui indique à la fois dans un homme quelque chose à respecter et à plaindre *).
>
> Stendhal

Ольга Ивановна лишь в первую минуту была не совсем довольна тем, что свалился этот молодой поляк, которого она знала давно, но не близко. Константин Платонович неохотно говорил ей об его матери. По словам

*) Любовь возникает при первом же взгляде на лицо, которое выражает одновременно в человеке нечто заслуживающее уважения и нечто вызывающее жалость.

Тятеньки, Ян Виер был воспитанником Лейдена. Теперь он привез Ольге Ивановне записку от мужа, передал от него привет, сказал, что Константин Платонович был бодр и здоров, — этого было, и независимо от киевского гостеприимства, совершенно достаточно для ласкового приема. Ольга Ивановна заставила его остановиться у них, хотя он долго отказывался.

В доме была комната для гостей, но она находилась в *вертикальном* крыле дома, недалеко от комнаты Лили. А так как гость был молодой и красивый человек, то Ольга Ивановна из приличия сочла более удобным отвести ему кабинет. Там был широкий мягкий диван. Белья и подушек в доме было сколько угодно; постельное и столовое белье было слабостью хозяйки, и она каждый год докупала еще, то на Контрактах, то у *крамарей,* то в лучшем киевском магазине, выписывавшем полотно прямо из Голландии. И по мере того, как она устраивала гостя, ее расположение к нему усиливалось, — точно он был родным. Ей когда-то страстно хотелось иметь сына. Константин Платонович к этому был равнодушен и рождению Лили тоже не слишком обрадовался, хоть позднее очень ее полюбил.

Лиле сразу понравился красивый молодой гость: она его почти не помнила. Это был первый парижанин, которого она увидела в жизни. Правда, не совсем настоящий, — родился в Киевской губернии, — но всё-таки парижанин. — «Какой красавчик! Смотри, Лилька, не влюбись», — сказала ей подруга. — «Сама влюбляйся, мне не до того», — ответила Лиля; едва ли могла бы объяснить, до *чего* ей. Слова подруги впервые подали ей мысль: «Неужто coup de foudre!» Она называла его «мосье Ян» и не решалась говорить с ним по-французски: так хорошо он владел этим языком. «Вдруг наделаю ошибок? Или скажу что-нибудь не по-парижски?» Услышав, что он во французских фразах не картавит, почти перестала картавить и она. Тятенька ей сказал, что Виер, по слухам, потомок графа Дивьера,

любимца Петра Великого. Это тоже произвело на нее впечатление.

— Он католик, Тятенька?

— Заядлый. Но верно и франк-масон.

— Что такое франк-масон? Это те, что собирались там над Днепром?

— Те самые. Глупый, Лилька, народ.

— А почему же он не граф?

— Потому, что по линии незаконных. Да тебе это рано знать. Вот возьму и поставлю в угол, если будешь много спрашивать.

Из-за приезда гостя, теперь к обеду всегда бывало несколько приглашенных. Обе хозяйки требовали, чтобы Виер завтракал и обедал у них каждый день. Он вежливо и твердо это отклонил, хотя денег у него было мало. Но обедал у них часто и почти всегда приносил цветы или пирог. Ольга Ивановна мягко ему говорила то, что в таких случаях говорят гостям:

— Ну, что это? Ну, зачем это? Опять цветы! А уж Лиленьке вы совсем напрасно купили букет. Она еще маленькая.

— Мама, какая я маленькая!

— Елизавета Константиновна совсем взрослая барышня, — с улыбкой говорил Виер.

С другими приглашенными он всегда бывал очень вежлив и любезен, говорил — очень осторожно — о политике и старался узнать их мнение. Иногда он уезжал дня на два или на три: объяснял, что ездит по торговым делам своей фирмы. Это объяснение Лиле не нравилось. Из их знакомых большинство были профессора нового университета, студенты, врачи, а то «по» или «при» (так назывались чиновники, служившие *по* канцелярии или *при* генерал-губернаторе). Были, правда, и люди занимавшиеся торговлей, как Тятенька, и тут никто ничего предосудительного не видел. Но *мосье Яну* этим заниматься не подобало.

Тятенька выразил сомнение в том, что Виер приехал по торговым делам:

— Будто уж ваш Ян торговец! Разве такие бывают торговцы! Естьли он приехал по торговым делам, то он перво-на-перво посоветовался бы со мной. Я, слава Богу, тут всё знаю. Я даже предложил ему помочь связями, а он только, проше пана, поблагодарил и ни о чем не спрашивал.

— Если бы он приехал не по торговым делам, то зачем же он стал бы сказывать, что приехал по торговым делам? — с недоумением спросила Ольга Ивановна, никогда не понимавшая, зачем люди лгут.

— Вероподобно, политика, — ответил Тятенька таинственным тоном. Ольга Ивановна несколько изменилась в лице.

— Избави Бог! Вы думаете, что это поляки?..

— Всё может быть, — сказал Тятенька, довольный эффектом своих слов.

— Да что вы подозреваете? Почему вы так думаете? Что вы знаете?

— Знать я, положим, ничего досконально не знаю. Но иностранные ведомости пишут, что поляки только о том и думают, как воевать Россию. Может, он их эмиссар, их теперь видимо-невидимо.

— Да как же так? Ведь он тогда и нас подвел бы! Хорошо отплатил бы за гостеприимство! Это похуже, чем Кирилло-Мефодиевское Общество!

— Душа моя, я ничего не говорю. А вас подвести он никак не может. Естьли бы что и было, так ничего тут нет странного, что он у вас живет. Костя знал его мать с детства, друг был. Кажется, был в нее когда-то влюблен, — подразнил Тятенька Ольгу Ивановну. — А к его делам вы никак отношения иметь не могли. Костю в Киеве, слава Богу, знают, и уж какие там вы с Лилькой польские революционерки! Так вы и скажете, ежели спросят. У нас ведь всё-таки не Турция. Естьли так

рассуждать, то со всеми поляками надо было бы раззнакомиться, а они бывают и у Безрукого. Только, избави Бог, ничего не пишите о моих словах Косте. На границе еще могут прочесть в *черном кабинете.*

— Я не ребенок, — сказала Ольга Ивановна, успокоенная словами о генерал-губернаторе. — И никто наших писем не читает, да верно и никакого «черного кабинета» нет.

Провожая в этот вечер Тятеньку в переднюю, Лиля его спросила, что такое эмиссар. Тятенька засмеялся и объяснил.

— Воевать нас хотят поляки. На то и зовут французов, англичан, турок, шлют к ним гонцов. Как у Пушкина сказано, «На Испанию родную — Призвал мавра Юлиан».

— Какая же у мосье Яна «Испания родная»? Разве он русский? Ведь он поляк?

— И то правда, поляк, — благодушно согласился Тятенька. — А воевать без надобности. Да ты почему его, старушка, защищаешь? Смотри, мать моя, без Купидоновых стрел! Эмиссар там пан Ян или нет, но у шановного пана есть одна красотка-паненка.

— Какая паненка?

Тятенька, знавший всех и всё, назвал какую-то Зосю, о которой Лиля никогда и не слышала.

— Откуда вы знаете? Нет, скажите, Тятенька, — приставала Лиля. Тятенька ничего толком не мог сообщить: ему кто-то сказал из польских приятелей.

— Будто бы старый роман, но в письмах, как «Новая Элоиза». Да отец Зоси никогда ее за голыша не отдаст. А насчет эмиссара ты не болтай. Я ведь и вправду больше присочиняю, — сказал он и потрепал ее по щеке.

— Berlik berlok, — сказала Лиля.

— Это еще что значит?

Лиля загадочно улыбнулась. Она и сама не знала,

что собственно значит это вычитанное ею в романе выражение.

Вечером, уже в кровати, Лиля почему-то вспомнила слова мосье Яна: «Елизавета Константиновна совсем взрослая барышня». Повторила их вслух с его очень легкой, совсем почти незаметной, не русской интонацией (она недурно подражала чужому говору). Вспомнила и его манеру повторять рассеянно последние слова собеседника. «А что это было досадное?.. Тятенька говорил... Ах, да, Зося... Да мне-то что!.. Посмотреть бы, какая она, эта Зося. Между польками так много красавиц. Папа говорил, что нет красивее женщин, чем польки... Мосье Ян немного похож на Михаила Брауна», подумала Лиля, вспомнив одного заезжего женатого петербуржца, который как-то недавно показался в Киеве и поразил ее своим загадочным видом, — Тятенька даже ее дразнил: «Вот это, Лилька, был бы для тебя Демон. Только он, говорят, еще и прохвост». Позднее кто-то сказал Лиле, что Браун овдовел, — «верно уморил жену». Это было интересно, но Лиля не обратила внимания: тогда увлекалась одним гимназистом. «Браун тоже *был* красивый, да мосье Ян гораздо красивее»... Лиля вздохнула и раскрыла роман Бальзака.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

It hath been observed by wise men or women, I forget which, that all persons are doomed to be in love once in their lives *).

Fielding

В комнате Ольги Ивановны всё было в совершенном порядке и чистота была необыкновенная: нигде ни соринки. Каждая вещь стояла на определенном раз навсегда месте, и если б кто-нибудь что-нибудь хоть немного передвинул, хозяйка тотчас заметила бы это и поправила. Лиля, смеясь, говорила, что всякий раз, как она входит в комнату мамы, ей хочется вылить там на пол чернила, поставить стул на туалетный столик и разбросать все вещи. Оклеена была комната светленькими обоями в цветочках, а мебель обита розовым кретоном. На стенах висело несколько залитых солнцем пейзажей. В углу стоял туалетный столик с дорогим прибором из слоновой кости; на щеточках и на склянках были латинские буквы О. Л. Это был подарок мужа, привезенный им из Парижа. Ольга Ивановна чрезвычайно дорожила прибором, как всеми подарками мужа, и почти к нему не притрагивалась; редко пользовалась духами, пилочками, ножницами. На письменном столе стояли натертая до блеска серебряная чернильница, такие же песочница и лодочка для перьев, портреты мужа и дочери, работы киевского живописца,

*) «Было замечено умными мужчинами или женщинами, не помню, какими именно, что каждый человек обречен однажды в жизни влюбиться».

в серебряных рамках. Этим столом она тоже пользовалась не часто. Когда муж находился в Киеве, ей некому было писать: с дочерью она никогда не расставалась; если же Лейден уезжал, писала в его кабинете. По конституции дома, Ольга Ивановна ничего на письменном столе мужа не трогала: Константин Платонович этого терпеть не мог. Она имела лишь право, и то нелегко завоеванное, сметать пыль с книг и бумаг, осторожно их поднимая и кладя на прежнее место. Лейден вначале относился к этому так, точно для его жены тут было приятное ей, а ему очень вредное занятие; ее работа была большим злом, но пыль всё-таки тоже была зло, он и выбрал в конце концов меньшее. На собственном письменном столе Ольги Ивановны перья всегда были хорошо очинены, а чернила в чернильнице свежие. Они никогда в спальной не наливались, Ольга Ивановна уносила чернильницу на кухню, наполняла очень аккуратно, сливая из бутылки по стеклянной палочке, и вытирала всё предназначенной для этого тряпочкой. При этом Ульяна говорила, что барыня слишком много пишет и что это очень вредно.

Теперь кабинет был занят Виером, и Ольга Ивановна писала у себя. Когда она заканчивала шестнадцатую страницу письма к мужу, в комнату вбежала Лиля и взволнованно сообщила, что ливрейный лакей принес приглашение к польскому графу. Лейдены с ним были мало знакомы; его дом считался одним из лучших в Киеве, и попасть туда было не так легко.

— Я посмотрела, mon chat, вы, я знаю, не рассердитесь. Зовут нас в четверг вечером на чашку чаю. Вас и меня!.. Я дала лакею полтинник, не мало? Но вы мне отдайте, у меня осталось всего двадцать пять копеек. — Лиле полагалось карманных денег пять рублей в месяц, что тоже считалось баловством. Ее подруги получали два или три рубля. — Приглашение на карточке и в конверте! А на нем, смотрите, надпись «Madame et Mademoiselle Leyden», через игрек! Папа тоже так пишет, так в

его заграничном паспорте. Мама, нам *нужно* обзавестись конвертами! Скоро у всех в Киеве будут, а у нас еще нет. Теперь уже никто не пишет писем без конвертов. И это так удобно, не нужно сургуча. Я попрошу Тятеньку достать для нас. Можно?

— Можно, только не очень дорогие. Вот он кстати, Тятенька, легок на помине, — сказала Ольга Ивановна. Из передней раздался звонок, Тятенька всегда звонил по-своему. Ольга Ивановна и Лиля вышли в залу.

Там карточка была внимательно изучена всеми тремя.

— Гравированная, — одобрительно сказал Тятенька, проводя пальцем по буквам.

— Это верно устроил мосье Ян! — сказала Лиля.

— Что ж, он нас *угощает* графом? — спросила Ольга Ивановна, задетая словом «устроил». — Мы, слава Богу, ни за какими графами не гоняемся.

— Да нет, mon bijou, просто мосье Ян нас хочет познакомить с новым *интересными* людьми, — поспешила сказать Лиля. — Не в том, конечно, дело, что он граф. Но, говорят, он очень любезный и образованный человек.

— Конечно, конечно, пойдите, — посоветовал кисло Тятенька. Он был задет тем, что сам приглашения не получил.

Виер, войдя в залу, объяснил в чем дело:

— Там будет Бальзак. Он приехал в Киев из Верховни. Я думал, вам будет интересно на него взглянуть. Граф знает Константина Платоновича, он, кажется, имел с ним дела.

— Бальзак!.. Ах, как я рада! — сказала Лиля. — — Я всё его читала!

— Что ж, и я рада. Мы слышали, что он гостит у Ганской, но я не знала, что он приехал в Киев.

— Приехал в Киев? Да, они вместе приехали. Кажется, граф с Ганской в родстве или в свойстве. Вся польская знать в родстве или в свойстве, — сказал с улыбкой Виер. — А вам я по секрету сообщу, что, мо-

жет быть, Бальзак прочтет что-то свое. Разумеется, это не публичное чтение: для публичного чтения нужно было бы разрешение, его не дали бы полякам. Но он у них обедает, а после обеда уступит мольбам гостей и что-то прочтет.

— Вы приглашены и на обед?

— К сожалению. Я не охотник до графов.

— Значит, у них dîner prié? — вставила Лиля. Но парижанин Виер не оценил или даже не понял этого выражения, которое давно вышло из употребления во Франции; Лиля читала и старинные романы.

— А после обеда будет много народа?

— И панна Зося будет? — с лукавым видом спросила Ольга Ивановна и погрозила ему пальцем. Она что-то слышала от Тятеньки, спросила, не подумав, и сама смутилась: бестактных или бесцеремонных вопросов никогда не задавала. Виер густо покраснел.

— Какая панна Зося?

Ольга Ивановна назвала фамилию и что-то постаралась объяснить: слышала, будто эта прелестная барышня имеет большой успех в польском обществе. Лиля не знала, куда деться. То, что мосье Ян смутился, было ей тяжело.

— Я не знаю, будет ли она. Может быть, — сухо сказал Виер, особенно недовольный тем, что покраснел.

— Ты что наденешь, чудо мое? — виновато спросила Ольга Ивановна. Чудо мое посмотрело на нее зверем, но ответило: «Синее, английского бархата». Между ними начался разговор о платьях.

«Они-то откуда знают»? — с раздражением подумал Виер. «И что же именно они знают? Что я хотел жениться и что *они* не хотели?»

Он побывал у своей барышни на следующий же день после приезда. Ее родители остановились в Английской гостинице, самой дорогой в городе. «Верно, запродали пшеницу или клевер и приехали сюда пыль

пускать», — с улыбкой думал он, одеваясь. У него было свойственное полякам уменье хорошо носить костюм. На этот раз оделся особенно тщательно. «Ну, что же меня ждет?» — думал он по дороге. Думал с волнением, — однако не с таким волнением, какого сам ожидал. «Значит, не влюблен?» — спрашивал он себя огорченно. — «Если сам себя об этом спрашиваю, то не очень влюблен. Или в самом деле я бесчувственный человек?».

Увидев Зосю, он вспыхнул от радости. Она тоже покраснела. Видимо, была крайне смущена. «Неладно!» — тревожно подумал Виер. — «Неужто разлюбила?..» Он почтительно поцеловал руку ее матери, затем, поколебавшись одно мгновение, поцеловал руку и Зосе, хоть это не было принято; Виер сказал себе еще по дороге, что после долгой разлуки можно, и тотчас увидел, что нельзя. Отец и мать встретили его любезно, но видимо были не в восторге от его прихода. «Так, так, понимаю!» — подумал он. Взгляд у него стал холодный и надменный.

После десяти минут разговора не оставалось сомнений. И опять Виер удивился, что принял это не как катастрофу. Он говорил о Париже, обращался преимущественно к родителям, изредка поглядывал на Зосю, спрашивал ее, предпочитает ли она Киев или деревню. Она отвечала робко и всё более смущенно. «Понимаю, понимаю. Верно, появился другой. Очень хорошо. Я этого собственно и ждал», — солгал он себе. Когда он встал, посидев не более четверти часа, родители, переглянувшись, пригласили его на следующий день к обеду.

— Да, да, непременно приходите! *Мы* так рады вашему приезду! — с чрезмерным жаром сказала Зося.

— Благодарю вас. Я охотно приду, — сказал он. Был доволен тем, *как* он это сказал.

Отец проводил его до лестницы, в коридоре тоже с жаром пожал ему обе руки и даже хотел потрепать его по плечу, но Виер отстранился. Внизу в небольшом холле он остановился и рассеянно закурил папиросу.

«Теперь надо всё обдумать. Впрочем, что же тут обдумывать?..»

Кто-то его окликнул. Оказалось, школьный товарищ, с которым он встречался и в прошлый свой приезд. Другом тот не был; у Виера и в школе было мало друзей. Теперь эта встреча была ему неприятна, как была бы и всякая другая: он хотел остаться один. Они поговорили — опять о Париже. Узнав, у кого он был, товарищ, поглядывая на него, спросил, принимают ли они уже поздравления.

— Поздравления? С чем? — спросил Виер равнодушным тоном. «Ну, да. Сейчас всё буду знать», — подумал он и небрежно положил папиросу в пепельницу. Он угадал: оказалось, что у Зоси жених, молодой помещик из Конгрессовки.

— Вот как? Я не знал. Кто такой?

— Им повезло. Прекрасная партия. Приятный человек и две тысячи душ, — ответил товарищ и назвал фамилию жениха. Фамилия была хорошая, хотя и не громкая.

— Две тысячи душ. Да, разумеется, прекрасная партия, — медленно повторил Виер. — Это верно? Они мне ничего не сказали.

— Еще не объявляют. Жених поехал в Варшаву к матери за благословением.

— Я очень рад за них, — сказал Виер. — Она очень милая барышня.

«Ну, вот, всё кончено, — подумал он, выйдя на улицу. — И я ничего не могу сказать. У нас ведь была просто милая корректная переписка. Правда, она могла бы известить меня. Но, может быть, написала после моего отъезда из Парижа. Или сама еще тогда не знала. Не знала, что свалятся две тысячи душ. А то ее заставили родители? — спросил он себя, цепляясь за это предположение, менее обидное для его самолюбия (смутно уже чувствовал, что для него теперь главное в оскорбленном самолюбии). — Возможно, что и заставлять не надо

было. Ведь в самом деле, две тысячи душ! Шутка ли сказать».

На улице он опять остановился: куда же теперь идти и что делать? Дул сильный ветер, было очень холодно. У подъезда гостиницы на углу Крещатика стояли извозчики, но он пошел пешком вверх по крутой Лютеранской. «Ну, что ж, во всяком случае моей вины нет», — думал он: эта мысль всегда его успокаивала в неприятностях. — Принял совершенно спокойно, как следовало. Может быть, даже слишком спокойно? Да не вызывать же этого помещика на дуэль!» — сказал он себе с усмешкой. — Может быть, какой-нибудь горячий шляхтич так и сделал бы. Я не шляхтич и не горячий. Это было бы глупо до смешного. Помещик вдобавок ничем не виноват, он верно и не подозревает о моем существовании».

Он вспомнил то, что рассказывали в польской колонии в Париже: у Мицкевича был роман с какой-то знатной польской барышней, он был в нее влюблен, и она тоже как будто была в него влюблена, но, по желанию родителей, вышла замуж за человека ее круга. «Мицкевич был, даже, кажется, ее женихом, а у меня с Зосей ничего почти и не было... Они мне не решились сказать. Быть может, хотят сообщить завтра на обеде, «как нашему другу, вам первому». Подали бы шампанское и выпили бы за их здоровье. Разумеется, я к ним на обед не пойду!»

Его самолюбие было задето и тем, что с *ним* вышла такая обыкновенная история. Правда, сходство с историей Мицкевича немного его утешило. «Он был беден, а ей нашли богатого! А что он был *Мицкевич,* это для таких людей никакого значения не имеет. Что ж, он с собой, к счастью, не покончил, и я не покончу. Я не Мицкевич, но и у меня есть дело в жизни».

Вернувшись в дом Лейденов, он написал краткое письмо отцу Зоси: извещал, что, к большому своему сожалению, не может прийти завтра обедать: давно

приглашен к другим, о чем было забыл. Затем, походив по кабинету, порвал на мелкие кусочки это письмо и написал другое: во втором тексте ничего не говорил о другом приглашении, а вместо «к большому сожалению» написал «к сожалению». «Так лучше, больше не будут звать». Еще походил по комнате, хотел было восстановить первый текст, но не восстановил. Попросил дворника тотчас отнести письмо и дал ему рубль; за услуги в доме всегда давал начай щедро, гораздо щедрее, чем давал бы богатый человек.

Странным образом, почти незаметно для него самого, история с Зосей несколько изменила его политическое настроение и не только тем, что еще увеличила его ненависть и презрение к деньгам, к их власти, к миру богатых людей. Теперь он думал, что незачем *всё* валить на русских. «Вот и у нас тоже «души», в этом Лейден, к несчастью, был прав. Когда мы освободим Польшу, тот помещик зубами вцепится в свои две тысячи душ. И еще более прав Бланки, доказывавший мне «примат социального над национальным». Сейчас для нас, поляков, это неверно, но, конечно, за национальными войнами придут войны гражданские, и смысла в них будет больше, чем в национальных войнах».

Он думал также, что скоро надо будет отправиться в Петербург, а оттуда за границу. Но уезжать из Киева ему не хотелось. «Нельзя однако слишком долго пользоваться гостеприимством Лейденов, как они ни милы».

Виер не мог не видеть, что Лиля понемногу в него влюбляется. Не хотел притворяться, будто это ему неприятно. Самая мысль о том, что он мог бы жениться на русской, не приходила ему в голову. Это было бы изменой национальному делу. Тем не менее Лиля в последние дни всё больше ему нравилась. «Вздор, и не влюблена она, а просто «любит любить». Скоро закончу все дела и уеду. Хоть Киев и провинция, но для доклада князю Адаму надо толком узнать, что здесь делается».

Он посещал польские кружки, говорил там о бли-

зости европейской войны, призывал слушателей готовиться к ней. Слушали его внимательно, с интересом и с уважением: он жил в Париже и следовательно должен был знать всё о намерениях французского правительства. Престиж Виера ослабевал, когда из его ответов на вопросы оказывалось, что он не только ни разу не разговаривал с Тьером или с Гизо, но и никогда их не видел. Не мог даже толком ответить на вопрос, «что думает князь Адам»: Чарторыйский в своем единственном разговоре с ним не касался особенно важных вопросов. Заканчивая доклад, Виер просил слушателей высказаться. Они отвечали не очень уверенно, некоторые и не очень охотно. Не подавали большой надежды на то, что строй Николая I рухнет. Иные откровенно говорили, что никаких признаков его близкого падения нет.

И главное, никто не понимал, как же они собственно должны «готовиться к войне»? Не заниматься сельским хозяйством? Не посещать Контрактовой ярмарки? Не поступать в университет? Пользы для польского дела от этого быть не могло, и всем им надо было жить. Виер советовал вести пропаганду, но они встречались преимущественно друг с другом, никаких иностранцев не знали, а мысль о том, чтобы вести пропаганду среди крестьян, вызывала у них смущенную или даже ироническую улыбку. — «Тут народ очень, очень отстал от французского», — объясняли они. Когда же он говорил, что в освобожденной Польше понадобятся глубокие социальные реформы, большинство участников собраний слушало его как будто без сочувствия. «Ну, да, они все помещики или дети помещиков, — думал Виер. — Да и в самом деле, что это значит «готовиться»? Так, когда во внешней политике какой-либо державе решительно нечего сказать или сделать, правительство объявляет, что оно «очень внимательно следит за положением».

В одном из этих своих докладов Виер в заключение привел эффектную цитату из Луи Блана. Цитировал

не дословно, на память. Но память у него была прекрасная; да и ошибиться здесь не было бы грехом.

— Известный французский политический писатель Луи Блан, — сказал он, — уподобляет нынешнее общество королю Людовику XI в последние дни его жизни. Король почувствовал приближение конца. Между тем мысль о смерти приводила его в дикий ужас. Он стал скрывать от врачей, от приближенных, даже от самого себя симптомы своего недуга. Старался ходить твердой походкой, бодрился, красился, впрыскивал что-то для блеска в глаза и говорил врачам: «Да я никогда в жизни не чувствовал себя лучше!». — «Так, — говорит Луи Блан, — поступает и нынешнее общество. Оно чувствует, что его смерть близка, — и отрицает свою тяжкую болезнь. Оно окружает себя лживой роскошью, придает себе вид непоколебимой мощи, хвастает как и чем только может. Но его душу гложет тяжкая тревога. На всех его праздниках незримо присутствует призрак революции».

Виер произнес цитату с подъемом. Это произвело впечатление, и Виеру аплодировали больше обычного. За чаем все хвалили его ораторский талант, но видимо слова Луи Блана относили только к Парижу. Спрашивали, действительно ли во Франции можно ждать революции каждый день.

— Не только во Франции, — ответил он.

Возвращался он по Александровскому спуску довольно поздно. Огни в окнах домов были уже погашены. Величественный Государев сад был пуст, в темноте неприветлив и даже страшен. «А там дальше обрыв, Днепр, за ним бесконечные занесенные снегом равнины, непроходимые леса, глухие темные села, ничем, кроме хлеба, не интересующиеся рабы»... На улицах прохожих было очень мало. Из дворов изредка лаяли собаки. Поворачивая вправо, он оглянулся на черную громаду сада и ускорил шаги. На Шелковичной была совершенная тишина. Киев спал мертвым сном. Виер вдруг

спросил себя, так ли уж верно, что близок конец строя. Невидимое присутствие призрака революции в Липках не чувствовалось. «Что, если нет его и никогда не будет в этой огромной, могущественной, страшной стране?»

II-III

. . . .
. . . .

IV

And here she erected her aerial palaces *).

Walter Scott

Ответ графу составила Лиля. Конверты были куплены отличные. Она долго колебалась: как надо написать: «Comte» или «Monsieur le Comte»? Еще дольше думала о том, как одеться. У нее было шесть вечерних платьев, но из них три были киевские. Остановилась на петербургском, самом дорогом. «Конечно, и эта Зося будет? Верно она лучше меня, — вздыхая, думала Лиля. — Да и что ж, когда я не полька»... О платье матери заботиться не приходилось: у нее вечернее было только одно. «Кажется, мосье Яну не нравится, что я маму называю «Mon chou». Да, они поляки такие учтивые, особенно с родителями. Сыновья целуют отца в плечо. Буду говорить «maman»...

В день приема к ним под вечер приехал Тятенька, напоможенный, надушенный, в каком-то странном мундире, зеленом, с голубым воротником, с оранжевыми отворотами. Лиля всплеснула руками.

— Тятенька, что это?

— А, так и вы получили приглашение? — радостно

*) «Здесь-то она воздвигла свои воздушные замки».

спросила Ольга Ивановна. Она уже когда-то видела Тятеньку в этом мундире.

— Получил. «И я». Удостоился, — смиренно-иронически отвечал он. Приглашение пришло в последний день, несомненно, по ходатайству Виера. Тятенька делал вид, что ему всё равно. — Не пригласили бы, так лежал бы спокойно на полатях, тихо, хорошо, — говорил он, хотя едва ли мог бы провести хоть один вечер не в гостях.

— Но что же это за наряд! Ведь у них не маскарад!

— Это, не «наряд», а мундир киевского дворянства.

— Да какой же вы дворянин?

— У нас на Кавказе все дворяне. К киевскому дворянству я не приписался, но мог бы приписаться в любой миг и приняли бы, — неуверенно сказал Тятенька и рассмеялся. — А естьли хочешь знать правду, то оказалась большая неудобность: самый расчудесный из моих фраков проела проклятая моль! Сегодня смотрю: дырки. Уж я мою старую дуру лаял, лаял, да что с нее возьмешь: прилежаше пития хмельнаго. Что же мне было делать?

— Да вас еще в тюрьму посадят! И никто не ездит в гости в дворянском мундире, разве где-нибудь в провинции, в Житомире! Да и мундир теперь совсем другой, теперь общий для всех губерний. Я все наши мундиры знаю, могу отличить любой полк.

— Вздор, ни в какую тюрьму не посадят, и я лучше тебя понимаю, как надо ездить в гости к графьям. Только вот что, голубки, красавицы, милочки, по дороге к вам у меня на животе оторвалась сверху пуговица штанов! Я и то едва в них влез. Не пришьете ли, красавицы?

— Разумеется, я сейчас пришью. И снимать не надо эти... панталоны. Я на вас и пришью, — конфузливо сказала Ольга Ивановна.

— Чувствительно благодарю вам, Оленька.

— Тятенька, надо говорить «благодарю вас». Это

немцы говорят «благодарю вам», «danke Ihnen», — сказала Лиля.

— Дурочка, что ты понимаешь! Надо говорить «благодарю вам». Всё равно, как «благотворю вам». «Благодарю» значит «дарю благо».

— Уж я не знаю, что это значит, только никто так не говорит. И вы так не говорите. Видно, нынче хотите нас удивить.

— Что ты смыслишь, глупенькая! Сам митрополит Филарет пишет «благодарю вашему преосвященству». А никто так правильно не выражался, как он. Почище твоего Пушкина!

— Вечно спорите о пустяках, — сказала Ольга Ивановна, доставшая иголки и нитки. Она принялась за работу. — Давно вам пора, Тятенька, заказать новый фрак. Теперь больше носят оливковые, я и моему заказала.

— Закажу, закажу, Оленька милая. А тебе, клоп, ответствую...

— И «ответствую» никто не говорит! Вы что-то настроились на старинный лад! Ни к чему это, бросьте.

— Ответствую, что и Гёте ходил в мундире. Я сам видел, как он в Эрфурте в пору встречи с Наполеоном...

— Знаем, слышали! — снова перебила его Лиля. Ей было и забавно происшествие с пуговицей, и немного она сердилась на Тятеньку: слишком было уж это непоэтично. «Сейчас придет мосье Ян и увидит, как мама пришивает!» Но Ольга Ивановна пришила пуговицу быстро. Тятенька с чувством поцеловал ее в голову.

— Что «знаем, слышали», дерзкая девчонка? Сейчас вот встану и уши надеру. Всё косность моя, совершенно ты избаловалась.

— Знаем, что у них были необыкновенные лица, особенно у Наполеона, потому что он только что вернулся с острова Эльбы...

— Дурочка, с Эльбы Наполеон гораздо позже вернулся в Париж, и я его видел, вот как тебя вижу, в ту

самую минуту, когда он въезжал в Тюильри. Не мудрено, что у него было такое лицо, что и сравнить ни с чем нельзя. А в Эрфурте...

— Знаем, знаем! И что они были в мундирах тоже знаем! Только ведь Наполеон в самом деле был военный.

— Что правда, то правда: был военный. А Гёте был не военный и не знатнее дворянин, чем я... Здравствуй, пане ласкавый, — сказал Тятенька. В комнату вошел Виер. Он был в синем фраке, который очень к нему шел. Лиля смотрела на него, тщетно стараясь скрыть восторг. — Да может, ты, глупенькая, не хочешь ехать со мной?

— Хочу, хочу. И maman хочет, — сказала Лиля. Тятенька был, конечно, не блестящий кавалер, но ехать совсем без кавалера было бы тоже не слишком приятно. Виер, приглашенный и на обед, не мог их сопровождать.

— То-то. Но тогда кормите меня ужином.

— Тятенька, до ужина еще далеко. До того мы с вами еще выпьем китайской травки, — сказала Ольга Ивановна. У нее были два-три таких словечка, чуть ли не заимствованных у Тятеньки. Лилю эти словечки раздражали. Иногда, правда, ей приходило в голову, что, может, и ее собственные французские замечания раздражают ее мать и особенно отца, но тут вина была на их стороне. — Лиленька говорит, что граф и не подумал бы нас звать, это вы ему нас навязали, мосье Ян.

— Навязал? вовсе нет, граф был чрезвычайно рад, — сказал Виер смущенно. Он не любил и не умел лгать.

— Пусть вам, мама, не будет совестно. «La conscience est de ces bâtons que chacun prend pour battre son voisin, et donc il ne sert jamais pour lui», — сказала Лиля фразу, выписанную ею из романа в тетрадку. Но по лицу Виера она увидела, что ему эти слова не понравились. Лиля была очень взволнована: и предстоящим чтением, и тем, что мосье Ян увидел ее в новом платье и ничего не сказал. Впрочем, он не замечал дамских туалетов, да и комплименты говорил редко.

Звали на девять часов. Они выехали в три четверти

десятого и думали, что приедут слишком рано. Этого в провинции боялись больше всего: опаздывать приличиями разрешалось, но оказаться в пустой гостиной было бы очень неприятно. Приехали они как раз тогда, когда главные гости — «те, что почище», — как говорил, смеясь, Тятенька, — уже выходили из столовой: трехчасовой обед кончился. Зала была приблизительно такая же, как у Лейденов, или только немного роскошнее. Чтобы нельзя было сказать, будто подготовлялось публичное чтение, стулья лишь теперь начинали расставлять полукругом перед небольшим столом.

Хозяин не сразу догадался, кто такие вновь прибывшие; он очень приветливо с ними поздоровался и велел лакею, проходившему с подносом, подать им шампанского. К облегчению Лили, граф не изумился, увидев мундир Тятеньки.

— А у нас сегодня знаменитый гость, — сказал он. Объяснил, что в Киев приехал Бальзак и что он согласился прочесть один свой рассказ. — Нам удалось его упросить. Я вас с ним познакомлю.

— Ах, мы будем так рады! — сказала Ольга Ивановна. Лиля тревожно слушала, но мать сказала это по-французски без ошибки. Они сели рядом в третьем ряду стульев, так чтобы и не слишком близко к чтецу, но и не слишком уж далеко. Тятенька сел осторожно; опасался, как бы не раздавить хрупкий золоченый стул. Он пришел в самом критическом настроении. Отправляясь в незнакомый дом, да еще польский, да еще графский, заблаговременно выпил для храбрости. «Там верно ничего, кроме чаю и печенья, не дадут. Знаю я их, графьев», — говорил он за обедом. Шампанское его утешило, он выпил два бокала. «Лишь бы не слишком затянул твой Бальзакевич», — сказал он вполголоса. Лиля сделала страшные глаза. По ее мнению, они и между собой в этом польском доме должны были говорить по-французски, и никак не годилось называть Бальзака Бальзакевичем.

Ольга Ивановна до начала чтения успела осмотреть туалеты дам. Ничего замечательного не нашла, но один фасон заметила для Лили: «Опишу Степаниде, отлично сделает».

— Слава Богу, не мы одни русские, — вполголоса сказала она дочери. Лиля не ответила: тревожно искала взглядом мосье Яна, нашла его и покраснела. Он стоял у дверей с молоденькой, очень хорошенькой барышней. — «Она!» — подумала Лиля. — «Лучше меня...!.. Или нет? Ох, лучше!»

Бальзак лениво, переваливаясь, вошел в залу в сопровождении поклонников и поклонниц. Одет он был небрежно, что удивило гостей: все слышали рассказ о необыкновенном щегольстве этого писателя. Лиля не обратила внимания на его костюм, но наружность Бальзака ее разочаровала. «Вот не думала, что твой Бальзак такой!» — прошептала разочарованно и ее мать. — «Одет как будто всё взято напрокат!» — радостно шептал Тятенька. — «И старый! Я такого в лавку приказчиком не взял бы!» — «Тятенька, это верно Ганская, правда?» — спросила взволнованно Лиля, глядя во все глаза на даму, вышедшую из столовой; у нее вид был и сконфуженный, и вместе с тем какой-то хозяйский. На воображение Лили действовало то, что Ганская была *любовницей* Бальзака. — «Да, конечно, это Ганская! Ах, как одета!» — прошептала Ольга Ивановна. — «Ничего особенного, мама! Я это платье видела еще в Петербурге! И совсем она не красива, и немолодая. Что он в ней нашел?» — «Пенензы»! — ответил Тятенька.

Хозяин дома поспешно прошел к столику и остановился, с приветливой улыбкой глядя на собравшихся. Тотчас установилась тишина. Опершись на столик рукой, он по-французски радостным тоном объявил, что на долю дорогих гостей выпал необыкновенно счастливый сюрприз:

— Мне и в голову не приходило просить нашего знаменитого гостя читать нам что бы то ни было, —

сказал он. — Но наши дамы набрались храбрости, и их похвальное мужество увенчалось большой наградой. Мосье Онорэ де Бальзак согласился нам доставить огромное удовольствие. Как у каждого из нас, у меня в доме, конечно, есть его книги, и он нам прочтет свой рассказ: «Le Prince»... Граф чуть запнулся. Бальзак с улыбкой подсказал: «Le Prince de la Bohême». Он давно привык к тому, что люди, называвшие себя его горячими поклонниками, плохо помнили его произведения, а часто и вообще их не читали. — «Le Prince de la Bohême», — повторил хозяин и, чуть сгорбившись, на цыпочках отошел к своему стулу.

Бальзак неторопливо отпил глоток сахарной воды, откашлялся и пододвинул к себе книгу. Он любил читать свои произведения, особенно артистам театров: показывал им, как *надо* читать. В кругу артистов не церемонился, развязывал галстух, расстегивал рубашку, а то и снимал фрак. Здесь этого сделать было нельзя. В этот вечер он чувствовал себя лучше, чем обычно в последнее время, и знал, что будет читать хорошо. Начал он с комплиментов собравшимся гостям. Подумал было, не похвалить ли Россию, но это было не очень удобно, так как дом был польский и почти все гости — поляки. Не годилось хвалить и Польшу, так как она официально не существовала, а один из гостей, как ему вскользь сказал хозяин, был важный русский чиновник. Поэтому он похвалил Киев; добавил, что пишет книгу: «Lettre sur Kiev». Это вызвало первые, довольно долгие рукоплескания; гости не догадались, что надо было аплодировать при его появлении. Бальзак с усмешкой смотрел на публику. Обратил внимание на Лилю, на Зосю, раздел их глазами, прочел в блестящих глазах Лили то, что она чувствовала, и вздохнул. «Мне бы ее шестнадцать лет, я перевернул бы мир. Но теперь...» Когда рукоплескания прекратились, он заговорил снова:

— Это мой *небольшой* рассказ, — подчеркнул он

по привычке опытного чтеца, — я набросал уже довольно давно, а закончил и отделал недавно. Он посвящен моему другу, знаменитому немецкому поэту Анри Эн, которого вы все, конечно, читали.

Гости закивали головами. — «Какой Эн? Я и не слышала о таком», — шепнула Ольга Тятеньке. — «Это Гейне, его все знают», — ответил Тятенька. — «И я знаю, да неужто они произносят Эн?» — «Что ж тут странного? Мы тоже произносим неправильно. Немцы говорят «Хайне». — «Тятенька, мама, умоляю вас, замолчите!» — прошептала Лиля. Впрочем, и другие гости еще переговаривались. Лиля увидела что Виер сел в последнем ряду, далеко от них, но далеко и от Зоси. Бальзак открыл книгу.

Как ни мало было ему интересно это небольшое киевское общество, он тотчас увлекся чтением. Читал он превосходно, всё разыгрывал в лицах. Рассказ был построен очень сложно, так что и понять было не так легко. Главным действующим лицом был Габриель-Жан Анна-Виктор-Бенжамен-Жорж - Фердинанд - Шарль-Эдуард Рустиколи, граф де ла Пальферин, из семьи, прибывшей во Францию с Екатериной Медичи и находившейся в родстве с Гизами и с Эсте. — «Ишь как разнесло, — шепнул Лиле Тятенька. — Уж такой граф, уж такой граф! Любит видно, шельма, графьев». В графа де ла Пальферин была страстно влюблена какая-то дама, встреченная им на бульваре. Ни эта женщина, ни граф Тятеньку не заинтересовали. Он всё искал, к чему придраться, и нашел только в конце: муж дамы французский водевилист Брюэль за что-то получил русский орден Владимира II степени. — «Всё ты, братец, брешешь! Никогда щелкоперу такого ордена не дали бы. Ни в жисть! — шептал Тятенька. — Ох, проклятый стул! Нозе мои изнемогосте суть!»...

Ольга Ивановна, напротив, слушала очень благожелательно, но не всё понимала. Чрезвычайно понравилось ей то, как Бальзак говорил по-французски. —

«Совсем не так говорит, как у нас! Даже Фудуклей говорит куда хуже!» — шепнула она дочери. Лиля фыркнула и ответила, что было бы очень странно, если бы Бальзак говорил по-французски хуже Фундуклея. «Ох, что-то сюжет уж очень вольный для Лиленьки», — с беспокойством думала Ольга Ивановна. — «И так она целый день читает такие книжки, а тут еще на людях... Но ведь здесь есть и другие барышни, теперь ведь не те времена, не то, как меня воспитывали. А уж французы без этого не могут...» Впрочем, ее немного задело, что, по словам Клодины, женщина тридцати пяти лет не может рассчитывать на любовь. Ольга Ивановна отнюдь не собиралась кружить головы мужчинам. Тем не менее это замечание кольнуло ее. «Да ведь он-то и выдумал бальзаковский возраст!» — обиженно думала она. «Бальзаковскому возрасту» автор «Человеческой комедии» и был преимущественно обязан своей популярностью у женщин всего мира.

Клодина, женщина легкомысленного образа жизни, вышла замуж, чтобы иметь настоящих теток: — «J'aurai de vraies tantes», — объясняла она. «Вот это верно, — подумала Ольга Ивановна, — и Марья Ивановна была такая». В зале послышались смешки. Общие улыбки вызвали и слова о «le souverain parce que des femmes». У Клодины были дивные волосы, столь же прекрасные, как у герцогини Беррийской. — «А я и не знала, что герцогиня Беррийская славится своими волосами», — шепнула Ольга Ивановна Тятеньке. — «Может, и славится, да ему какое дело? Выдумывать может что угодно, а так не годится писать. Точно он гладил герцогиню Беррийскую по головке... Всё он врет! И насчет балета тоже брехня, будто все знаменитые танцовщицы уроды... И что это такое: «Верхнее *до* танца»? Щелкопер!» — шептал Тятенька.

Виер слушал еще более враждебно. Ему не нравились ни рассказ, ни его автор. «Никаких убеждений у него нет. Этот человек ничего не любит, кроме денег и

знати. И пишет он так, будто сам к ней принадлежит, а на самом деле он плебей, проникший в высшее общество благодаря своей славе. Прав Бланки, что терпеть его не может... Если б, конечно, этот граф с шутовским именем не был в родстве с Гизами и с Эсте, то его можно было бы назвать хамом», — думал Виер, понимавший только рыцарское отношение к женщинам.

— «Желаю вам такой любовницы! — сказал нам однажды Пальферин. — Нет собаки, которую можно было бы с ней сравнить по совершенной покорности и преданности. Иногда я себя упрекаю, спрашиваю себя, почему я с ней так строг. Она подчиняется с кротостью святой. Она приходит, я ее выгоняю, она плачет, но только уже во дворе. Я не пускаю ее к себе целую неделю, затем назначаю ей свидание в будущий вторник, например в полночь, в шесть часов утра, в десять, в пять, в самое неудобное для нее время, когда она завтракает, обедает, встает, ложится. О, она придет точно в указанный час, будет прекрасна, восхитительна. А ведь она замужем, она связана обязательствами по дому. К каким только хитростям она ни вынуждена прибегать, каких только предлогов ни должна выдумывать, чтобы подчиняться моим капризам! Она пишет мне каждый день, я ее писем не читаю, она это видит — и продолжает писать! Вот в этой шкатулке лежит двести ее писем. Она просит меня каждый день вытирать мою бритву ее письмом. Я это и делаю! Она думает, и правильно, что вид ее почерка мне о ней напоминает...»

«Да, это и есть настоящая любовь!» — думала Лиля, замирая от восторга и стыда. У нее было такое чувство, будто Бальзак читает нечто непристойное или будто он ее подсмотрел в ванне. Лиля год тому три раза целовалась прошлым маем с гимназистом в Государевом саду, где волшебно пахло сиренью. Но этот гимназист не был похож на графа Пальферина и скоро уехал из Киева, поступив в московский университет. С той поры она ни в кого влюблена не была. Это очень ее тяготило

и даже мучило: «Уходят лучшие годы! Ведь после двадцати лет всё будет кончено!..» Тридцатилетние женщины казались ей старухами; она только изумлялась и плохо верила, когда подруги ей говорили, что генерал-губернатор влюблен в даму тридцати пяти лет. «Правда, он сам дряхлый старик», — говорила она. Подруги тоже смеялись: «Влюблен в тридцатипятилетнюю!»

Она слушала о графе де ла Пальферин и думала о мосье Яне. Как будто они тоже совершенно друг на друга не походили. И всё-таки что-то верно у них было общее. «Вдруг и мосье Ян так относится к своим *любовницам*. У него наверное в Париже были *связи*. Может быть, несколько связей, — замирая, думала Лиля, не пропуская вместе с тем ни одного слова из того, что читал Бальзак. — Да, разумеется, они относятся к нему так же, как она к графу де ла Пальферин. Но он верно не так с ними груб?» Грубость графа всё же несколько коробила Лилю. «Какое красивое имя: граф де ла Пальферин! Виер тоже хорошее имя. Он потомок графа Девиера!.. Я завтра же куплю этот рассказ, если только его можно найти. Возьму у мамы денег вперед, папа наверное дал бы, да и мама даст, уже скоро первое»... Бальзак изредка отрывался от текста и обводил глазами публику. Вдруг он встретился взглядом с Лилей. Ей показалось, что он чуть усмехнулся. Она замерла. «Ведь он все видит, он видит людей насквозь!.. Кондотьер? Граф кондотьер. Что такое кондотьер? Может быть и мосье Ян кондотьер?» Она оглянулась и вспыхнула: Виер как раз смотрел на нее. Он тоже смутился и тотчас отвел глаза. И впервые с совершенной ясностью, она поняла, что влюблена, *безумно* влюблена в мосье Яна. «Неужели он всё время смотрел на меня сзади! Надо повернуться спиной к Тятеньке... Но не сейчас, а через минуту, чтобы он не догадался. А что если он в эту Зосю не влюблен? Ах, какое это было бы счастье!»

Когда Бальзак кончил, в зале раздались рукоплесканья. Бальзак с любезной улыбкой раскланивался. Хозяин дома долго и горячо жал ему руку и говорил комплименты. Подходили и другие слушатели, те, что были посмелее и хорошо говорили по-французски.

— ...Так, значит, и вы ненавидите это новое слово «blague»? Я так был рад, услышав от вас, что оно в вашем прекрасном языке не удержится, — сказал польский помещик, проживший два года в Париже. Он учтиво посторонился, давая дорогу Ольге Ивановне и Лиле, которых подвел к Бальзаку хозяин. За ними неуверенно подошел и Тятенька. Хотя рассказ ему не понравился, всё же было лестно пожать руку такому знаменитому человеку. Граф скороговоркой представил и его: не был уверен в его имени, но догадался, что Бальзак все равно ни одного имени не запомнит.

— Ах, мы с дочерью такие ваши поклонницы! — говорила Ольга Ивановна. Дальше ничего не могла сказать: хозяин подводил других гостей. Бальзак кланялся, благодарил и целовал дамам руки. Он был очень доволен, в особенности, тем, что сердце не стучало и что одышки не было.

Лиля опять оглянулась на мосье Яна. Он к столику не подошел: теперь опять стоял с Зосей. Лица у них были взволнованные. У Лили упало сердце. Она поспешно отвела глаза и встретилась взглядом с Тятенькой. Он тоже увидел польскую барышню, усмехнулся и, нагнувшись к уху Лили, тихо сказал:

— Вот это она и есть, панна Зося. Только я и забыл вам сказать: это всё, оказывается, неправда. Или, может, *была* правда, а теперь кончено. Наш пан Ян остался с носом. Она выходит за другого. Страшный богач: три тысячи душ, пол уезда леса, — сказал Тятенька. Он то преувеличивал чужое богатство, то начисто его отрицал: «да он в долгу как в шелку, скоро всё достояние продадут с молотка и пойдет верно побираться», — иногда ни с того, ни с сего говорил он о слишком высо-

комерных помещиках, или же о киевском книготорговце Литове, которого недолюбливал — не за конкуренцию, а за недостаточное понимание книги.

Лиля замерла от восторга. Собственно, главное для нее не изменилось: всё равно она не могла выйти замуж за мосье Яна. Ей было и жаль его: «Как он верно страдает!» Но не радоваться она не могла. «Хороша же эта Зося! И она еще смеет с ним разговаривать!.. А может быть?.. Вдруг это возможно?.. Говорят, за границей это разрешено! Я попрошу, я умолю папу и маму отпустить меня за границу!... Надо взять себя в руки, надо успокоиться».

Некоторые гости были, очевидно, приглашены и на ужин. Ольга Ивановна заторопилась: опасалась, как бы не подумали, что она напрашивается на приглашение. Хозяин, провожая, очень учтиво их благодарил за доставленное ему удовольствие. — «Что вы, помилуйте! Это вы нам доставили такое удовольствие!» — говорила Ольга Ивановна. Лиля теперь и не заметила, что мать сделала по-французски две ошибки. Сама она ничего не сказала хозяину дома; Ольга Ивановна потом дома ее за это упрекала. «Где он? Остается ужинать? Что я ему скажу?..» Она увидела Виера внизу. Он надевал шубу. Шуба у него была дешевая, швейцар ему даже ее не подал.

— Ну, что, какой был обед? — вполголоса по-русски спросила его Ольга Ивановна. — Верно, блюд двадцать и шампанское?

— Совершенно верно, — улыбаясь, подтвердил Виер.

— Вы познакомились с Ганской? Правда, что она такая интересная?

— Интересная ли? Во всяком случае она очень любезна: просила меня приехать к ней в Вешховню. Я за столом оказался ее соседом.

— Вы поедете?

— Может быть. Не знаю еще.

— Надолго?

— О, нет. На несколько дней.

— А как вам понравился Бальзак? Великий писатель, — без уверенности сказала Ольга Ивановна. — как прекрасно читает!

— Я не большой его поклонник.

— Щелкопер! — подтвердил Тятенька, очень довольный тем, что побывал на чтении. — Французскому водевилисту дали Владимира II степени! Это как если б нашему Ленскому пожаловали Андрея Первозванного! А естьли не знаешь, то не пиши. А естьли тут сочиняешь вздор, то верно и другого не знаешь.

— Ах, нет, мне очень понравилось, и он такой любезный, — сказала Ольга Ивановна.

— А вам понравилось, мадмуазель Лиля? — спросил Виер рассеянно.

— Очень. Страшно понравилось! C'est un écrivain admirable! — нараспев выговорила Лиля. Она успела «взять себя в руки».

V-VI

. . . .
. . . .

VII

> Les uns descendent d'Abel, les autres de Caïn, dit le chanoine en terminant; moi, je suis un sang mêlé *).
>
> Balzac

Лейден уже довольно давно находился во Флоренции с женщиной, с которой сошелся в Константинополе.

---

*) «Одни происходят от Авеля, другие от Каина, — сказал в заключение каноник. — А во мне смешанная кровь».

Он называл ее Роксоланой. Имя у нее было какое-то странное, вроде Фатимы. Так она ему сказала в первый день, но затем стала с именем путаться: в другой раз оказалось, что ее зовут Зулимой. Он впрочем скоро заметил, что она часто врет и притом без всякой причины или цели. В этих именах был малоправдоподобный, конфетный восток. Позднее он догадался, что Фатимой, Зулимой и другими именами ее верно звали люди, «покупавшие» ее до него. «Время байроновское, много бездельных людей шатается по Европе в поисках подобных приключений». Однако нужно было как-нибудь ее называть. Лейден вспомнил рассказ гида. Она никогда о жене Солеймана Великолепного не слышала, но новое имя ей понравилось.

— Так меня и зови, — сказала она со смехом.

Они беспрестанно переходили с русского языка на французский. Роксолана говорила, что ей необходима практика во французском языке. Иногда она одно и то же сначала говорила по-русски, затем сама для ясности переводила на французский. Это и забавляло Лейдена, и было немного ему досадно, точно новый, странный, неправильный язык подчеркивал его новую, странную, неправильную жизнь.

— Так и знай: ты теперь Роксолана.

— Хочешь, и я тебя буду звать Солейманом Великолепным? Не хочешь, ну, не надо. А ну, ты будь как султан. Все султаны щедрые, ах какие щедрые! Они своим женам всё дают: бриллианты, шелк, бархат, гроши. Так делай и ты, а я буду тебя любить.

— Будешь любить? Значит, еще не любишь?

— Ты вези меня в Париж, я там скоро буду главная гадалка. Я еще не всё умею, но буду уметь, я страсть умная. А я хорошо говорю по-французски?

— Ты отвечай, когда тебя спрашивают!

— В Париже можно много заработать. А я ну, тебя люблю. Буду страсть любить, если ты будешь щедрый.

Константин Платонович знал, что его считают «че-

ловеком с заскоками». Теперь он признавал, что люди, так его определявшие, были совершенно правы: «И даже не с заскоками, а просто полоумный. На старости лет изменить жене, связаться с авантюристкой, влопаться в историю, которая должна кончиться неприятно, что может быть глупее и постыднее!» Тем не менее Лейден был весел и бодр, как давно не был.

В день своего отъезда из Константинополя, по дороге с Роксоланой на пристань, он вдруг на улице увидел Виера. Тот изумленно на них взглянул, хотел как будто поклониться, — не поклонился, сделал вид, что не видит. «А мне говорил, шельмец этакий, что уезжает!.. Он никому не скажет, я знаю»... Как ни неприятна была Лейдену эта встреча, в ней было и что-то доставившее ему удовольствие. «Или уж очень мне надоело, что меня все всегда считали Ба-Шаром?»

— Кто это? — спросила Роксолана. — Ты его знаешь?

— Да, знакомый.

— Красивый. Он богатый?

— Нет, бедный, — сердито ответил Константин Платонович. Она вздохнула.

На пароходе он завел дневник. В Киеве у него были тетрадки, он записывал свои философские мысли. Дневника же, которым его дразнил Тятенька, никогда не вел. Теперь решил записывать, как сошелся с Роксоланой. Сначала ему показалось, что это невозможно: на бумаге всё выйдет слишком грубо и безобразно. Лейден знал, что Ольга Ивановна никогда в его тетради не заглядывает, с ужасом подумал: что, если б она прочла! «Я так люблю ее, что не хотел бы ее огорчать и пустяками, а теперь сделал *это!* И даже не мучает совесть»... Он всё же кое-что записал: слова выходили литературные, новомодные: «любовный чад», «любовный угар», — он таких слов терпеть не мог, но трудно было найти другие для того, что у него было с Роксоланой в первую

неделю. На море не качало ни разу, были разные мифологические острова, необыкновенные виды, в дороге полагалось рано вставать и поздно ложиться. Они поздно вставали и рано ложились.

В молодости Лейден вел обычную жизнь холостых мужчин и считал себя опытным человеком. Но по тому, что он в дневнике называл «техникой любви», он не встречал женщин, приближавшихся к Роксолане. Особенностью ее при этом была «внутренняя бесчувственность», — он и тут другого слова для дневника не нашел. Всё это ей видимо наскучило, она просто выполняла обязанность, за которую ей платили деньги. «Верно и выполняет лучше или хуже в зависимости от того, сколько ей платят». Лейден ее спрашивал, любит ли она его, однако никаких иллюзий не имел; да и спрашивал больше от скуки, от того, что надо же было с ней хоть немного разговаривать. «Она «любит», как Бордони поет: «Мастер без страсти»... С тех пор, как он стал Би-Шаром, мысли и чувства у самого Константина Платоновича приняли циничный характер, прежде совершенно ему не свойственный.

В разговорах с Роксоланой его удивляло то, что она все поступки людей неизменно приписывала денежным соображениям и делала это без малейшего порицания: очевидно, считала это вполне естественным и законным. Роксолана рассказывала ему о своей долгой связи с инглезом, фамилию которого не помнила. «Хороший человек, ах, какой хороший! Он страсть меня любил. А я его до сих пор люблю», — говорила она поглядывая на Лейдена: в ее нехитрую тактику входило возбуждать в нем ревность. — «Ну, а потом узнала его жена. Она богатая, ах, какая богатая! Имения, дом, гро́ши, всё у них было! Что же ему было делать? У него и свои гро́ши были да гораздо меньше. Понятное дело, он к ней ушел, а меня бросил... Много пил вина. Вот в Италии, говорят, хорошее вино. Ах, какой инглез был хороший! Ну, щедрый не щедрый, потому что и самому ведь нуж-

но, зачем же отдавать лишнее? Он знал, что может другую иметь дешевле. Я ведь дорогая, да зато стою. Инглез мне больше дал, чем ты до сих пор, да ведь ты мне будешь давать дальше много. Я не люблю, когда дают мало. А твоя жена не знает, и ты ей не говори. А она верно старая. А если спросит, куда ушли гро́ши, ты скажи, ну, что потерял в торговле или на улице украли. Ах, как у нас крадут в Галате, ну все просто удивляются».

Разговаривать с ней было скучновато. Шутки она понимала с большим трудом и не скоро. Раз вечером они сидели на палубе; Роксолана глядела на небо, лениво думая о своих делах. — «Милая, ты не смотри на звезды: всё равно я тебе их подарить не могу», — сказал Лейден, выдав за свою шутку слова, сказанные любовнице каким-то английским лордом. Она долго не могла понять: — «Конечно, не можешь. Как же можно подарить звезду? Она на небе». Всё же, когда Лейден, зевая, разъяснил ей остроту, Роксолана посмеялась. — «Что ж, это ничего, — сказала она. — А вот ты в Италии сейчас дай мне гро́ши, мне много надо купить, ну ничего нет».

«Что с нее взять? — записал в дневник Лейден. — Громадное большинство незначительных людей находят, что счастье в деньгах. Они этого не говорят, они, вернее, даже и не думают этого, но живут так, как если бы это было общепризнанной истиной. Я говорил Тятеньке, что критерий человека в том, какое место деньги занимают в его жизни. Но так ли это? Слишком многим выдающимся людям были присущи поразительные, почти наивные алчность и скупость. А у нее прямо разгораются глаза, когда она видит золото. Надо тщательно его от нее скрывать... Да, странная и нехорошая вышла история. Правда, вернусь в Киев, всё как рукой снимет, будет полная перемена. Вот как Фруассар в своей хронике представлял себе 100-летнюю войну с английской точки зрения, пока жил в Англии, и с

французской после того, как вернулся во Францию».

Вечером он как-то читал наизусть Роксолане стихи киевского поэта Андрея Подолинского: «Нет, душистых струй Востока — Мне противен тонкий яд, — Разве б гурии Пророка — Принесли свой аромат, — Разве б в знойном аромате — Талисманом я владел, — Чтобы жар твоих объятий — Никогда не охладел»... Она ничего не понимала, но слушала не без удовольствия. Константин Платонович, морщась, вспомнил, что эти стихи Подолинский читал у них в доме на Шелковичной: Лилю до того отослали спать; Ольга Ивановна неуверенно восхищалась.

Всё же, в первое время Лейден пытался «добраться и до души Роксоланы» (так писал в своем дневнике). Но ни до чего он не добрался, никакой души не нашел. «Я не назвал бы ее Би-Шаркой, — писал он, — только потому, что она вообще не понимает разницы между добром и злом. И ведь таковы еще миллионы, десятки миллионов людей. О них, по той глубокой тьме, в которой они родились, даже нельзя сказать: «К добру и злу постыдно равнодушны», как у нас горланил Вася».

Лермонтовскую «Думу» часто декламировал один из приятелей Лили. Обо всем, связанном с домом, с дочерью и особенно с женой, Константин Платонович вспоминал с ужасом. Но вспоминал он об этом не часто: прежде не подозревал, что не думать — так легко. И всё яснее чувствовал, что нисколько не хотел бы вычеркнуть из своей жизни эту новую страницу. «Уж очень много выдумывали о совести и раскаяньи разные богословы и драматурги»... Особенно легко было ни о чем неприятном не думать за вином. На пароходе были и дузика, и тенедос, и крепкое тяжелое английское пиво. Роксолана пила еще лучше, чем он.

Красавицей Роксолану он по-прежнему не считал, но ее голос действовал на него неотразимо. «Странно, что у нее и голос, и глаза выражают прямо противоположное ее мнимой «душе». И вздор вообще, будто они

у людей что-то выражают. У Петра Игнатьевича голос очень хороший, а лоб сделал бы честь Канту или Спинозе, и это не мешает ему быть болваном и прохвостом»... Лейден вспомнил, что при первой встрече с Ольгой Ивановной его тоже поразил и привлек ее мелодический голос. «Сопоставление гадкое и оскорбительное для Оли. Но я *посмел* это вспомнить — и почему же я рад, что посмел?»

Характер у Роксоланы был доброжелательный и услужливый. На пароходе был какой-то одинокий старичек. Роксолана с ним познакомилась и на второй день, увидев, что у него болтаются на жилете пуговицы, предложила пришить их. — «Что ж, он старый и один, этого не дай Бог, — объяснила она Лейдену, — А нитки в Галате плохие. А ну если я буду старая и одна?» Константин Платонович видел, что ее профессия кажется ей совершенно естественной и нисколько не дурной. «Если б только она поменьше врала... Впрочем, не мне теперь ее этим попрекать: сколько придется врать мне!.. Ян, конечно, никому не скажет ни слова, но вдруг встретят другие? Разболтают просто по любви к сплетням, даже не по злобе»... Страшным образом, несмотря на свой новый цинизм, Лейден, с той поры, как стал Би-Шаром, думал о людях снисходительнее и больше никому не желал смерти. «Впрочем, кого же мы можем встретить во Флоренции? А ежели встретим, я объясню, что это случайная попутчица по пароходу, и тотчас перееду с ней в другой город». О том, что дела у него именно во Флоренции, он даже не подумал.

Накануне приезда в Италию Константин Платонович за обедом не стал пить и, не ожидая кофе, ушел один в каюту. Роксолана осталась со старичком. В каюте Лейден немного полежал, затем встал и написал в дневнике: «Неужели была ошибкой вся жизнь, построенная на Ба-Шаровском начале? Ведь всё-таки жизнь превратилась в обман! Конечно, не навсегда. Другие, даже старые, люди не придают значения таким похожде-

ниям. Но что если я в самом деле внезапно сошел с ума? И даже не совсем ведь и внезапно. Тятенька давно — полушутливо, однако не совсем шутливо — говорит, что я сумасшедший. Может быть, какая-то темная наследственность осталась у меня в крови, как верно была у моего родственника Штааля. Разве мы что-либо об этом знаем? Хорошо же тогда мое «Константинопольское чудо»! Оно, значит, проявило душевную болезнь».

VIII

Тициан девяноста семи лет отроду сказал, будто только теперь начал понимать, что такое живопись.

Из старого словаря

При первом знакомстве Флоренция не очень его поразила. Он ожидал большего. Остановились они в старой гостинице на Лонгарно. Роксолане она не понравилась.

— И комната у грека была больше, и кровать лучше, смотри, какая эта твердая! — сказала она, садясь на кровать, Теперь они чаще говорили по-французски. — Кровать это самое важное. У грека были шкапы, а мне нечего было вешать. А здесь один шкапчик. Куда я дену всё, что ты мне купишь?

— Да этому дому верно лет триста.

— Что ж тут хорошего? Оттого и плохо, что лет триста. Что старое, всё плохое. И люди так... Ты с хозяином не торговался, он дешевле уступил бы. Пустил бы меня поторговаться. Ты не умеешь.

— Не умею. Вот и за тебя переплатил.

— Переезжать не стоит. Ты пойдешь мыться? Верно, опять на целый час? Хорошо, я пока выну вещи. Ах, мало у меня вещей...

— Неужели ты не видишь, как здесь всё прекрасно?

— Что прекрасного? Да если дом прекрасный, то ведь он не мой.

— Смотри, какой вид.

— Самый обыкновенный вид. Река узенькая, вода грязная. Разве в Константинополе такая вода? Неужели это вправду такой важный город?

— Один из самых прекрасных городов мира.

— У нас в Пере теперь строится дом в четыре этажа! Когда я себе построю дом, то у меня будет настоящий дом, хороший, светлый. И у меня будет свой сад с грушами. Ах, как я люблю груши! И непременно чтоб были свои... Ты скажи хозяину, что ты не рассчитал, ты их денег не знаешь. Он должен уступить. Париж верно совсем другой город, — критиковала она, впрочем очень благодушно: была еще веселее обычного. — У вас в Киеве есть груши?

Площадь собора понравилась и ей, тут были хорошие магазины. Расспрашивала Лейдена, сколько в городе жителей, много ли иностранцев, особенно англичан. Потребовала, чтобы он тотчас повел ее в самый лучший ресторан. Аппетит у нее был необыкновенный. В ресторане она обрадовалась тому, что на карте так много блюд. Названия были длинные и звучные. Роксолана просила его переводить. Константин Платонович читал по-итальянски свободно, но и сам плохо понимал, что такое разные «Tartufi alla parmigiana», «Beccatichi con polenta», «Nodini vitello alla pizzaiola». Она всё запоминала. Способности к иностранным языкам у нее были очень большие.

— А это что такое? В плетеных бутылочках? Неужели вино? — радостно спросила она. — Закажи это вино, вот эту корзинку побольше! Мы с тобой ее всю выпьем. Я так рада, что мы здесь! Это не беда, что город дрянной. Увидишь, как будет хорошо! Ты доволен, что ты со мной? Правда, я симпатичная?

Константин Платонович подтвердил, что очень доволен, но подтвердил без жара. Роксолана несколько встревожилась. «Ох, скоро бросит!»

— Может, ты о жене думаешь? Да ведь она старая... Ну, хорошо, не сердись, я не буду говорить о твоей жене. — Закажи мне еще одно сладкое. Я съела Crema caramella, а теперь я хочу еще Gelato di Crema, выговорила она уже на память, не заглядывая в карту. —И выпьем потом еще вина. Вот он хвалил Valpolicella, посмотрим, что это такое.

Пообедав, они вышли на улицу, где тоже были магазины. Роксолана стала вздыхать. Оказалось, что ей нужно решительно всё.

— Ты султан, я твоя невольница, и помни же, что султаны очень щедрые. Они своим женам привозили целые грузы на верблюдах, — говорила она, смеясь. Ее смех действовал на него всё-таки уже меньше, чем в первые дни. «Ну, на верблюдах, это ты ври больше!» — подумал Константин Платонович. Когда они вернулись домой, он мысленно сосчитал, сколько истратил за день; при ней считать открыто ему казалось неудобным. Роксолана в первый день, в Константинополе, спросила, сколько у него денег. Он ответил уклончиво. Теперь спросила опять.

— А тебе зачем знать? Хватит.

— Да ты не бойся. Я никогда не ворую, — сказала она просто и с гордостью, точно все другие воровали.

— Слава Богу.

— Ты можешь не запирать, ничего не возьму. Просить буду, а сама не возьму. Это опасно, в тюрьму посадят, сколько я таких случаев знаю! — говорила она. — Ты пожалуешься?

— Непременно пожалуюсь.

— А ты сам мне давай. Мне нужны деньги. Ах, как мне нужны деньги! Когда я буду богата, я уеду в Париж. Ты со мной не поедешь?

— Да ты ведь еще не богата.

Он, разумеется, не сомневался, что они скоро расстанутся. То, что она об этом говорила, как о чем-то само собой разумеющемся, было и неприятно, и успокоительно.

На следующий день он занялся делами, побывал в разных местах, накупил книг, навел справки. Когда он вернулся домой, как было условлено, в пять часов, Роксоланы не было. Константин Платонович испугался: «Неужто удрала!» Но она скоро вернулась, нагруженная покупками. Истратила всё, что он ей утром дал. Сказала, что всё это были самые необходимые вещи и что ей нужно еще многое другое.

— Меня уже все понимали! А то пальцами показывала. И я много выторговала, правду говорю! Увидишь, что я скоро буду говорить по-итальянски! А кофе в Стамбуле гораздо лучше. И я уже видела одну гадалку. Она понимает по-французски. Я к ней зайду? Ты дашь мне деньги?

— Зачем тебе гадалка?

— Как зачем? Я сама гадалка, да еще не такая хорошая. Надо посмотреть, как эта работает, какая у нея квартира. Я буду знаменитая гадалка.

— Такая была во Франции, мадмуазель Ленорман.

— Как же, самая первая. У нее сам Наполеон бывал, и все. Она умерла. Вот и я хочу быть такой. А ты дай мне денег, чтобы учиться. Эта берет по золотому, — сказала Роксолана, сильно преувеличив цифру. — Два-три раза схожу и всему научусь. Хорошо?

— Хорошо. Только не завтра. Завтра пойдем осматривать музеи. Там Тициан, Тинторетто, столько других.

— Пойдем осматривать музеи, — тотчас согласилась она. — Я знаю, здесь все осматривают. Надо, так надо. А рахат-лукума здесь нет. Не знают, дураки, что это такое!

В музеях Роксолана делала тоже не очень интерес-

ные замечания. Погуляв с час по залам, объявила, что устала и уйдет: еще надо кое-что купить.

— Через два часа мы встретимся у того дворца, на котором башня не посредине, а съехала на бок. В Турции за такую штуку, верно, посадили бы подрядчика на кол.

— У Палаццо Веккио? Хорошо, — сказал Лейден и дал ей не очень охотно еще три золотых.

«Угар» и «чад» проходили. «Да, я стар... Поздно», — думал он.

Через несколько дней он снова зашел в музей. Один портрет привлек его внимание. Изображен был человек средних лет, весь в черном, с цепью на шее, с вьющимися темными волосами, с усами рыжеватого цвета. В правой руке он держал перчатку. «На кого это он похож?» — спросил себя Лейден почему-то с тревожным недоумением. Подошел поближе, взглянул на надпись: «Tiziano (Vecellio), 1477-1576, Ritratto d'ignoto». «Портрет неизвестного»? Похож, — но не могу вспомнить, на кого. Как будто по виду русский!» Он отошел, еще побродил по залам, спустился к выходу, стал натягивать перчатку, которую держал в руке, и ахнул: «Неизвестный» был похож на него самого! Константин Платонович снял перчатку, снова поднялся, разыскал портрет и долго на него смотрел. «Странно! Только волос больше, а так точно с меня писано!»

Это его озадачило. Как многие иностранцы, впервые приезжающие во Флоренцию, он вначале чувствовал себя итальянцем эпохи Возрождения. «Да что же собственно тут невозможного?» — подумал Лейден. — «Согласно Платону, души, отбывшие кару *там,* возвращаются на землю и вселяются в новых людей. Помнится, Платон говорит, что душа вселяется в такого человека, который напоминает ей ее прежнего носителя. В меня могла перейти душа Тициановского Igonto... В кого-то переселится моя душа после моей смерти? По разным философским и религиозным учениям вселен-

ная не вечна, она рано или поздно погибнет. Как же может быть вечной душа в ограниченном по времени космосе?»

За ужином Роксолана — уже не в первый раз — почувствовала, что с русским стариком скучновато. Константин Платонович смотрел на нее и думал, в *чьем* теле могла находиться ее душа в ту пору, когда жил Тициановский «Неизвестный».

Он еще раза два заходил в эту залу картинной галерии и долго смотрел на неизвестного человека в черном. Купил какую-то книгу о Тициане. Книга была длинная и ученая, делила, как водится творчество художника на периоды, Константин Платонович этого вообще не любил; не очень понимал, чем один период отличается от другого, думал, что не очень понимает это и автор, и что можно было бы так же хорошо поделить Тициана на периоды по-иному. Он не дочитал книги, не нашел в прочтенной части ничего о «Портрете неизвестного» и решил, что верно этот портрет принадлежит к последнему периоду. Автор книги говорил, что великий художник совершенствовался до конца своих дней, что никто другой так не умел выражать невыразимое. Хотя последние слова как будто не имели никакого смысла, Лейден долго над ними думал. «Прочту всё в Киеве, разберусь. Здесь надо читать об агрономии»...

На другой день он зашел в музей под вечер. Посетителей уже не пускали, но он дал начай сторожу. При вечернем свете лицо Неизвестного показалось ему страшным. «Ох, какой был Би-Шар! И как будто не совсем душевно здоровый!» — подумал Лейден.

Его прежняя мнительность увеличилась во Флоренции и приняла иную форму. В ресторанах он иногда оглядывался, подозрительно смотрел на людей, сидевших сзади, и почему-то старался запомнить их лица и приметы. Ложась спать в гостинице, запирал дверь на ключ, а иногда, уже после того, как они гасили свет,

снова вставал, наощупь подходил к двери и проверял: уж не забыл ли запереть? Роксолана в темноте старалась понять, что он делает и зачем: «Верно, очень много денег». Она догадывалась, что деньги у него в черном чемодане, которого он никогда при ней не открывал. Впрочем, она одобряла его осторожность: Флоренция ей не внушала доверия, она боялась воров и разбойников.

Как-то ночью — странным образом впервые — ему пришло в голову, что, быть может, Роксолана больна. «Да, разумеется! — с ужасом подумал он, — на Востоке эти болезни особенно распространены! Господи, как же я раньше не подумал! Если так, что я буду делать? Не возвращаться же тогда в Киев! Только и останется пустить в лоб пулю!»... Он не спал всю ночь. Пойти к врачу было совестно. Утром побежал в библиотеку, достал медицинские книги, стал рассчитывать дни, — выходило, что не заболел.

В ресторане они выпили с Роксоланой три бутылки. Он по-русски, чтобы не понял лакей, всё рассказал ей, глядя на нее с тревогой. Она не удивилась, — по-видимому, в этом для нее нового ничего не было, — но совершенно его успокоила. В восторге он вдруг расхохотался. Она сначала была довольна, что он повеселел; затем смех его ей не очень понравился. Тем не менее и она смеялась.

— Это что ж, ничаво. А ты меня спросил бы. А я сказала бы тебе правду: теперь ведь всё равно. А я знаю, что многие боятся. Инглез тоже боялся. Нет, будь спокойный. И я тебя люблю. Ну, вези меня в Россию.

— Вот еще что выдумала!

— А почему нет? Ты боишься, что твоя жена будет на меня злая? — У него дернулось лицо. Она все же досказала. А отчего она будет злая? Я тебя люблю, а ты любишь ее, значит я буду ее любить. А если ну не хочешь, то мы ей не скажем. Я инглеза страсть любила,

и его жена не скоро узнала. А зачем жене знать? Если она злая, то еще глаза выцарапает. Ведь ваш город большой? У нас есть Галата, Стамбул, Пера. Вот и у вас верно так. Если жена живет в Пере, я буду жить в Стамбуле. А ты мне купишь там домик. С женой ты будешь утром, а ко мне приходи вечером. А может, и у вас можно будет гадать?

— Перестань говорить чепуху!

Она вздохнула.

— Вот и инглез сердился. Ты, говорил, азиатская, ты не понимаешь мораль. Это он такое слово говорил. А я ну ему говорю: «Если ты понимашь мораль, зачем ты меня купил?» Так сердился, так сердился! Хороший был инглез, я так его любила.

— Вот и об инглезе перестань болтать!.. В Россию тебя никогда и не пустили бы. Для этого нужен паспорт.

— За грóши пустят, — убежденно сказала она. Лейден знал, что, по ее глубокому убеждению, за деньги можно добиться решительно всего.

— Нет, у нас не пустят.

Она вздохнула еще тяжелее.

— К вам меня не пускают, в Париж тебя не пускают. А куда я денусь, если ну, ты меня бросишь? Ты ведь меня увез.

— Я тебя отправлю обратно. Куплю тебе билет.

— Нет, я обратно не хочу. Если уехала, то надо в Париж. Отсюда ведь гораздо ближе. А ты мне дашь половину твоих грóшей и я поеду в Париж. Только еще не скоро... Подари мне золотой. Ах, я нашла одну лавку! Такая дешевая, я теперь буду там все покупать.

Она в самом деле больше ничего не покупала в центре города, в больших новых магазинах. Предпочитала лавки Старого Моста и маленьких кривых улиц вокруг Дворца Питти; говорила, что они похожи на Галату. Торговалась бесконечно, по-восточному, выхо-

дила, возвращалась опять. В лавках ее уже знали, посмеивались над ней, но видимо любили ее.

Как-то утром лакей вместе с кофе принес Лейдену два письма. Оба были из дому. Он изменился в лице. Руки у него немного дрожали. С первых строк он успокоился и стал читать, нервно оглядываясь на Роксолану. Она с любопытством на него смотрела, намазывая булочку густыми слоями масла и варенья.

В первом письме Ольга Ивановна в самых нежных выраженьях упрашивала мужа оставаться заграницей сколько ему понадобится.

— «Я знаю, — писала она, — ты верно задержался бы для своих дел, ежели б не думал, что нам с Lиленькой очень скучно. Правда, что мы без тебя скучаем, но это не беда. Самое важное это твои занятья. А уж беспокоиться о нас ты совсем не беспокойся. Холера, слава Богу, кончилась, за прошлый месяц было только два случая, и далеко от нас, на Подоле. Тятенька бывает каждый день, заботится о нас как родной, спасибо ему, хоть Лиля говорит, что он ей надоел, старый. Да ей, может, и я надоела? Другие тоже часто бывают, редко когда к столу нет двух-трех человек, и уж вторую рюмку всегда пьют за тебя. За кого первую, ты понимаешь: уж так полагется, хотя что я без тебя? Итак, ты не волнуйся, а ежели к лету, избави Бог, холера возобновится, то ведь к лету ты уже будешь с нами», — вскользь, без вопросительного знака спрашивала Ольга Ивановна.

Она длинно, не очень толково, писала о делах, о плантациях, об его покупках и делала вид, будто этим интересуется. Сообщала, сколько у них уходит денег: уходило мало, раз в пять меньше, чем тратил он. Описывала их жизнь. Они были приглашены к Дараганам на danses parlantes и на маскарад. «Лиля играла посольшу царицы Чечевицы, премило играла и имела большой успех. Тятенька изображал Министра публичных мраков. А мне предлагали играть Зарю с розовыми

пальцами, я конечно отказалась: уж какая я там Заря! Старуха совсем. И пальцы не розовые, особенно после того как мы готовили с Ульяной воскресный обед на шесть человек. Этот маскарад был поставлен при дворе. Государь играл коменданта, Наследник плац-майора, а Государыня камеристку царицы Чечевицы. Лиленька веселилась так, что смотреть было любо. Так жаль, что тебя не было».

Во втором письме Ольга Ивановна сообщала, что в Киев приехал Виер. «Сказал, что у тебя вид был хороший, что ты доволен поездкой. Я так была рада! Передал мне записку от тебя. Я и без твоей записки предложила бы ему остановиться у нас. Хотя в доме две дамы без мужчины, но ничего неприличного тут нет. Нас, слава Богу, все знают, он был вроде как твой воспитанник, да и у других живут гости. Ян совсем не постарел за четыре года, только возмужал и такой же красивый («ты ведь знаешь, что для меня из мужчин только ты и есть», — вставила, преодолев застенчивость, Ольга Ивановна). А гоноровый он еще пуще прежнего. Я звала его и завтракать, и обедать, и ужинать. Куда там, хоть верно у него денег, как кот наплакал. А как обедает, так приносит нам обеим цветы! Только неловко другим гостям. Не будет же Тятенька нам давать букеты! Лиленьке Ян очень понравился, она ведь едва его помнила. Он с ней обращается совсем как с взрослой, называет ее «мадмуазель Лиля» или «Елизавета Константиновна», ей натурально лестно. А вот ты мне скажи, что делать, если он попросит взаймы? Конечно, надо будет дать, но сколько? Триста? Пятьсот? Пока он и не думал просить. Я ведь только так спрашиваю, на всякий случай, может, совсем и не попросит. Да твой ответ и не поспел бы. Ян просил меня не говорить никому, что он был во Ф.». — Константин Платонович понял, что тут конспирация: его жена не хотела написать «во Франции». — «Так, конечно, догадаться невозможно», — улыбаясь, подумал он. Хотя

вести все были приятные и успокоительные, ему было мучительно читать эти письма.

— Это от твоей старухи? Прочти, что она пишет, — спросила Роксолана, принимаясь за третью булочку (им всегда приносили четыре и, по молчаливому соглашению, она из них съедала три). Он зашипел на нее так, что она испуганно отшатнулась.

Чтобы не проводить всего дня с Роксоланой, он ездил за город, изучал цветоводство. Она бегала по лавкам, ходила к гадалке. Гадалка попросила у нее золотой, чтобы показать монету одному знаменитому колдуну: тот произнесет важное заклинание, и ей тогда будет большое счастье во всех делах. Роксолана идею занесла в память, но золотого не дала.

Днем она в кондитерских пила шоколад и уписывала пирожные. От них прямо переходила в ресторанах на Antipasti, затем на основательные блюда. Пили они по-прежнему много, но Роксолана заявила, что больше дорогих вин не хочет. Теперь она заказывала caraffa grande местного вина, иногда предлагала даже заказать caraffa media, но кончалось обычно тем, что они выпивали два, а то и три графина. После обеда сидели в кофейных. Он еще пытался заинтересовать ее Флоренцией. Объяснил как-то, что вон на том месте, против их ресторана, был сожжен Савонарола. Это ее не заинтересовало: сама видела, как казнят людей. Всё же спросила, кто он был и за что его сожгли. Узнав, что за обличение пороков и разврата, только презрительно усмехнулась.

— Верно сам тайком всё делал. Все вы одинаковые. Как, ты говоришь, его звали?

— Савонаролой. Вот ты хочешь быть знаменитой гадалкой, а ничему не учишься, — сказал Лейден. «Хорошо бы, если б она по вечерам читала и не морочила мне голову», — подумал он. — Ленорман всё знала. Вам надо знать, кто такой каждый.

— Чтобы учиться, надо деньги иметь, а у меня остался один золотой. А ты прав! Тогда учи меня.

— Нет, я учить не могу, — поспешил отказаться он. — Но я тебе куплю книги. Увидишь, как это тебе будет полезно. И ты должна читать французскую газету.

Книги вообще приводили ее в уныние; не любила, чтобы и он читал. Однако соображение Лейдена показалось ей основательным. Он купил ей несколько подходивших, по его мнению, фарнцузских книг. Говорила она по-французски свободно, но всему научилась по слуху. Теперь стала читать и кое-как понимала, с каждым днем всё лучше.

— Сегодня я сорок минут читала! — говорила она ему с торжеством. — В кондитерской сидела и читала. Если еще что-нибудь нужно прочесть, ты купи. А кто такой князь Ме... князь Меттерних? — спросила она. — Его тут не любят! Говорят, тиран. Тиран это всё равно, что янычар?

— Да, вроде этого.

— И вашего царя тоже не любят. Будем, говорят, с ними воевать. Уже по всей Италии беспорядки.

Ему совершенно всё равно было о чем говорить с Роксоланой, и он объяснял ей, как умел, политическое положение в Европе, впрочем не очень интересовавшее и его самого.

Лейден приобрел немало книг и для себя, — то самое, что полагалось читать во Флоренции: Боккаччо, Виллани, Сципионе Аммирато, какие-то старые хроники, а также разные исторические «новеллы», которые пишутся об Италии, об особенно поэтических ее городах, наезжими иностранными писателями. Действие этих новелл происходило в Венеции, во Флоренции, в Сиене, в Равенне, действующие лица все были титулованные, с очень звучными именами. Были в новеллах и Мост вздохов, и инквизиционный трибунал, и кардиналы, и наемные убийцы, были постоялые дворы,

где знатные синьоры пили фалернское или салернское вино, где жадный и глупый трактирщик забавлял их подобострастными шуточками, а они ему бросали кошельки с цехинами. Цехинов у синьоров было, несмотря на их расточительность, сколько угодно, никто из них не болел дурными болезнями, не бывало у них ни желудочных болей, ни камней в мочевом пузыре, ни даже простого бронхита. Большинство из них совершало разные злодеяния. «Неужто когда-то все были Би-Шары? — думал Лейден. — А у поэтов принято осуждать именно наше поколение! Да вот тот же Лермонтов. — Он опять вспомнил «Думу». — «Меж тем под бременем познанья и сомненья»!.. Да это была бы высокая похвала, если бы была правда. Только всё это ложь и вздор: в том и беда, что ни познанья, ни сомненья у нашего поколенья не было, а уж у его гвардейского общества всего менее. Много он, Лермонтов, написал вздора, хоть и был гений. Когда было ему лет семнадцать, писал божественные стихи, «Ангел», «Парус», а как стал гвардейцем, то сочинил «Маскарад», детский вздор, читать без смеха нельзя. Что надо писать писателям? «То соблазнительная повесть — Сокрытых дел и тайных дум». Это так. А как надо писать? Скверно написаны все эти «новеллы»! Ничего в них страшного нет. То ли дело Священное писание! «И сказал Самсон: умри, душа моя, с филистимлянами!» Вот это страшно, и к этому ничего не прибавишь! Быть может, так надо и умирать: один из лучших способов, великая сила — ненависть».

Спал он худо и просыпался всегда в тяжелом настроении духа. Иногда рано утром, когда Роксолана еще спала, Лейден тихонько подходил к шкапчику, где у него хранилась бутылка с очень крепким итальянским ликером, и с жадностью отпивал прямо из бутылки большой глоток. На полчаса становилось легче, потом тоска усиливалась.

Раз как-то, выпив рано утром еще больше обычно-

го, он закашлялся и присел на стул, тревожно глядя на кровать, — как бы не проснулась Роксолана. Вдруг ему показалось, что рядом с ней кто-то лежит. Было полутемно, она всегда закрывала ставни — как Ольга Ивановна. Он вгляделся. С кровати поднялся тициановский Неизвестный. Лейден не испугался и даже не встревожился: смотрел на него, точно спрашивая: «ну, и что же?» Через минуту он пришел в себя. Константин Платонович не «протирал глаза», как полагалось, но почувствовал, что у него сильное сердцебиение. «Слишком много проглотил ликера в один прием. Да и начитался всякой дряни!»

В этот день он стал читать «Декамерона»: по репутации книги надеялся, что она развлечет его, наведет веселое, жизнерадостно-циничное настроение, теперь ему нравившееся. Начал с середины, с более коротких рассказов. Читал еще свободнее, чем хроники: латинская конструкция фраз облегчала ему чтение, хотя почему-то его раздражала. Но рассказы показались ему скучноватыми. Герои, правда, были легкомысленные, веселые люди, но *род* их легкомыслия и веселья был слишком от него далек. «Преувеличен и Боккаччо, как всё классическое», — думал он. Затем стал читать с первых страниц. Высокий стиль «Введения», столь непохожий на всю книгу, описание чумы, напротив, поразили его. «Сколько доблестных мужчин, сколько красавиц, сколько юношей, которых Галиен, Гиппократ, Эскулап признали бы совершенно здоровыми, утром завтракали с родными или друзьями, а вечером в другом мире ужинали с пращурами!..»

«Как будто я стал восприимчивее к искусству? — думал он. — Или, скорее, просто приближается смерть, а я еще не нашел способа с этим примириться, вот одного из тех пяти или шести возможных. Если человек ни одного для себя не нашел, то ему и жить было не для чего...»

IX

> Свобода воли и необходимость одинаково непостижимы. Две противоположные и исключающие друг друга системы теоретически имеют равные шансы. Но на практике свойственное нам сознание нравственного закона, которое, без моральной свободы человека, было бы ложным императивом, дает решительное превосходство доктрине свободы над доктриной рока.
>
> Гамильтон

Он возвращался домой только к обеду, — остальное время отдавал делам и библиотеке. Роксолана ничего против этого не имела. За обедом оба зевали, а после обеда уж совсем было нечего делать. Она впрочем ничего не имела и против того, чтобы в десятом часу ложиться спать. Была не очень довольна русским стариком. Деньги он, правда, давал, но небольшими суммами (всё-таки отложила она немало). Главное же, ей стало казаться, что старик понемногу сходит с ума. По ночам он часто вскрикивал так сильно и страшно, что она просыпалась в ужасе, а за стеной просыпались жильцы, очевидно прислушивались, затем что-то бормотали. Попрежнему изумляло ее и то, что он по утрам и по вечерам мылся каждый раз около часа, ходил по несколько раз в неделю в баню и ее заставлял ходить. Но ей итальянские бани не нравились: где уж до константинопольских: «Тут скорее испачкаешься. А моются часто только, которые грязные. Мне не нужно»... Иногда Лейден днем, наяву, долго изумленно на нее смотрел так, точно не знал, кто она. «А не пора ли от него уйти, хотя он добрый»? — спрашивала себя Роксолана. Ей всё больше хотелось уехать в Париж. Тайком от Лейдена она наводила справки.

Как-то сидя в кофейной на набережной, он стал читать только что купленную, верно десятую по счету, новеллу. Главным ее действующим лицом был фло-

рентийский граф Герардо делла Герардеска, имевший великолепный родовой дворец, построенный Арнольфо ди Камбио. Граф был необыкновенно хорош собой, умен, образован, он обольстил и Монну Бианкину, и Монну Эммелину, и еще каких-то монн. Оружием граф владел так, что на дуэлях неизменно закалывал на смерть своих противников или выбивал из их рук шпагу, а сам оставался цел без единой царапины. Враги подсылали к нему убийц, их он тоже обезоруживал, угрозами и цехинами заставлял их служить себе и убивать его врагов. Из Флоренции граф отправился в Венецию с соблазненной Монной Бианкиной да Сассоферрато. Она была ангел, но страстно любила злого графа. В Венеции они посетили Тициана, — о котором в новелле иностранного автора сообщалось всё то, что можно было прочесть в любом справочнике. Девяностовосьмилетний художник утопал в роскоши и славе. Короли умоляли его писать их портреты. Карл V поднял кисть, выпавшую из рук старца, а недовольным придворным сказал: «Я могу создать сколько мне угодно герцогов, но создать нового Тициана я не могу». Граф Герардо делла Герардеска объявил Монне Бианкине да Сассоферрато, что хочет заказать Тициану ее портрет. Но на самом деле цель его поездки была другая: он слышал, что у ученика Тициана, у знаменитого художника Тинторетто, есть шестнадцатилетняя дочь. Об ее красоте и талантах много говорили в Италии; знатоки восторженно предсказывали, что Мариетта Тинторетто затмит своего отца.

Константин Платонович зевнул, заказал себе еще графин вина и задумался. «Пора, пора возвращаться в Россию. Везде плохо, кроме, быть может, Константинополя, да и там ведь не всегда бывает солнечная вакханалия». Однако Киев был *свой*. В Киеве также, хотя и гораздо реже, с ним случалось то, что он теперь называл черной меланхолией; но он выходил из своего кабинета, и на него *всё-таки* действовали уютная семейная

обстановка, милое лицо жены, веселый смех дочери, даже собиравшиеся к обеду надоевшие гости, с одними и теми же шутками, приветствиями, прибаутками. Действовал и вид прекрасно накрытого стола в ярко освещенной столовой, особенно же вид бутылок, на которые ласково поглядывали приглашенные. «Лучшая музыка — звон стаканов», — говорил Раблэ. Вино, правда, есть и здесь, и даже получше... В Вене пробуду недолго. Но как же отделаться от Роксоланы по хорошему? Сколько ей дать?»

Он впрочем чувствовал, что и с Роксоланой расстаться будет больно. «Вот уж тогда всё будет кончено: никаких *похождений* больше вообще в жизни не случится, будет семья, будут дела, плантации, обеды, разговоры с Тятенькой. Граф Герардо делла Герардеска взял от жизни больше», — подумал он со вздохом и снова принялся читать.

Граф вскользь спросил Тициана, как поживает его ученик. Великий старец пришел в ярость: он больше не хотел слышать о Тинторетто, в котором видел опаснейшего соперника своей славе. Найти Мариетту в Венеции было не трудно, но как раз началась страшная чума 1576 года. Она была описана в новелле в стиле «Введения» Боккаччо. Все спасались бегством. Граф, Монна Бианкина и Тициан бежали вместе. В Серравалле они попали в такую гущу беглецов, что престарелый художник не решился продолжать путь. Он вернулся в свой венецианский дворец, заболел чумой и умер. Скорбь по случаю его кончины была так велика, что, в изъятие из общего правила о погребении чумных, власти разрешили торжественные похороны, и всё население города, пренебрегая опасностью заразы, пришло отдать последний долг Тициану.

На этом графин кончился. Константину Платоновичу больше читать не хотелось. Он перелистал конец, узнал, что граф Герардо делла Герардеска по дороге продал свою душу дьяволу. Затем он умер вместе с

Монной Бианкиной да Сассоферрато и, как язычник по духу, попал на суд Эака, Миноса и Радаманта. Лейдена удивило, что автор новеллы знал эти имена из его любимого мифа.

Теперь уже по привычке Константин Платонович зашел в галерею взглянуть на портрет Неизвестного человека. «Вот верно граф Герардо был именно такой», — подумал он. Долго смотрел на портрет пристальным взглядом. Таким же взглядом смотрел на него и Неизвестный. Искоса поглядывал на Лейдена с другого конца комнаты и сторож: он уже много раз замечал, что этот иностранец очень долго стоит перед тициановским портретом, а на все остальное не смотрит. Сторож прослужил в музее всю жизнь и таких посетителей опасался. Но иностранец ничего дурного не делал. Константину Платоновичу вдруг показалось, что Неизвестный человек «прищурился и усмехнулся». — «Да нет, это из «Пиковой Дамы»!» — сказал он себе. Знал эту повесть почти наизусть. «Все мы отравлены литературой... Я слишком много пью»... Он хотел было вернуться в ту же кофейную, подумал, что неловко будет перед лакеем, зашел в другую и заказал вместо белого вина красное, — так как будто было лучше, — пьяницы кажется все пьют одно и то же. И опять ему пришли в голову те же мысли, ему самому очень надоевшие, простые, скучные: «Какой я Би-Шар? Просто развратный киевский старичок. Давно пора вернуться на Шелковичную улицу, там лежать на полатях, как говорит Тятенька, вести с Тятенькой ученые разговоры, слушать его осточертевшие шуточки и цитаты, изображать нежную любовь к Оле и Лиле, стараться прожить, по Ба-Шаровски, возможно дольше. Конечно, нет ни малейших оснований считать себя Би-Шаром из-за пошлейшего похождения, которое было бы пустяком, если б не странная обстановка, если б случилось оно не в Константинополе, а на Крещатике. У Петра Ивановича были десятки таких похождений, он ими очень гордится, — как в душе и я. Мне понравилось

считать себя Би-Шаром, но собственно Би-Шар это просто псевдоним негодяя. Когда же я стал негодяем? Неужели был всегда? Как же назвать иначе старого человека, который бросил жену и дочь вдобавок в зараженном городе, живет во Флоренции, где никакой холеры нет, пьянствует на их деньги с любовницей»... Лейден вдруг впервые подумал, что в его состояние, т. е. и в деньги, которые он тратит в Италии, небольшой частью входит приданое, полученное им за Ольгой Ивановной. — «Как же не негодяй! Немногим лучше Петра Игнатьевича, пропади он пропадом... В Киеве скоро станет тепло, эпидемия усилится, что́, если, не дай Господи, они заболеют! Что я себе тогда скажу? И хорош же я, если сейчас подумал о том, «что я себе скажу»!.. Нет, нет, надо бросить Роксолану, да и скучно с ней еще в сто раз больше, чем с Олей. Побываю на трех оставшихся плантациях, — все же я кое-чему здесь для дела и научился, — и вернусь на Шелковичную улицу уже навсегда, твердо зная, что весь смысл моей жизни в том, чтобы отсрочить Аскольдову могилу».

Вечером этого дня Лейден был молчалив. Роксолана заговаривала с ним, он не отвечал. «Совсем помешался, еще задушит!» — подумала она.

Заснул он тотчас; в кровати задыхался и вскрикивал.

Он ночью *знал,* что спит и что видит сон, старался даже все запомнить. Однако, утром, когда просыпался, все бывшее во сне еще казалось ему совершенно ясным и разумным. Затем он подумал, что просыпается, что, к счастью, все это вздор: никакой серы, никакого Герардо, никаких Миносов! И, раскрыв глаза, с невыразимым облегчением увидел, что действительно не умер. «Слава Богу! Еще поживу!..» А еще через минуту он уже и помнил все не вполне твердо. Тем не менее решил занести сон в тетрадку. Для этого почти невольно освободил его от тех нелепостей, которые бывают во всех снах, даже в самых вещих и литературных. Впоследствии он не мог

сказать с точностью, что именно ему снилось и что было им присочинено или приукрашено. По записи выходило как будто так:

Суд происходил в подземном царстве, не очень далеко от того места, где с грохотом и дымом текут, пылая, волны Флегетона. Но дабы близостью мучений не пугать людей, быть может ни в чем не повинных, судья теней, добрый Эак, настоял на том, чтобы высокие троны судей были поставлены за холмом, на достаточном расстоянии от страшной реки. Его товарищ, злой Минос, возражал: «Пусть подышат серой, а там будет видно, кто виновен, кто нет». Третий судья Радамант, полубог справедливый и блюститель законов, дал перевес мнению Эака, и троны были поставлены у подножья холма: до судимых не доносились ни запах серы, ни вопли осужденных. Рай был, тоже по воле Эака, далеко, чтобы не возбуждать ложных надежд. Ближе всего было Чистилище, расположенное не на Этне, вопреки указанию многих древних мудрецов, а у мутных, темных, скучных вод Ахерона, не очень далеко от того места, откуда каждый вечер отплывала барка Харона, увозившая осужденных в ад.

Обычно дело каждого смертного обсуждалось совместно тремя судьями и решалось большинством голосов. Но в дни чумы так много было дел, что судьи поделили их между собой. Кто не знал за собой больших грехов, был спокоен и ждал терпеливо своей очереди. Большие же грешники волновались: как бы попасть к Эаку, как бы избежать Миноса!

Минос пользовался общей ненавистью. Все знали, что он вымещает на людях те обиды, которые сам испытал в жизни. В ту пору, когда он был царем на Крите, его жена Пазифая влюбилась в быка: Посейдон, бывший в ссоре с Миносом, подсунул ей самого красивого быка на земле. Она полюбила его и родила чудовище, каждый год пожиравшее в лабиринте семь девушек и семь юношей. В Греции вполголоса говорили, что Минос

был собственно назначен лишь присматривать за осужденными, а обязанность судьи присвоил себе незаконно. Боялись его все необычайно, особенно после того, когда он поднимался на поверхность земли: если ему там попадался хотя бы смирный вол, не было предела его свирепости.

К судейскому столу, за которым сидели судьи с ключами и с жезлами, вел узкий и длинный коридор. Продвигались в нем медленно, теперь многое зависело от счастья: выйдешь из коридора в ту минуту, когда освободился Минос, попадешь на беду к нему; а если свободен Эак, будет тебя судить он. В ту минуту когда перед столом предстала Монна Бианкина да Сассоферрато, а за ней граф Герардо делла Герардеска, Эак только что кого-то отправил в рай и смотрел с благожелательной улыбкой на Монну Бианкину. Но, как будто по ошибке, Монна Бианкина скользнула к Миносу, — он как раз что-то подписывал. Бывший критский царь этого не заметил, или не понял, что нарушено правило: не привык к тому, чтобы кто-либо добровольно выбирал его судьей.

И Эак, и Радамант немедленно отправили бы Монну Бианкину в рай, так как она была женщина великой доброты и, кроме любви к злому человеку, не значилось за ней никаких грехов. Минос в рай женщин почти никогда не отправлял, но и ему в конце разбора пришлось сделать для нее исключение. — «В рай!» — угрюмо сказал он.

Эак же, по своей доброте и мудрости, не послал в ад Герардо делла Герардеска. Как ни велики были грехи и преступления этого смертного, он отправил его в Чистилище: по своей доброте и мудрости, не обрек бы на вечные адские муки и самого Сатану.

В Чистилище вел длинный подземный коридор с запущенным, во многих местах провалившимся, каменным полом. Его стены поросли мхом, кое-где были дыры, слева врывался удушливый дым, иногда сверкали

адские молнии. Освещался коридор длинным рядом огневых часов. По правую же его сторону тянулись одно за другим огромные отделения Чистилища. Были тут отделения гордецов, скряг, лжецов, завистников, людей, преступных уверенностью, людей, ненавидевших земную жизнь, революционеров, не достигших власти; революционеры же достигшие власти почти все были в Аду, как и множество других людей, имевших большую власть в надземной жизни; в рай никто из них не попадал.

Заключенным в Чистилище не объявлялось, сколько времени они в нем пробудут, и каждый раз, как сгорал до конца прут огневых часов, у них пробуждалась надежда, что пришел час их освобождения. У главного входа метал кости Случай, самый страшный из богов, его боялся сам Зевс. В Чистилище не было ни костров, ни пыток. Был лишь туман, и нечего было делать, нечего желать, так как скоро исчезала и надежда. Царила вечная Скука с измерявшими Время огневыми часами.

Рай же состоял не из двадцати восьми отделов, как говорили мудрецы в индийских землях Азии, и не из семидесяти великолепных дворцов, как учили, тоже в Азии, другие мудрецы. Лишь один из величайших мудрецов древности предвидел и описал все верно. В божественных садах, на берегу четырех рек, росло восемьсот тысяч дивных деревьев. У пышных хрустальных ворот встречали бывших смертных и провожали их к дереву вечной жизни. Там они получали миртовые жезлы и впредь в течение вечности могли наслаждаться заслуженным счастьем. В одной реке тек мед, в другой молоко, в третьей благоуханья, в четвертой нектар. И бывшая смертная Монна Бианкина заняла место в шатре на берегу четвертой реки. Она заливалась слезами. Другие обитатели рая были уверены, что это слезы счастья. Она же к нектару и не прикасалась. Думала только, что здесь избрал бы себе место Герардо, ибо он не любил ни благоуханий, ни молока, ни меда.

В райских садах тоже были часы и огневые, и водяные, и песочные. Но кроме Монны Бианкины на них никто и не смотрел. Она же не принимала участия в великих радостях бывших смертных. Всё сидела на берегу четвертой реки или бродила по бесконечным садам. И так прошли годы или, быть может, десятилетия.

И как-то раз подошла она к воротам: не к тем, через которые была введена. У ворот никого не была. Некого было сторожить: какой же безумец уйдет из рая? За воротами открывался мрачный каменный коридор. Она оглянулась и побежала.

В ту же секунду метнулись кости в руках Случая. Сгорел огненный прут. И великий грешник, бывший в надземной жизни графом Герардо делла Герардеска, услышал бегущие шаги и увидел, что растилается туман. К нему бежала женщина, на лице которой была написана светлая, безмерная, неслыханная радость.

Но он не улыбнулся Монне Бианкине. Души их по-разному помрачились от Скуки.

X

Rien ne remplace l'attachement, la délicatesse et le dévouement d'une femme.*)

Chateaubriand

Тоскливое чувство, которое испытывала Ольга Ивановна со дня отъезда мужа, еще усиливалось от того, что грустно была настроена и Лиля. Она почти забросила музыку, читала гораздо меньше и была неразговорчива. Большую часть дня проводила дома, а когда играла на пианофорте, то лишь «Песни без слов» только что скончавшегося Мендельсона. «Неужто вправду

*) «Ничто не может заменить привязанность, деликатность, преданность женщины».

влюбилась в Яна! Вот не хватало! И зачем он к нам приехал?» — думала Ольга Ивановна. Виер вел себя так корректно, что упрекнуть его ни в чем было невозможно. Он и сам был не в духе. Теперь обедал у них реже прежнего. Начал замечать, что было бы лучше и для него, и для Лили, если б они встречались не часто.

Жизнь Ольги Ивановны, ее душевный мир были просты и счастливы. Она всем желала добра. Это общее расположение к людям покидало ее очень редко, — когда кто-либо проявлял дурные чувства к ее мужу и дочери и о них злословил (от добрых знакомых это часто становилось ей известным). Но и таким людям она скоро прощала, и ей опять было хорошо. Ольга Ивановна считала некоторым грехом, что желая всем добра, она всё же еще гораздо больше желала добра Константину Платоновичу и Лиле. Тут, она знала, ничего поделать с собой нельзя, да собственно и незачем: грех всё же невелик.

Если Ольга Ивановна чем-либо вообще гордилась, то разве тем, что устроила мужу и дочери хорошую, приятную, уютную жизнь. Это признавали все и всецело приписывали заслугу одной Ольге Ивановне: «При характере херсонского помещика, к ним никто и на порог не показался бы». Благодаря ей, их дом на Шелковичной был одним из самых милых и уютных в Киеве. — «Вы и не знаете, Олечка, как у вас всем хорошо и какие вы с Лилькой счастливицы!» — часто говорил ей Тятенька, и всегда у нее лицо при этом светлело. «Правду он говорит: нам хорошо, очень хорошо. Обо мне что же думать, а Лиленька действительно счастлива. Да и Косте грех жаловаться», — думала она прежде, еще совсем недавно.

Теперь, как она ни избегала разговоров — и даже мыслей — обо всём неприятном, у нее не было счастливого спокойствия или его стало много меньше. Больше всего, еще до отъезда мужа за границу, она тревожилась об его здоровье. Хотя он и не был с ней

вполне откровенен и не говорил ей того, что, случалось, говорил Тятеньке, Ольга Ивановна чувствовала, что с ним творится что-то неладное.

Вторая же серьезная забота была о будущем дочери. Лиля и ее мать без слов понимали друг друга. Ольга Ивановна видела, что Лиле решительно нечего делать. Учителя давали ей уроки музыки и рисованья. Играла она недурно, рисовала и писала акварелью плохо; всё это отнимало часа три в день, не больше. Так же, как это было ясно Лиле, понимала и Ольга Ивановна: занятие лишь одно — ждать «суженого», — особенно тягостное потому, что его надо тщательно скрывать от всех и даже, в меру возможного, от себя самой. Чужие мужчины, бездетные дамы только улыбались, — между тем это была настоящая драма, которая могла кончиться хорошо, но могла кончиться и плохо, — самым плохим концом было бы отсутствие конца. Ольга Ивановна, как почти все женщины, в свое время через это прошла и теперь не так уж радостно вспоминала о «невозвратной девичьей поре»: «Да, было хорошо, но слава Богу, что кончилось. Что со мной было бы, если б не Костя!» Иногда у Лили глаза бывали заплаканные. Между тем надо было делать вид, что всё идет отлично, а *суженый*, конечно, откуда-то возьмется, когда придет час. Но какой это час и как он придет, ни мать ни дочь не знали. Особенно им бывало тяжело, когда выходила замуж девушка еще моложе Лили. Если на балу или на спектакле Лиля имела особенный успех, мать и дочь немного успокаивались: будет жених, не может не быть. Но и балы, и спектакли бывали не так часто. Поговорить обо всем этом с Константином Платоновичем было невозможно: в отличие от многих отцов, он от такого разговора тотчас пришел бы в ярость.

Особенностью девичьего ремесла было то, что в обычное время, т. е. когда никаких молодых людей в виду не было, делать ничего не приходилось: ремесло было эпизодическое. В Киеве подходящих женихов для

Лили Ольги Ивановна не видела. *Блестящие* молодые люди, очевидно, жили в столицах, а другие были уж слишком не блестящи. Тятенька драму понимал, хотя по деликатности с Ольгой Ивановной о ней не заговаривал. Он старался приводить в их дом каких-то молодых людей, — лучше бы не приводил.

Приданое у Лили было не очень большое; она была по общему отзыву дам, «хорошенькая, но не красавица»; все признавали, что у нее милый характер. Испытанное средство уже было пущено в ход: они вдвоем съездили в Петербург, и ничего не вышло. Ольга Ивановна понимала свою ошибку: необходимо было сначала как-нибудь обзавестись в столице связями; кроме того нужно было пробыть там не три недели, а по крайней мере, три месяца. «Один раз не удалось, выйдет в другой», — утешала себя она. Теперь, по ее мнению, следовало торопиться: еще два-три года и Лиля будет занесена в число старых дев. В прошлом году они вдобавок отправились в Петербург слишком поздно: *сезон* уже кончался. Гораздо лучше было бы поехать ранней весной.

Дело осложнилось заграничным путешествием Константина Платоновича. Как ни мало смыслила Ольга Ивановна в делах своего мужа, он всё-таки поручил эти дела ей, и уехать до его возвращения она не могла. Не очень удобно было бы оставить его и тотчас после возвращения. Хотя она просила мужа остаться за границей подольше, в душе Ольга Ивановна надеялась, что он вернется в конце зимы. Но из полученного ею из Флоренции письма как будто следовало (Константин Платонович писал не очень ясно), что его дела в Италии затягиваются.

Новая дружба Лили с Ниной давала выход. Барышни и их матери переписывались. Почти в каждом письме Лейденов звали в столицу погостить. «А отчего бы Лиленьке и не поехать без меня? — как-то спросила себя Ольга Ивановна. С той поры эта мысль ее не остав-

ляла. — Конечно, гостить три месяца у друзей не очень удобно. Правда, я накупила бы им всяких подарков, и они так милы и гостеприимны». Было еще и другое препятствие: Нина собственно находилась точно в таком же положении, как Лиля; она тоже *занималась* тем, что ждала жениха; тоже была хорошенькая, но не красавица, со средствами, но не богатая. «Послать туда Лилю — точно отбивать хлеб». После долгих колебаний, Ольга Ивановна написала своей подруге дипломатическое письмо. Сообщала, что им обеим очень хотелось бы к ним приехать, но она из-за дел мужа уехать не может. «Не подбрасывать же вам Лильку одну? Правда, есть оказия, чтобы ее к вам доставить, да это ведь невозможно, как вы обе ни милы. Она всё-таки была бы вам в тягость так долго», — писала Ольга Ивановна.

Ответ пришел точно такой, какого она ждала: Лилю восторженно просили приехать в гости: «Уж если ты, Оленька, никак не можешь, что ж делать? И как тебе не стыдно писать, будто Лиленька «будет в тягость»! Ниночка уже сошла с ума от радости, и мы обе умоляем об одном, чтобы Лиленька у нас осталась подольше, до самого июня. А в следующем году, Бог даст, отдадим вам визит в Киев. Мы давно хотим увидеть «мать русских городов».

До февраля о поездке Лили не говорили. Все киевские барышни и их родители оживлялись, когда дело подходило к Контрактам. Но в 1848 году съезд оказался небольшим, отчасти из-за приютившейся где-то на зиму холеры.

Разумеется, не могло быть и речи о том, чтобы Лиля путешествовала одна. «Оказией» был Тятенька. По мнению Ольги Ивановны, он должен был ухватиться за ее план. «А если он скоро захочет вернуться в Киев, то я съежу за Лилей в июне».

Тятенька действительно пришел в восторг.

— Да я отвезу Лильку, за чем дело стало? Я и сам давно хочу проветриться. И по делам нужно! — сказал

он. Ольга Ивановна догадывалась, что дела он тут же выдумал. Однако жертва со стороны Тятеньки была не велика: он каждые два-три года уезжал в столицы и чрезвычайно это любил. Для роли chaperon он годился превосходно по возрасту, по своей совершенной порядочности, потому, что очень любил Лилю и считался «как бы вторым отцом». Тятенька говорил, что в Петербурге, в отличие от Киева, сезон прекрасный. Итальянская опера чудесна, — правда, Рубини и Виардо больше нет, но Борси и Фреццолини поют одна лучше другой, так что образовались две партии: фреццолинисты и борсисты.

О поездке Лили следовало бы, конечно, запросить отца. Это было трудно: ответ пришел бы не скоро и, вероятно, был бы отрицательный. В разлуке со своими Константин Платонович не пришел бы в ярость, но, догадавшись, в чем дело, написал бы: «Зачем Лиленьке ехать одной и бросать тебя? Вот я вернусь, тогда осенью или будущей весной съездим втроем». Ольга Ивановна и сама немного колебалась: что Лиля будет там делать без нее? Хотя *занятие* ни с какими трудами не было связано, всё же мать для него была очень полезна. «Ну, просто перезнакомится с молодыми людьми, отведет с Ниной душу».

Приняв решение, Ольга Ивановна прибегла к своей обычной тактике: она делала с дочерью, что хотела, но незаметно выходило так, будто Лиля всё решает самостоятельно.

— А что, Лиленька, если б ты в самом деле приняла их приглашение? Они такие милые. Тятенька туда собирается, он мог бы тебя отвезти. Опера там нынче превосходная. Говорят, эта Фреццолини всех сводит с ума.

— Нет, я не поеду, — сказала кратко Лиля. Ей показалось, что мать хочет увезти ее от мосье Яна.

— А почему бы нет, Лиленька? Ты ведь очень любишь и Петербург, и Нину. Тятеньке нужно туда по

делам. Он, конечно, будет жить в гостинице. Почему бы тебе не съездить?

— Так, просто не хочется. Хочу быть с вами... И не могу я вас оставить одну без папы, — сказала Лиля. Очевидно, этот довод только что пришел ей в голову. Ольга Ивановна была им тронута; всё же ее беспокойство увеличилось. «Конечно, Ян! Так и есть!».

Быть может, начался бы разговор «начистоту», но вышла неожиданность. В этот день у них обедал Виер. За столом он со своей обычной учтивой улыбкой сказал, что, как ни хорош Киев и как ни приятно ему было пользоваться их гостеприимством, он на днях должен уехать.

Лиля помертвела. Мать старалась на нее не смотреть.

— Куда?

— В Пруссию.

— Вот как! Что ж так скоро?

— Пора. Дела.

— Значит, в Киеве вы все дела закончили?

— Закончил ли дела? Да, теперь все закончил. В Петербурге верно на неделю задержусь, а затем морем в Штеттин. К чему откладывать?

— Это правда, — сказал Тятенька. — Если дела кончены, то откладывать незачем. Правду говорят: годить только гадить. А в Питер мы могли бы поехать вместе, — добавил он. Ольга Ивановна с неудовольствием на него взглянула, но он этого не заметил. — Лилю зовут в Петербург, и мне тоже туда надо.

— Это было бы очень приятно.

Разговор перешел на Контракты, на холеру: в городе опять произошло несколько смертных случаев. Для Ольги Ивановны это был лишний довод, чтобы отправить Лилю на север.

В тот же день она с самым беззаботным видом снова спросила дочь:

— Что же, Лиленька, как же Петербург-то? Ведь надо им дать ответ.

— Да зачем же, мама, я поеду? — спросила Лиля, и Ольга Ивановна, с очень смешанными чувствами, почувствовала, что дело сделано. «Ну, что ж, ведь он туда только на неделю, да и едва ли будет ходить в чужой дом. Разве один раз зайдет с визитом».

— Как зачем? Развлечешься.

— А как же я вас оставлю?

— Как-нибудь, я не маленькая. Ты, конечно, старше, но я обойдусь без твоего надзора.

Лиля засмеялась и поцеловала мать.

Снег рано начал таять. Решено было путешествовать не в санях, а в карете, не на долгих; у Лейденов была только пара лошадей, для кареты требовалась в далекую поездку четверка. Ольга Ивановна приготовила много съестных припасов, но это было ничто по сравнению с тем, что приготовил Тятенька. Все только разводили руками, когда в дом стали привозить его корзины, бутылки, даже кадки с морожеными щами.

— Тятенька, да ведь это на полк солдат!

— Дай Бог, чтобы что-нибудь осталось через три-четыре станции.

Виер съестных припасов приготовить не мог, но купил несколько бутылок старого меда. В разговоре с Тятенькой он твердо поставил условие:

— Будем делить все расходы.

— Сделайте милость, пане Яне. Может, мне и за мою снедь купно с благодарностью заплатите?

— За вашу снедь вы денег не приняли бы, но расходы на лошадей, на ночлег будем делить.

— Ничего решительно против этого не имею... Пане Яне, вас за гордость черти припекут на том свете. Впрочем, вы в это не верите. А в чертей Товянского верите? — спросил Тятенька. Слухи о Товянском, в форме смешных анекдотов, уже дошли и до Киева. — Ну, не

буду, не сердитесь. Всё же странно, как у вас сразу в голове и революция, и Товянский.

— В этом ничего странного нет. Только спорить об этом не стоит, особенно в России.

В день отъезда Тятенька рано утром прикатил в своей бричке еще с какими-то припасами. Его дорожный наряд вызвал общее веселье. На нем под медвежьей шубой был яркий тулуп и коты с красной оторочкой. Перед дорогой все присели, затем долго, уже на улице, прощались. Ольга Ивановна и Лиля плакали.

— Ну, с Богом!

— Прощайте, Ольга Ивановна, еще раз от души вас благодарю за всё ваше милое гостеприимство, — сказал Виер, целуя ей руку.

— Не прощайте, а до скорого свиданья, — поправил Тятенька, три раза поцеловавшись с Ольгой Ивановной. — Дети мои, айда! Взбирайтесь, едем. Frisch in's Leben hinein! Дай нам, Боже, добрый путь! Олечка, дуся, не плачьте... Не забувайте мене. Пошли вам, Господи, усе добре!

— До свиданья, маменька, до свиданья... Скоро вернемся, маменька, — говорила в слезах Лиля. Теперь не назвала Ольгу Ивановну и «maman».

XI

Je meurs de soif auprès de la fontaine *).

Villon

Эта поездка из Киева в Петербург осталась одним из самых счастливых воспоминаний Лили. Впоследствии ей казалось, что Бог хотел ее побаловать перед большим несчастьем.

Она теперь находилась в обществе мосье Яна це-

*) «Я умираю от жажды вблизи фонтана».

лый день, — чего же можно было еще желать! Всё в дороге, даже неудобства, усталость, грязь, мелкие приключения, было для нее источником радости. Карета катила с горы несколько быстрее, чем полагалось. Лиля вскрикивала, хватала Виера за руку, затем весело хохотала над своим испугом. Им кланялись мужики, очевидно принимавшие их за местных бар, — ах, какие смешные и милые!

Тятенька никогда не мог пожаловаться на дурное настроение; теперь же ему была особенно приятна роль *отца* Лили. Она была на его попечении; он всё делал, чтобы ей было хорошо. Лиля знала его с раннего детства, он был такой же принадлежностью их дома, как няня, как Ульяна, как старая собака Шарик. Но только в этом путешествии она увидела, как мил может быть Тятенька.

И даже Виер повеселел после того, как они выехали за заставу.

У него была в Киеве еще одна, последняя, встреча с Зосей. Никакого разговора не вышло. Ему казалось, что он разговора и не хотел. Он простился с ней так, точно они должны были снова встретиться через неделю. Окончательно себе сказал, что всё тут было в деньгах. Для такого суждения собственно оснований не было: он видел, что она влюблена в своего жениха. Прежде Виер, случалось, как Лейден, думал, что погоня за деньгами (которую он иногда замечал даже у революционеров) может находить, если не оправдание, то смягчающее обстоятельство: человек хочет создать себе независимость для обеспечения личного достоинства; при полном отсутствии средств оно дается очень нелегко. Теперь он больше этого не находил: «И люди, стремящиеся к богатству, и люди, желающие только материальной независимости, стоют друг друга. Они те же бальзаковские персонажи. И если Бальзак прав, если Мирабо и Дантон были продажны, то они никак не великие люди. Действительно в пору Великой Революции

так или иначе продавались почти все. Помнится, бонапартовские революционные офицеры писали Директории: «Из всех животных самое отвратительное — король, самое подлое — придворный, а хуже их всех — священник». Слова и сами по себе глупые, вульгарные, ни о каком достоинстве не свидетельствующие. Позднее же эти люди стали герцогами, маршалами, верноподданными сначала Наполеона, затем «законного короля». И так будет всегда, пока существует их проклятый хозяйственный строй. Когда мы его уничтожим, люди станут чище. Бланки прав, во всём прав. Как только вернусь в Париж, отдам отчет князю Адаму, а затем навсегда к Бланки и уйду. У меня личного счастья не будет, и я для него не создан».

С Лилей он очень сблизился в Киеве именно потому, что об его женитьбе на ней не могло быть речи. Всё же он невольно, сам того не замечая, старался в разговорах с ней быть «интересным». Иногда с легкой таинственностью говорил ей о политических делах. Теперь ему было бы неприятно, если б она его считала торговым комиссионером. То жадное внимание, с каким его слушала Лиля, все больше на него действовало. Она же боялась, как бы он не счел ее глупенькой, и изо всех сил старалась ему сочувствовать.

Всю дорогу из Киева в Петербург они были в состоянии необычном. Тятенька скоро это заметил. Он считал Виера очень корректным и вдобавок холодным молодым человеком. Но из предосторожности — всё на его ответственности — предложил Лиле сидеть в карете справа от него:

— Я из нас самый важный, мне и полагается сидеть посредине. А тебе, Лилька, захочется вздремнуть, вот и прислонись головкой к стенке и спи, сколько хочешь.

— Ни за что! — сказала Лиля, впрочем без всякого умысла. — Посредине всегда сидят дамы.

— Хороша «дама»! — проворчал Тятенька, но не

настаивал. Ни разу не случилось, чтобы Лиля в карете задремала. Не спал даже он сам. Всю дорогу болтал, рассказывал смешные истории, кавказские или еврейские анекдоты. Почему-то старался говорить по-украински. Случалось даже пел малороссийские песни, которых знал немало. И анекдоты и песни у него были на разные случаи жизни. Когда въезжали в лес, Тятенька, притворяясь испуганным, говорил Лиле, что тут водятся разбойники. Лиля ахала, но знала, что мосье Ян ее спасет. А Тятенька, фальшивя, пел, к удовлетворению ямщика:

Зовут мене розбийником,
Кажуть, розбиваю.
Не убив же я никого,
Бо и сам душу маю.
А що визьму с богатого,
То вбогому даю,
А так гроши подиливши,
Всё ж, гриха не маю.

— Гей, дядьку, — говорил Тятенька слушавшему рассеянно Виеру. — Симпатичный розбийник, правда? Ну, так выпьем, пане Яне, за его здоровье. Зачем печален, вацпан? Щось не мило часом на свити, або що?

Он доставал бутылку, стаканчики на «пуклях» какой-то, по его словам, ашпурской работы, и пил сначала «за маму», потом «за папу», потом «так и быть, за тебя, Лилька», и «за тебя, пане Яне, хоть ты, по дьявольской твоей гордыне, этого не стоишь». Теперь он и Виеру говорил «ты», смягчая это словом «пан». «Ну, а естьли вы оба, дикари и грубияны, за меня тоста не предлагаете, то я сам за себя выпью. Будем здоровы». Ямщиков он щедро наделял едой, но водки им давал только по стаканчику; в большом количестве отпускал ее лишь тогда, когда подъезжали к гостинице на ночевку. Путешествовали они медленно: Тятенька уверял, что от быс-

трой езды делается каменная болезнь. Лиле же всё казалось слишком быстро, — она с тоской думала, что скоро это райское существование кончится. Лошадей они доставали везде: Тятенька обращался со смотрителями мастерски; их тоже угощал, либо «из благодарности», либо «чтобы подмаслить», — «не подмаслишь не поедешь».

Закуска в карете была, по его словам, не серьезным делом: главная еда была на станциях. Тятенька первым делом спрашивал трактирщика, есть ли баранина. Если была, то сам жарил шашлык, в ту пору еще мало известный за пределами Кавказа. Вертел над огнем мясо на железном пруте, говорил какие-то армянские или грузинские слова и давал пояснения обступавшим его людям. Когда же баранины не оказывалось, то с видом величайшего презрения спрашивал, что́ есть, действительно ли яйца свежие, действительно ли будет курица, а не старый петух. Выслушав с самым недоверчивым выражением клятвенные заверения — все самого лучшего качества, — заказывал обед. Если ждать приходилось долго и если содержатель трактира был еврей, Тятенька, хоть ничего против евреев не имел, говорил: «Чтобы вам вашего Мессию так долго ждать!» А когда бывал доволен, хвалил: «Яке смачне блюдо! И пейсаховки ще такой не було! Не корчма, а закуток эдемьский! Здоров був, пане Рабинович!» Не очень торговался, расплачиваясь, начай оставлял щедро, но кряхтел — «ох, крепко жамкнул!» — и декламировал: «О, деньги, деньги! Для чего — вы не всегда в моем кармане?»

В городах, где они останавливались на ночлег, он тотчас находил наименее плохую гостиницу. Всегда заказывал две комнаты, даже если были свободны три; Виера устраивал в своем номере на диване (из бережливости Виер соглашался), а Лилину комнату тщательно осматривал, посыпал кровать порошком, спрашивал слугу, кто соседи, проверял засовы, иногда подвигал к

двери комод. Затем уходил делать покупки и неизменно брал с собой Яна, под предлогом, что трудно одному всё нести. Свои запасы он начал пополнять еще с Чернигова. По пути рассказывал Виеру непристойные анекдоты: при Лиле нельзя было, а без них Тятеньке было бы трудно прожить неделю. К некоторому его удивлению, молодой поляк слушал без улыбки, а иногда и морщился.

— Да ты ведь, пане Яне, не монах, а фармазон, да еще вьюнош, — говорил, оправдываясь Тятенька. — Владимир Красное Солнышко, на что уж праведный человек, а был в молодости, как говорит современник, «несыт блуда». Что ж тут худого?

Еще неприятнее было то, что в лавках Виер отсчитывал ему половину истраченных денег. Этого Тятенька и вообще не любил, а тут платил *мальчишка*, у которого и денег, по-видимому, было совсем мало, хотя он путешествовал на счет иностранной фирмы.

— Да почему же половину! Чи не сором тоби, вацпане?Что ж, ты и за Лильку хочешь платить! Треть, так и быть, возьму, а больше не возьму!

— Дамы не платят.

Вернувшись в гостиницу, Тятенька выгружал еду, доставал бутылки, — при этом не то декламировал, не то пел: «Да он бочку вина берет под пазуху, — Да другую сороковку под другую, — Да и третью-то бочку да ногой катит...» Затем страшным голосом звал Лилю: «Ах, несчастная девчонка!..»

Лиля в своей комнате мылась с головы до ног, тщательно себя совершенствовала перед зеркалом и переодевалась. Она взяла с собой три дорожных платья, хотя Ольга Ивановна говорила, что и двух вполне достаточно. Но шубка была в дороге только одна. Мать настояла на том, чтобы вторую лучшую, спрятать в сундук для Петербурга. Между тем Лиля чувствовала, что Петербург ничто в сравнении с этим волшебным путешествием. Когда она, наконец, входила в комнату

мужчин, там уже стояли на столе самовар, бутылки и невообразимое количество еды.

Ну-с, задавим буканда. Пообедаем не «cito», но «jucunde», — говорил Тятенька.

И тотчас становилось гораздо веселее. За закуской он доказывал что русская водка самая лучшая в мире: «даже ваша, польская, хоть и хороша, да хуже, это, пане Яне, надо признать». За венгерским говорил: «Поляк, венгер то братанки — так до шабли, як до шклянки». Случалось, тайно отдавал хозяину остудить бутылку взятого из Киева шампанского; при ее появлении он наслаждался эффектом и, наливая вина Лиле, сообщал, что, по словам маркизы Помпадур, шампанское — единственное вино, которое хорошенькая женщина может пить, не становясь некрасивой.

— А впрочем, ты, Лилька, и ведать не ведаешь, какая такая маркиза Помпадур.

— Ну, вот еще! — возмущенно отвечала Лиля. — Она была любовницей...

— Не смей говорить такие слова! Фавориткой.

— Фавориткой одного французского короля.

— То-то. И вообще не смей у меня пакостить.

— Это значит: «говорить дерзости»? Вот нарочно возьму и буду пакостить.

— Не смеешь! Я теперь над тобой полный властелин. Как царь Алексей Михайлович, я «земель восточных, западных и северных отчич и дедич».

Ложился спать Тятенька рано и, к досаде Лили, заставлял ложиться Виера.

— А то шановний добродий меня разбудит, у меня очень чуткий сон, — говорил Тятенька, которого не могло бы разбудить сражение под окнами его комнаты. Его опыт говорил, что лучше не оставлять без надзора вдвоем молодых людей, даже очень хороших.

Общему прекрасному настроению способствовала теплая солнечная погода. Тятенька говорил, что только на Украине бывает такая в конце февраля:

— В Турции, в Италии солнца, понятное дело, еще больше, а неба такого и у них нет. Я напишу астроному Штруве, спрошу, как это выходит по-ихнему, по-ученому? И оцените вы, детки, эти тающие снежные ручейки! Они мертвого расшевелят!

— В Польше точно такие же.

— А ни-ни! А эти леса, рощи, поля! Нет уж, друже мий милый, мы их вам, панам, не отдадим. Себе дороже стоит, — говорил Тятенька. Виер не сердился: то ли не считал эти земли польскими, то ли не считал Тятеньку русским.

— Что и говорить, места красивые, но какая бедность! Взглянули бы вы на европейские деревни.

— Должен тебе ответом: я их видел. Они не намного богаче наших. Да и то, ведь вы, партажеры, хотите всё у всех отобрать. Говорят, у вас и жены будут общие, а?

Виер пожимал плечами. Считал, что вести с Тятенькой серьезный политический спор не стоит, но иногда, ради Лили, от своего правила отступал. Когда Виер сказал, что он последователь Бланки, Тятенька заинтересовался: кто такой? Этого имени он никогда не слышал; немецкие ведомости о таком не писали. Узнав сущность учения этого революционера, и то, что он недавно сидел или еще сидит в тюрьме, Тятенька раскрыл рот.

— Да он видно мамуля! — сказал Тятенька. Так в старину называли людей, которые совершенно не умели играть в карты и тем не менее вели большую игру.

— Мамуля? Это верно «дурак»? Бланки один из самых умных людей в Европе.

— Умнее князя Адама, пане ласкавый?

— Да, умнее.

— Умнее Товянского?.. Ну, не гляди, вацпан, на меня як вивк. Я ведь спрашиваю из любознания. Умнее Мардохая из «Тараса Бульбы»?

— Из «Тараса Бульбы»? Терпеть не могу эту не-

хорошую ерунду, которой вы почему-то восхищаетесь.

— Зать! — сказал Тятенька.

— Нам вообще трудно спорить. Кто-то из читавших Канта сказал, что политика еще может выдержать критику чистого разума, но не может вынести критики нечистого разума. А у вас в подходе к ней «нечистый разум».

— Есть грех, есть, — сказал Тятенька, засмеявшись. — А Гоголя не смей ругать. Он великий писатель, когда не очень умничает. Не надо, не надо умничать. Вот наш Грибоедов тоже прекраснейший писатель, а как себе умничаньем повредил! «Горе от ума»! Нет у него ни ума, ни горя. Его Чацкий так же глуп, как Фамусов, только поскучнее. А всё его «горе» в том, что дура Софья ему предпочла дурака Молчалина и что еще десяток дураков и дур распустили про него сплетню. Экое, подумаешь, великое несчастье!

— Так вы, правда, мосье Ян, *адгерент* Бланки? — спросила Лиля, слышавшая это слово и очень довольная тем, что его вспомнила.

— Да, мадмуазель Лиля. Но рассказывать об этом не надо.

— Я понимаю! Что вы!

— «Мадмуазель Лиля», «мадмуазель Лиля»! Лилька она, и кончено! — проворчал Тятенька. — А естьли человек сидит в тюрьме во Франции, да при нынешнем богоспасаемом короле, то, значит, явное дело, висельник.

— Висельник? Бывают висельники благороднейшие люди. Это зависит от того, кто и за что вешает.

Ну, хорошо, отдаю решпект, дуже ты разумный. Выпьем за его здоровье, пане Яне. Бланки так Бланки. «Niemesz bo rady dla duszy Kozaczey». Ох твоя гордость, вацпан! Ты и живешь для некрологии!

— Вот уж и в мыслях не имею! Я средний человек.

— Для некрологии живешь, для некрологии. Ну, и будет тебе некрология. А что в ней? Ерунда, братец, чистая ерунда.

К концу обеда Тятенька утомлялся и уже более вяло рассказывал о своих путешествиях:

— В Вене у меня была комната с собственной душей! Это очень просто: наливают в резервуар два ведра теплой воды, становишься под душу и пускаешь струю, какую хочешь. Истинное блаженство, но, говорят, пожилым людям вредно, а то я завел бы и у себя на Подоле. Верно врут. А как в Вене кормят! А какое кофе! Только у вас в Варшаве я пивал такое же.

Пообедав, он неизменно говорил: «Отчего казак гладок? Как поел, так и на бок», разваливался в кресле и засыпал «начерно», то есть перед настоящим сном в кровати. Лиля тогда вела с Виером волнующий разговор вполголоса. Иногда с улыбкой свидетельствующей о полной осведомленности, вскользь спрашивала его о парижских *лоретках*. Ей мучительно хотелось узнать о Зосе, но она понимала, что спрашивать нельзя, что он всё равно не ответит и рассердится. По-иному, но еще больше хотелось ей узнать, есть ли у него в Париже *связь*. Она раза два отдаленными намеками, с парижскими словами, давала ему понять, что уже *знает всё* (разумелись те тайны, которые она обсуждала с подругами). Но помимо того, что говорить об этом было очень стыдно, Лиля опасалась, что Тятенька не во время проснется, рассердится и долго будет орать, что поставит ее в угол.

Виера многое удивляло в дороге. Удивляло то, что при всей бедности населения, при всей убогости хат, еды везде было много. Эти крепостные люди питались обильнее, чем свободные европейцы. И даже по качеству, подававшиеся в трактирах блюда были недурны, лучше того, что он ел в дешевеньких ресторанах Парижа. Еще больше его удивляла музыкальность простого народа. Во всё время путешествия они точно не

выходили из концерта: не было остановки, на которой не играли бы — и недурно — на балалайках, на дудках, на гуслях. Еще лучше пели, хоть пение было своеобразное, не похожее на то, что он — гораздо реже — слышал во французских и немецких деревнях. «Странно! Если народ так музыкален, то почему же у них нет замечательных композиторов? Где их Россини и Мейерберы?» Виер всё ещё иногда утешал себя тем, что это были не русские, а хохлы, — не враги, а скорее собратья в борьбе.

Тятенька иногда под вечер зазывал крестьянок, угощал их и заставлял петь. Как-то на третий день их путешествия, для него по заказу девки пели одну из особенно нравившихся ему песен:

Ой, диво дивное, диво,
Пошли дивоньки на жниво,
Жнуть дивоньки жито, пшеныцю,
А парубоньки куколь, митлыцю.

Чого дивоньки красные?
Бо идять пироги мясные?
Маслом поливають,
Перцом посыпають.

А парубоньки блидные,
Бо идять пироги пистныи,
Золой-щелоком поливають,
И попелом посыпають.

— Ах, какие глупые слова! C'est bête à pleurer! — говорила Лиля, поглядывая на мосье Яна.

— Слова идиотские, а поют они право недурно.

— Прекрасные слова, мудрые слова! — возразил Тятенька. — Ты небось, Лилька, думаешь, что это хорошо, если дивонька блидная? Вздор, мать моя, вздор! У тебя у самой главная прелесть в румянце. И аппетит у тебя слава Богу! Скушала, матушка, три порции фар-

шированной щуки и отлично сделала! — дразнил он Лилю. Она краснела и оглядывалась на мосье Яна, который впрочем, к легкому ея разочарованию, тоже ел в дороге с большим аппетитом.

— Хорошая страна Малороссия! — сказал Виер. — Когда-то ее увижу снова? Завтра уже будем у кацапов.

— А ты оставайся, вацпане, в Киеве совсем. Опредилим тебя на службу, а? Честные чиновники везде на вес золота... Не слушай, Лилька, — вставил Тятенька и, наклонившись к Виеру, дыша на него вином, рассказал: — Недавно наш Безрукий говорит одному такому-сякому: «Ходят слухи, что вы берете взятки!» А тот преспокойно ему в ответ: «Не всякому слуху следует верить, ваше высокопревосходительство. Говорят, что вы в связи с моей женой, да я не верю?»

Лиля звонко расхохоталась. Она знала даму, о которой шла речь, и при встрече поглядывала на нее с любопытством и с испугом, как на Ганскую.

— Ты как, дерзкая девчонка, смеешь слушать то, что не для тебя мужчины говорят! Эх, в корчме в угол поставить нельзя! Вот возьму и не завещаю тебе моего достояния! И в Петербурге никуда тебя пускать не буду... А надо бы, ребята, сделать, чтобы приехать в Петербург во вторник. Понедельник тяжелый день, — сказал Тятенька, иногда, несмотря на свое вольнодумство, прикидывавшийся зачем-то суеверным.

— Ну, вот еще.

— Не говори, пане Яне, «ну, вот еще»: Бонапарт отложил переворот 18 брюмера на один день потому, что 17-го была пятница.

— Непременно отложим приезд, Тятенька, непременно! Я ужасно боюсь тяжелых дней! — с жаром солгала Лиля.

— Ну, ладно. Вот что, детки, спать пора. Идем, Вельзевул. Лилька, с почтением пребывать имею. Доброй ночи, поцелуй меня, — сказал Тятенька.

Малороссия кончилась. Стали исчезать белые хатки с садиками, становилось холоднее, послышалась чистая русская речь. Лиля сразу стала грустней.

Раз вечером Виер зашел в ее комнату: по ее просьбе, принес ей роман Жорж Занд. Постель уже была постлана, Лиля была в пеньюаре. Оставался он не более двух минут, хотя Тятенька уже спал.

— Я много ее читала. Ах, какая она замечательная писательница! — сказала очень смущенно Лиля.

— Она замечательный *человек,* — поправил Виер.

Больше ничего сказано не было. Уходя, он бросил на нее взгляд. Лиля легла и долго не могла заснуть от волнения. Глаза у нее блестели. «Что он хотел сказать этим взглядом? Какая я была? Как я на него смотрела? Он ли мне ответил глазами или я ему?.. Что, если б он в самом деле говорил мне Лиля! А я ему Ян?.. Какие у него заботы, какие волнения, если он *эмиссар!* Что, если его поймают и сошлют в Сибирь! Я брошу всё и пойду в цепях за ним!.. И остается теперь два дня, только два дня!..»

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

I-V

. . . .
. . . .

VI

...Но преизлиха насыщшемся сладости книжные.

Св. Илларион

В начале марта под вечер Лейден зашел за Роксоланой в кондитерскую и застал ее в волнении. Оказалось, что во Франции произошла революция.

— Мне сказала моя гадалка! И все говорят! Французский король бежал. Провозглашена *республика.* — Теперь Роксолана уже гораздо бойче произносила такие слова: чтение газет пошло ей впрок.

— Да тебе-то что за дело?

Она смущенно ему объяснила. Ей сказали, что сейчас во Францию пускают кого угодно, хотя бы и без паспорта. Кроме того, именно теперь настало время открыть в Париже кабинет. Мадмуазель Ленорман свою карьеру сделала потому, что во Франции была революция.

— Ах, вот оно что! — сказал Константин Платонович.

Они успели совсем надоесть друг другу. Лейден твердо решил в марте вернуться домой. Роксолана вздыхала и все больше хотела уехать от него в Париж как можно скорее. Он желал, чтобы она заговорила о разлуке первой. Она надеялась, что первым заговорит

он: тогда верно денег можно будет получить больше. Оба пускали в ход небольшие хитрости: Роксолана вскользь говорила о том, как хорошо ей было в Константинополе; Лейден тоже вскользь замечал, что, когда они познакомились, у нее не было ни гроша: да и так ли уж ей было хорошо, если она продавалась на рынке?

— Ну, что ж, ничего не поделаешь. Поезжай в Париж, — сказал он всё же с грустью. — Я дам тебе денег.

— Сколько у тебя осталось?

Он назвал немалую, но и не слишком крупную сумму.

— Я дам тебе половину, — сказал он. Роксолана просияла. Она долго обдумывала, сколько потребовать, собиралась запросить много, потом сделать скидку. Но он сразу предложил ей больше, чем она надеялась получить. По правилам надо было бы поторговаться. Однако Роксолана этого не сделала. «Верно, он врет, а всётаки он щедрый». Инглез дал меньше, а другие и ничего при прощаньи не давали. Она его поцеловала.

— Ты щедрый, а я люблю тебя. Ах, как жаль, что у тебя жена! Вот спасибо.

Оба почувствовали облегчение, особенно Константин Платонович. «Торг отнял бы последние следы поэзии, а так ли много ее и было?» — подумал он. Воспользовавшись тем, что она пошла за покупками, он выложил на стол из чемодана часть своего золота и спрятал всё остальное. Когда Роксолана вернулась, произошел дележ. Тут она его удивила и тронула: прослезилась и последний маленький столбик в пять монет нерешительно придвинула к его куче:

— Возьми... Это тебе... Тебе дальше ехать, вдруг еще останешься в дороге без денег... Ты щедрый, — говорила она сквозь слезы, опять целуя Константина Платоновича. Он был смущен. Поспорил, но она пяти золотых так назад и не взяла, хотя жертва далась ей не легко: видимо гордилась своим поступком.

Он объявил ей, что должен отлучиться: тоже надо что-то купить. Роксолана догадалась, обрадовалась, но не показала этого. Лейден отправился к ювелиру. По дороге он вспомнил, что москвичи подносили на прощанье знаменитым иностранным артисткам браслеты с дорогими камнями, названия которых выписывали первыми буквами слово «Москва»: малахит, опал, сапфир, калцедон, винис, аметист. «Какое же слово выписать? «Роксолана» очень длинно и камней на девять букв я не найду, да и слишком дорого будет стоить. «Константин» — еще хуже; не выгравировать ли на браслете месяц и число их встречи?» Но ювелир сказал, что этого скорее, чем в неделю, нельзя сделать. «Нет, долго», — подумал он и купил обыкновенное бриллиантовое кольцо; истратил двенадцать золотых, чтобы наказать себя за хитрость. «Значит, она на своей жертве сделала выгодное дело». Роксолана была довольна и собой, и им. В этот день — в самый необычный час — был «любовный угар». Затем он повел ее в ресторан и заказал для нее ее любимые блюда и вина. Сладких блюд на этот раз она съела три; думала, что скоро придется платить самой.

Были разговоры о том, что они непременно когда-нибудь встретятся опять.

— Я, может быть, через год-два приеду в Париж по делам, — говорил он.

— Значит, м о ж н о получить паспорт? — спросила она обиженно.

— Я буду хлопотать.

— А как ты меня там найдешь?

— Ты мне напиши твой адрес в Киев bureau restant. У нас это называется «до востребования».

— «До востребования», — повторила она и попросила, чтобы он ей записал эти два слова. Своего адреса он ей не дал, но она не обиделась. Ни инглез, ни другие ей никогда своих адресов не давали и все просили писать bureau restant.

Они, впрочем, пожили еще некоторое время во Флоренции. Роксолана, после легкого колебания, заказала себе несколько платьев. Разумеется, гораздо приятнее было бы заказать их в Париже, но здесь, она знала, и после раздела денег, заплатит русский старик. «Да и кто их знает, может, если революция, то и портнихи не шьют?.. Нет, верно портнихи шьют и в революцию». Лейден и сам ее упрашивал не торопиться: расставаться с ней навсегда оказалось не так легко, как он прежде думал, — слова «навсегда» и «никогда» были во всем для него самыми страшными из слов.

В последний день он особенно старался ее баловать. По своей привычке думать литературно, очень усилившейся в Италии, в иногда с ним случавшиеся минуты самообольщенья, даже говорил себе, что он, как сторож в камере заключенных, играет в карты с человеком, которого завтра казнят. Но тут же себе отвечал, что никакая казнь Роксолану, слава Богу, не ждет. «Может быть, она и рада, что расстается со мной. И права, что рада, я верно скоро совсем сойду с ума на загробной жизни», — думал Константин Платонович. От того, что он так много времени уделял мыслям о вещах потусторонних, Лейден, как иногда и прежде, испытывал что-то вроде гордости, точно это ему давало некоторый патент на духовное благородство.

На следующее утро он проводил Роксолану на почтовую станцию. Достал для нее самое лучшее место. Хотя еды, особенно сластей, она взяла с собой много, в последнюю минуту он купил ей еще винограда, который она особенно любила (говорила, впрочем, что константинопольский гораздо лучше итальянского). Роксолана плакала. Он смотрел на нее, стараясь навсегда запомнить ее лицо. Затем долго махал платком вслед карете. Затем вспомнил, что так же было в Киеве при прощании с женой.

«Ну, вот, и кончено!» — думал он, одновременно с грустью и с облегчением. Понимал, что никогда больше

Роксоланы не увидит. «Был вроде Би-Шара, а теперь опять Ба-Шар!» Чувстовал себя как те временные генералы в иностранных армиях, которые после окончания войны становятся снова полковниками; хотя ничего постыдного в этом нет, всё же несколько неловко: был генералом и больше не генерал. Он зашел в ресторан около Палаццо Веккио, где так часто обедал с Роксоланой. Лакей, давно оценивший его щедрость, почтительно справился, уж не больна ли синьора. — «Она уехала», — кратко ответил Лейден. На лице лакея выразилось не то сожаление, не то сочувствие. «Да, разжалован... Был ли я хоть счастлив в эти дни? Пожалуй, несколько дней. Да когда же я вообще был счастлив? В детстве? В ранней юности? Эти годы принято считать счастливыми, но это самообман: ясно помню, что я и тогда себя счастливым не чувствовал. Таким верно уродился. Было, конечно, больше физической бодрости, энергии, задора, только и всего. А счастье это другое. Не знал его, не знал. Что же это такое, если оно даже не сувенир?.. Сувенир тут не подходящее слово... Кажется, я стал в последнее время несколько путать слова. В почтовой конторе я думал, как неестественно звучит по-русски слово «почтальон»... Теперь уже и намека больше не будет ни на какое «счастье». Ненадолго же я помолодел от константинопольского чуда. Этакий Фауст, с кошельком вместо Мефистофеля... Я когда-то думал, что у Гете старый Фауст гораздо интереснее молодого...»

Вечером в кофейной он еще представлял себе, как Роксолана, одна, в неудобной, неуютной карете, едет в новую страну, где у нее никого нет. «Должно быть, жутко ей. Вспоминает обо мне? Может и плачет втихомолку? А скорее утешается: пересчитывает мысленно деньги. Всё-таки она очень добрая женщина. И вообще надо судить людей по лучшему, что в них есть. Человечество не так уж плохо. Правда, улучшить его не мешало бы. Было бы совсем хорошо, ежели б уменьшить

число прохвостов. Они, разумеется, исключение, но слишком много исключений»...

Всё с ним случившееся и теперь безвозвратно кончившееся, вдруг показалось ему необычайно глупым. «Особенно эти мои «угрызения совести»! Да с кем же этого не бывало! *От таких* угрызений совести пришлось бы повеситься всем мужьям! Господи, как глупо! Да пропади она в конце концов пропадом, эта Роксолана! Освежился похожденьицем, не заболел, не разорился, и слава Богу! — всё веселее думал он. — Да и ей незачем пропадать пропадом, дай ей Бог всего лучшего». Он вернулся в гостиницу.

Проснулся он рано, о Роксолане больше и не вспоминал. Заставил себя думать — с нежностью — об Ольге Ивановне. «Ведь когда-то я был в нее влюблен как сумасшедший. Этот волшебный замок не взорвался: он у меня... Опять не нахожу слова... Il s'est effrité... И так, конечно, бывает почти у всех. Однако в теории мой сон был верен: всё-таки самое высокое в мире беззаветная преданная любовь, она постоянная величина, а не переменная»... Константин Платонович вспомнил, что еще не купил своим подарков. Можно было опять зайти в магазин ювелира: однако ему — после похожденьица — было бы неприятно именно там купить подарки жене и дочери. Для Лили выбрал что-то из старинной раззолоченной флорентийской кожи. А Ольге Ивановне решил купить очень дорогой подарок в Вене.

О портрете он думал теперь иронически. «Что за вздор! Почему в самом деле душа какого-то Неизвестного эпохи Возрождения вдруг могла бы переселиться в тело почтенного киевского агронома, который на старости лет вообразил себя Би-Шаром. Таких Би-Шаров, ездящих по вечерам с дамами на Труханов остров, и в Киеве пруд пруди, и из них многие любят экзотику, восточных женщин, без всякого «константинопольского чуда»... Да и сон мой еще как понимать, если даже я не всё в нем сочинил? Любовь выше всего, но какая

любовь? Может, и «греховная» не меньше, чем «чистая», хотя бы они были даже отделимы одна от другой. И пора всю эту дурь выбить из головы. Билет взят, в Вене пробуду недолго и скоро буду в Киеве. Там начнется прежняя жизнь... Да вот в этом и беда, что прежняя. А то переменить? Нанять управляющего для плантаций и переехать в Петербург или в Москву? Там завести новый круг знакомых, — что ж всё Тятенька и другие, как он. Засесть за какую-либо метафизическую работу? Издателя не найду, так напечатаю на свои средства. Денег у меня ведь достаточно! И я «владею пером», — какое ужасное выражение, да и понятие».

Газет он не читал и не знал, что в Италии творится что-то тревожное. По улицам иногда проходили манифестанты, он поспешно от них уходил и совершенно ими не интересовался. Потерял также интерес и любовь к Флоренции.

Все же через несколько дней, накануне отъезда, он опять вечером зашел в музей и долго смотрел на Неизвестного. «Какие же у него глаза? Просто холодные или холодно-издевательские?.. Страшный был человек... И жизнь в ту пору была страшна, и город этот страшный, нет камня, не политого кровью. Везде жарились люди на кострах, везде работали застенки, везде были наемные и не-наемные убийцы, а мы, туристы, интересуемся архитектурой: «Ах, Брунеллески! Ах, я так люблю Арнольфо ди Камбио!» Да они-то, все эти Брунеллески, отлично знали, что будут застенки во дворцах, которые они строили, у людей, которые им платили, и им было совершенно всё равно. В них всех сидел Неизвестный, у кого больше, у кого меньше».

Он заказал в гостинице счет и расплатился. Начаи — сколько кому оставить — всегда были для Лейдена сложным вопросом: боялся, что оставляет слишком мало. Прислуга осталась, по-видимому, очень довольна, — «верно, другие оставляют вдвое меньше? Ну, Бог с ними, они бедняки». В ресторане Константин Платонович с

интересом изучал карту, колебался межу Raviolini alla Bolognese и Raviolini alla Parmigiana, хотя и не знал, в чем между ними разница, затем долго выбирал вино. Решил было выпить шампанского, хотя не очень любил это вино и обычно не оживлялся от него, а тяжелел. Но шампанское стоило очень дорого, он заказал Sorrento rosso frizzante, затем передумал, вернул лакея и велел принести Frascati bianco amabile. «Попробую, напоследок, какое еще такое amabile? Никогда не пил, в России не достанешь», — про себя бормотал он. За соседним столом пили каприйское вино Tiberio люди, показавшиеся ему подозрительными. «Самые Тибериевы морды!» — в несвойственной ему вульгарной форме подумал Константин Платонович. Он засиделся за обедом, так как деваться ему было некуда, и выпив полторы бутылки вина, что-то говорил вслух сам с собой. Лакей на него поглядывал.

Домой Лейден отправился через старый город. Эти темные кривые улицы были очень неуютны. В глубине каменных провалов нижних этажей горели огоньки. Роксолана думала, что здесь живут разбойники. «Вот какой-нибудь выскочит и пырнет ножом!» — говорила она, ускоряла шаги и брала его за руку. — «Ну вот, какие там разбойники! Самые обыкновенные портные или сапожники», — беззаботно отвечал он. Однако в этот вечер ему вдруг стало жутко. Сердце у него забилось. Он подошел к одному провалу, издали показавшемуся ему пустым. «Верно, отлучился хозяин, а фонарик оставил? Как-то они живут?» Лейден заглянул вглубь длинной узкой комнаты. В самом конце ее что-то вдруг зашевелилось: очень узкое, очень высокое. «Что такое?!» Узкая высокая фигура взмахнула в воздухе чем-то длинным и быстро пошла вперед. У входа человек с цепью на шее повалился на землю, срезанный косою. Лейден вскрикнул и побежал по улице. Слышал за собой крики и хохот.

Дома он поспешно поднялся по лестнице, вошел в

свою комнату, выпил ликера и скоро успокоился. «Какой вздор! Нервы расшатались, это правда. Верно, я просто не выношу одиночества?» Эта мысль показалась ему обидной: еще лет десять тому назад путешествовал один, никогда одиночества не чувствуя и не скучая. «Слава Богу, что уезжаю. В Киеве и здоровье поправится». Ему еще пришло в голову: вчера где-то в окрестностях, ему говорил лакей, кого-то ограбили и убили, — что, если в этом обвинят его? Как он мог бы доказать, что он тут не при чем? «Он говорил, что убили ночью. Я был в гостинице, но кто же меня видел? Видел ли хозяин, что я вернулся? Кажется, видел, на него я и сослался бы», — думал он — и опомнился. «Совсем спятил!..» Константин Платонович мылся дольше обычного, облился водой, лег и тотчас заснул.

Утром лакей с кофе принес ему письмо.

— Пришло вчера в отсутствие синьора. Франкированное, хозяин расписался, но мы франкированных писем в стойке не оставляем, — сказал он и вышел.

Лейден узнал почерк Тятеньки и почему-то сразу помертвел. Пальцы у него дрожали, пока он распечатывал конверт. «Из Петербурга!..» Обращение было необыкновенно нежное, совершенно у них необычное. «Милый, горячо любимый, бесценный друг», — писал Тятенька, — «я знаю, какой страшный удар наношу тебе»...

VII

> The most painful of all operations, as a rule still to be endured without anaesthesia — Death *).
>
> Axel Munte.

Слугам в ту пору нигде отпусков не полагалось. Но Ольга Ивановна, по своей доброте, воспользовалась тем,

*) «Самая болезненная из всех операций, операция, которую обычно приходится выносить без анестезии, — Смерть».

что мужа и дочери не было, и отпустила «людей» на отдых. Остались только Ульяна и старик дворник Никифор, которому уйти было некуда: он был из далекой великорусской деревни. Друзьям было объявлено, что обеды временно прекращаются. Хотя Ольга Ивановна была рада отдохнуть от своего хлебосольства, ей стало и грустно после того, как совершенно опустел дом. Прежде у них с четырех часов дня уже всегда бывали гости, а обычно к Лиле приходила молодежь еще раньше. Ольга Ивановна, чтобы не стеснять дочь, к ней не заходила; все же было приятно, что из вертикального крыла дома доносились веселые голоса и смех.

— Теперь ты готовь, что хочешь. И вина к столу не подавай, — сказала она Ульяне. Была неприхотлива в еде и всему предпочитала рубленые котлеты, которые собственно блюдом не считались: их подавали как добавление к настоящим блюдам. Ульяна и стала готовить котлеты в огромном количестве, сразу дня на два, а то и на три. Таким образом и у нее был отдых.

Иногда Ольга Ивановна сажала ее с собой за стол в столовой: так она скучала, надо же хоть с кем-нибудь обменяться словом. Ульяна была известна глупостью на все Липки, но глупа она была степенно, успокоительно и приятно. Была твердо убеждена в том, что кто в жаре не даст прохожему напиться, будет в аду жариться около колодца, и что подравшиеся братья станут на том свете собаками. Всё же с ней можно было поговорить о Константине Платоновиче и о Лиле. Она подтверждала слова барыни и развивала свои мысли: да, скучно без барина, зачем только люди уезжают, да еще в какую-то заграницу, нигде так не хорошо, как дома, лишь бы были деньги и, главное, здоровье, а вот на беду принесло эту холеру, прошлый год много людей померло, да и теперь в больнице стали опять помирать, а бояться нечего, и с холерой можно выжить, и от других хороб разве не помирают? Ульяна не была украинкой, но употребляла южные слова и вместо «болезнь» всегда гово-

рила «хороба». Это слово резало слух Ольге Ивановне, точно было ругательным.

— Ну, хорошо, — говорила она, съев свои две котлеты. Ульяна съедала шесть или семь. — Вот тебе ключи, свари мне кофею. Завари две столовых ложки на кофейник. Мне одну чашку с тремя кусками сахару, а себе возьми остальное. А если будешь пить чай, то завари кофею только одну ложку.

Всё это должно было быть давно известно Ульяне, но не мешало всякий раз ей напоминать. Кофе Ульяна приносила в кабинет, где Ольга Ивановна теперь проводила большую часть дня: в этой комнате чувствовала себя как бы ближе к мужу, сидела в его кресле. Конституция письменного стола в общем соблюдалась и в отсутствие Лейдена, но уборку кабинета Ольга Ивановна теперь себе разрешила. Хотя ей было грустно, она ухитрялась извлекать некоторое удовольствие из всего, — из того, что кабинет мужа станет чище, что можно будет сшить дочери еще и то платье с воланами и розовым поясом, о котором Лиля мечтала и которое стоило очень дорого. За кофе (тоже доставлявшим тихое, привычное, законное удовольствие) она всё думала, что́ теперь делала дочь. «То-то будет рассказывать, когда вернется!» Пробовала себе представить и времяпрепровождение Константина Платоновича, но это было труднее: Ольга Ивановна имела очень смутное понятие о Флоренции; должно быть, город весь в ярких цветах, а дома светло-розового мрамора. «Верно не выходит Костя из библиотек. Ох, эти его книги»...

Ее приглашали к себе друзья и даже упрашивали приходить: «Милочка, ведь вам теперь скучно, ваши изверги вас бросили». Она весело подтверждала: бросили! — ей было забавно, что мужа и дочь шутливо называют извергами, — однако в гости ездила редко: как так поедет без мужа? Она всегда молчаливо признавала, что собственно никакой Ольги Ивановны нет, а есть придаток к Константину Платоновичу, и не огор-

чалась. Если же у нее возникало чувство обиды, то сама себе отвечала, что создала мужу и дочери хорошую, приятную, уютную жизнь и этим свое дело в жизни сделала. Большую часть дня она читала русские исторические романы: Загоскина, Лажечникова. Ольге Ивановне было, кончено, скучновато, но каждый вечер, ложась спать, она радостно думала, что вот и еще на сутки приблизиться встреча с мужем и дочерью.

Накануне закрытия Контрактов Ольга Ивановна в последний раз съездила на ярмарку. Белья она в этом году купила больше, чем нужно. Теперь образовалось то, что она считала сбереженьями. Никакого бюджета у нее никогда не было. Константин Платонович оставил ей много денег, с правом тратить их, как угодно. Но сама Ольга Ивановна имела твердые представления о том, сколько у нее может уходить «на баловство». После отъезда дочери она почти ничего не тратила, да и у Лили в Петербурге, вероятно, было мало расходов, хотя мать предписала ей платить за билеты в театр, часто приносить торты и конфеты. В Контрактовом доме Ольга Ивановна купила мужу халат из дорогой восточной, расшитой золотом материи: знала, что и он привезет ей подарок из Италии или из Вены. Была чрезвычайно довольна покупкой.

На обратном пути она издали, с Крещатика, увидела на Александровском спуске страшную фуру, увозившую холерных в больницу и велела кучеру подняться в Липки по другой улице. Вернувшись домой, повесила халат в спальной на видном месте: «Пусть Костя увидит в первую же минуту!» — думала она, вздыхая: так ей хотелось, чтоб муж приехал поскорее.

Чтобы чем-либо заняться, она решила произвести уборку всего дома, однако уборка заняла лишь четыре дня. Разобрала ноты Лили и раз даже попробовала запеть: «Нет, доктор, нет, не приходи! — Твоя наука не поможет»... Но стало совестно перед Никифором и особенно перед Ульяной, которая остановилась у двери и

слушала с очень встревоженным лицом, как будто происходил скандал.

Письмо к Лиле Ольга Ивановна начала на следующий же день после ее отъезда. Писать еще было решительно не о чем. Затем халат послужил прекрасной темой, всё же и о нем нельзя было написать больше двух страниц. — «Думала было и тебе купить отрез на платье, да никто термоламовых платьев, кажется, не носит, — писала она, — разве только на какой-нибудь маскарад? А жаль: эту материю износить нельзя. Папа верно в жизни другого халата не купит. Да ему впрочем всё равно, что термолама, что ситец!»

Через несколько дней после того, утром в кабинет вошел старик дворник. Он в парадных комнатах появлялся редко. По его лицу сразу видно было, что случилось что-то нехорошее. Оказалось, больна животом Ульяна. Ольга Ивановна изменилась в лице.

В своей комнате рядом с кухней Ульяна корчилась от боли. Она взглянула на барыню с выражением дикого ужаса в глазах. И после первого же вопроса созналась: третьего дня зашла в больницу навестить кума. Ольга Ивановна похолодела. Дом, в котором появлялся холерный больной, считался обреченным.

— Да как же?.. Как же ты, дура ты этакая!.. — хриплым голосом спросила она и закашлялась. Велела Никифору побежать за доктором. Через час сомнений не оставалось: холера. Врач, тщательно моя руки, посоветовал перевезти Ульяну в больницу.

— Да ведь это верная смерть! — сказала Ольга Ивановна. Доктор пожал плечами. Выражение его лица показывало: всё равно верная смерть.

— Что же вы можете сделать? Лекарства я оставляю... Надеюсь, вы сырой воды не пили?

Всем было известно, что надо пить только отварную воду, да и то лучше с вином. Прежде это правило соблюдалось у Лейденов, как и у всех киевлян. Ульяну уже спрашивать было невозможно, но Никифор растер-

янно ответил, что воду она налила в графин из бочки. Очевидно думала, что с тех пор, как обед состоит из котлет, все прежние правила отменяются. Доктор развел руками. Видимо он сам хотел возможно скорее уйти из этого дома, однако исполнял врачебный долг.

— Уходите отсюда поскорее! И лучше всего сейчас же. Если хотите, я сообщу, чтобы прислали больничную повозку. Да верно раньше, чем завтра, не пришлют. Эпидемия усилилась. А до завтра... У нее так называемая молниеносная.

— Нет, не надо повозки, — твердо ответила Ольга Ивановна. Так же твердо она расспросила доктора о том, каковы первые симптомы болезни и что́ надо делать. Когда он ушел, отпустила и дворника, дав ему денег.

— Иди куда хочешь. Что ж и тебе помирать? — сказала она.

Лицо у нее было серое и глаза такие, что их старик навсегда запомнил. Ольга Ивановна теперь не сомневалась, что погибла. Считала это Божьей карой, но не понимала, за что. Злословила, сплетничала? Знала, что этим грешила не много, гораздо меньше, чем другие. Старалась вспомнить еще грехи. Были, были, однако всё же не очень большие, — за это ли столь ужасная кара! Ей было известно, что при холере агония страшная, — страшная в особенности тем, что она так грязна. «Что ж делать, Божья воля!» — сказала она себе.

— А вы-то, барыня, как же? — спросил Никифор, со страхом на нее глядя.

— Куда я пойду заражать людей! И надо кому-нибудь остаться при Ульяне. Не умирать же ей как собаке! Она в доме двадцать лет. Я сейчас дам ей лекарства.

Дворник собрал пожитки и ушел. Понимал, что это нехорошо, но умирать не хотел, и барыня строго приказывала уйти. Перед уходом видел, что она, вернувшись от Ульяны, пошла в кабинет, села за стол и стала

что-то писать. Действительно на столе потом были найдены два письма, пахнувшие уксусом. Была также записка и властям, чтобы письма были страховым пакетом отправлены в ту петербургскую гостиницу, где должен был остановиться Тятенька.

«Jetzt wird gestorben», — тоскливо вспомнила его анекдот Ольга Ивановна.

Она заболела через несколько часов. Под вечер Никифор почувствовал укоры совести и вернулся. Барыня лежала в спальной; кровать пододвинула к окну, выходившему в сад. Несмотря на холодную погоду, окно было открыто. Ольга Ивановна обрадовалась старику, но не велела ему входить в комнату.

— Письма, — прохрипела она. — В кабинете на столе письма. Как умру, вели всё в доме окурить... И уходи! Постой... Халат вынеси, тот, новый. Чтобы окурили...

Дворник испуганно предложил опять побежать за доктором. Она ответила, что уже знает, как лечиться. Он спросил, не позвать ли батюшку. Священники всегда приходили по вызову холерных больных — и умирали. Барыня долго не отвечала. Потом сказала, чтобы не звал:

— Нет... Не надо губить батюшку... Бог меня простит... Уходи... Ты барину скажи, когда приедет...

Больше она ничего выговорить не могла.

Через два часа дворник, вошедший в дом с доктором, нашел ее мертвой. Она лежала не в спальной, а на полу в коридоре: очевидно, шла проведать Ульяну. Та стонала на весь дом. Ночью умерла и Ульяна.

На подоконнике спальной был найден медальон с миниатюрными портретами Константина Платоновича и Лили.

VIII

A te convien tenere altro viaggio.

Dante

Петербург поразил Виера своим великолепием. Тятенька настойчиво предлагал остановиться в хорошей гостинице: говорил, что возьмет номер из двух комнат и одну из них сдаст дешево Виеру. — «Нам обоим, пане Яне, это будет превыгодно». Но Виер понимал, что Тятенька просто собирается за него приплачивать. Он отказался, простился со своими спутниками и после недолгих поисков снял в номерах на Невском комнату с самоваром за семьдесят пять копеек в день.

В первый вечер он гулял по городу. Особенно великолепна была Морская, с торцовой мостовой, с несшимися в три ряда каретами, с уходящими вдаль рядами газовых фонарей. Эта улица могла выдержать сравнение с парижскими бульварами. Величественны были набережные, Невский, площадь Зимнего дворца. «Да есть что-то *барское* в этом городе, чего нет и в Париже», — думал он с не совсем приятным чувством.

В Отеле Ламбер вяло поддерживался взгляд, что борьбу надо вести не с русским народом, а только с его правительством. Но у большинства поляков, почти независимо от их воли, ненависть к царю и к его министрам переходила в ненависть к русским вообще. Во время его путешествия это чувство у Виера ослабело. На юге он еще себе говорил, что украинцы такая же угнетенная нация, как поляки. О великороссах этого сказать не мог: с одной стороны, они, особенно простой народ, были тоже угнетаемые; с другой же стороны, их как будто надо было считать и угнетателями. Между тем, как люди, они были не менее привлекательны, чем украинцы и чем поляки. У него были рекомендательные письма, он тотчас сделал несколько визитов, его стали

забрасывать приглашениями. Некоторые русские просили его приходить к обеду запросто, каждый день. Так было бы и в Польше. Но в других странах этого не было, там понятия о гостеприимстве были другие. Приглашеньями к обеду он почти не пользовался. Живя на средства князя Чарторыйского, берег каждый грош, не мог приглашать и угощать знакомых, поэтому не хотел обедать и у них. Однако в Петербурге, как и в Киеве, никто не считался с тем, может ли он звать к себе или нет. Так тоже было бы в Польше, и ни в какой другой из знакомых ему стран этого не было бы.

Для доклада князю Адаму следовало узнать настроение петербургского общества. Виер бывал преимущественно в среднем кругу, видел немало образованных людей, старался заводить политический разговор. Делал это вначале осторожно и незаметно, причем сам чувствовал себя неловко: «Точно я шпион! Да собственно нечто шпионское и в самом деле есть в моих обязанностях»... Люди говорили откровенно, по-видимому, никто шпионов не боялся, ни своих, ни еще гораздо менее чужих. Правительство ругали почти все, о министрах и сановниках рассказывали анекдоты, но ни о какой революции как будто никто не думал. По крайней мере, люди удивленно поднимали брови, когда он прямо спрашивал, возможно ли вооруженное восстание (после нескольких разговоров осторожность его ослабела). Ему скоро стало ясно, что разговор беспредметный. «Какая там революция! Мой доклад будет пустым местом и очень их разочарует. Может быть, и рассердит. Что ж делать, я обязан говорить правду».

Подтверждали его вывод и бытовые наблюдения. Он видел парад на Марсовом поле. Нигде в мире таких войск не было. Императорский строй производил впечатление несокрушимой силы. Многочисленная армия,

очевидно, была ему верна или во всяком случае находилась в полном подчинении у правительства. О том, чтобы бороться с этой силой без помощи иностранных держав, очевидно не могло быть речи. «Если не удалось дело в 1830 году, когда у нас были свои войска, то теперь нет ни одного шанса успеха на сто. Помощь Франции? Но Людовик-Филипп о ней слышать не хочет и едва ли уступит общественному мнению, хотя бы даже общественное мнение вправду требовало войны. А *эти* будут воевать за кого и с кем прикажут: офицеры за общее бесправие, солдаты за шпицрутены своего начальства! Им, разумеется, начальство объявит, что они воюют за родину и за веру. И воевать они будут хорошо, потому что они воинственный, храбрый народ и почти всегда хорошо воевали».

У него было из киевского кружка рекомендательное письмо к одному из членов общества Петрашевского. На второй же день он получил приглашение пожаловать на собрание. Сам Петрашевский ему не понравился. Говорил он недурно, но необычайно самоуверенно, мысли высказывал крайне противоречивые. Когда Виер отметил какое-то противоречие в его словах, он рассмеялся и произнес ту самую фразу, которую ему приписывал киевский студент.

— Я могу по каждому вопросу изложить двадцать точек зрения.

Другие участники собрания были, напротив, в большинстве очень милые и приятные люди. «Эти постарше, посерьезнее и пообразованнее киевских юношей, но они литераторы, профессора, дилетанты, а никак не государственные люди и даже не политические деятели, хоть студент и говорил, что они после революции образуют правительство. Конечно, если б царский строй был разгромлен, то с ними можно будет и должно будет договариваться. Это будет много легче, чем с царскими министрами. У тех ведь есть «традиции», как у наших

Чарторыйских и Замойских в Отеле Ламбер. А эти без традиций, и слава Богу. Им, конечно, будет не очень приятно разделить на части то, что они считают «своей» страной. Но они поломаются и разделят: взвалят всё на царское правительство, будут говорить о высоких принципах, о которых они до сих пор предпочитают молчать, да и поймут, что их, после разгрома России, никто особенно спрашивать не будет. А позднее можно с ними жить в добрососедских отношениях, если в самом деле их после такого конфуза оставят у власти и если их еще до того не выгонят в шею их собственные мужики, для которых Петрашевский такой же барин и враг, как Алексей Орлов. Но рассчитывать на них для свержения царя было бы просто наивно. Царей свергнет либо чудо, либо война, — не с Турцией, конечно, а с могущественными державами. И поэтому, как это ни тяжело людям гуманного миропонимания, мы должны все наши расчеты делать на войну».

Он остался ужинать. Петрашевский оказался любезным и гостеприимным хозяином. За вином продолжался разговор о литературе, о поэзии, о французских делах. Его удивило, как хорошо эти люди знали все, что делалось в Париже. Многие говорили умно и интересно. Они разбирались, по-видимому, и в немецкой философии, которой Виер не знал, называли имена, почти ему не известные и понаслышке. «Пожалуй, пообразованнее меня, — с легкой завистью думал он. — Да, очень приятные люди. *Ненавидѣть* их я никак не могу. Только пользы от них нам немного, так как за ними никакой силы нет. А о том, будто они хотят заколоть на маскараде царя, тот юноша верно просто присочинил. Не такие люди закалывают царей. Какие уж у них Палены!»

К концу ужина заговорили о Фурье. Петрашевский очень ясно и гладко изложил теорию французского социолога. Мир будет существовать восемьдесят тысяч лет. Теперь кончается 6000-летняя фаза несчастья, ско-

ро начнется фаза счастья или социального единства. Помимо того, что средний возраст человека поднимется до 144 лет и его рост до семи футов, человечество станет необычайно одаренным. На три миллиарда населения будет тридцать семь миллионов поэтов, равных Гомеру, и тридцать семь миллионов ученых, равных Ньютону... Эта фаза будет длиться без малого семьдесят тысяч лет...

— Не выходит счет. Четырех тысяч лет не хватает, — весело перебил его какой-то много выпивший молодой человек. Петрашевский холодно взглянул на него. Видимо, его в этом обществе перебивали не часто.

— С сожалением должен сообщить вам, что после фазы счастья, по учению Фурье, начнется фаза... Как это перевести? Une phase d'incohérence, фаза бессвязности или бессмыслия, — невозмутимо сказал он, обращаясь не к молодому человеку. По его тону вообще нельзя было понять, говорит ли он серьезно или издевается. «Какой-то странный pince sans rire!» — раздраженно подумал Виер.

— Жаль, но мы, вероятно, до нее не доживем. Выпьем в память Фурье, друзья мои!

— И чтобы вас утешить, добавлю, что в пору фазы счастья вся вода океанов превратится в лимонад.

— Хорошо утешение! Какой ужас! Отчего же не в ваш превосходный шамбертэн, Михаил Васильевич?

«Над кем же они смеются? Над собой? — думал, возвращаясь пешком домой, Виер. — Не могу отрицать, прекрасные люди. Только в славянских странах еще такие и существуют. Нет, нет, я навсегда отказываюсь от ненависти к русским, это было недостойное чувство!» — сказал он себе и тотчас подумал о Лиле. «Собственно в дороге ничего не произошло... Лучше было бы, конечно, тогда на станции не входить в ее комнату. Но я и в Киеве видел ее раз в пеньюаре, хотя и не в этом... Этот белый с кружевами ей особенно к лицу, она в нем была прелестна... Ведь она сама попросила меня принести ей

книгу. Да, был ее чудесный взгляд... Может быть, и я взглянул на нее не так, как следовало, я ведь не камень. Зачем скрывать от себя: она в меня влюблена. И мне тоже она очень нравится»... — Он сам себе ответил, что «тоже» тут неуместно: одно дело «влюблена» и другое «очень нравится». — «Когда мы расстались, у нее задрожал голос. Она сказала: «До скорого свиданья, мосье Ян». Я, кажется, пробормотал, что в первые дни в Петербурге буду крайне занят».

Он по-прежнему думал, что настоящие революционеры обычно не очень влюбчивы: у них всё уходит в революционную страсть. Это обобщение теперь уже казалось ему бесспорным. Тем не менее, со смешанными чувствами, замечал, что возвращается мыслями к Лиле в последние дни, и особенно в последние ночи, всё чаще. «Да ведь это и практически невозможно... Поляки не лучше русских, но и русские не лучше поляков: если б даже не было формальных препятствий, Лейдены отнеслись бы к моему браку с Лилей точно так же, как родители Зоси, или даже еще хуже. Для них я тоже голыш, и вдобавок католик. Я никогда не принял бы православия, а Лейдены не согласятся на то, чтобы Лиля стала католичкой. Константину Платоновичу, положим, по существу всё равно: он ни в Бога, ни в чёрта не верит... В чёрта, впрочем, быть может, немного и верит. Но для Ольги Ивановны это было бы страшным ударом. Как для моей матери, если б она была жива... И притом, это можно было бы сделать, вероятно, только за границей. Разве они могут на это пойти? — Он сам удивился тому, что серьезно думает об этом. — И еще — как бы мы стали жить? Я еле могу прокормить себя одного, быть может придется и голодать в самом настоящем смысле, слова. Что же, получать от них деньги, брать «приданое»! Никогда в жизни! — краснея, думал Виер. — Бедная девочка скоро утешится. Лучше было бы совсем к ним не заходить, но это будет крайне грубо.

Раза два зайду. Всё равно скоро уеду». Ему, однако, приходило в голову и то, что он несчастный резонер. «Меня Бальзак не мог бы изобразить: так я рассудителен. Всё рассуждения и рассуждения! И влюбиться по-настоящему не могу! *Почти* был влюблен в Зосю, *почти* влюбился в Лилю, всё в моей жизни «почти». Кроме, конечно, жизни идейной, — утешал себя Виер. — Нет, мне суждена иная дорога».

В первый свой одинокий петербургский вечер он было решил, что зайдет к Лиле на третий день. Потом передумал: слишком рано, это как будто свидетельствовало бы о близости. Зашел только через четыре дня. Лили не было дома. Он был огорчен (а позднее, как обычно исследуя свои чувства, обрадовался, что очень огорчился).

Тятенька, по-видимому уже ставший здесь своим человеком и проводивший в доме целые дни, встретил его радостно. Хозяйка, очень полная благодушная вдова, приняла Виера чрезвычайно любезно.

— Я столько о вас слышала от Лили, — с улыбкой сказала она. — И от Тятеньки. Как видите, я его уже называю Тятенькой. Девочки будут так огорчены, как на зло они только что ушли к подруге. Мы вас ждали раньше... Вот что, приходите завтра обедать. И очень, очень вас прошу приходить к обеду каждый день. Мы обедаем в четыре.

Ему не слишком понравилась улыбка хозяйки дома и ее слова: «мы вас ждали раньше», но отказаться было бы невежливо. Он принял приглашение.

— Красивый молодой человек, — сказала Тятеньке хозяйка, когда Виер ушел. — Но уж очень церемонный, такой пшепрашам пани.

— Завтра принесет вам, Дарья Петровна, цветы. И еще хорошо, естьли один букет. А то принесет три, хотя по части пенензов у него дело швах. И даже зер швах. И даже зер, зер швах.

— Ах, как это неприятно! Зачем нам его цветы?.. А ведь Лиля в него влюблена, правда? Краснеет и бледнеет, милочка, когда о нем говорят, и делает вид, будто равнодушна. Ах, эти девочки, сколько с ними забот! Просто иногда жалко их, хотя и зависть берет. Только моя Ниночка другая, она гордая, неприступная. У нее такой успех, сколько за ней молодых людей ухаживает, просто пропадают от любви, а она мне говорит: «Пусть ухаживают, я посмотрю». Она мне всё рассказывает... Вы не думайте, что я говорю как мать, я говорю совершенно беспристрастно. Сколько я у ней девочек вижу, но моя Ниночка совсем особенная, с самых ранних лет... Да ведь этот мосье Ян католик?

— То-то и есть, что католик, и вдобавок ни кола, ни двора. Мне один немец говорил: «Kein Geld ist kein Geld. Aber *gar* kein Geld!»*)

— Тогда, Тятенька, мое положение деликатное. Еще Оля на меня рассердится, что я его зову?

— Ничего не деликатное: в Киеве он у них жил. И вовсе Лилька в него не влюблена, — обиженно возразил Тятенька. — И у гонорового пана холодная душа.

— Почему вы знаете?

— Милая, я вижу людей насквозь. Как Шекспир! Кроме того, ведь он скоро уезжает за границу... Я тоже завтра могу прийти к обеду?

— Тятенька, как вам не стыдно! И к обеду, и к завтраку, и к ужину, притом, разумеется, каждый день. Мы знакомы всего четыре дня, а обе с Ниночкой уже вас обожаем.

— Быдто?

— «Клянусь я первым днем творенья!»... Так всегда отвечает Ниночка, она всех поэтов читала, и русских, и французских, всех. Только немцев не жалует,

---

*) «Нет денег, так нет денег. Но если совсем нет денег!» Стр. 237

фрейлен Шютц постоянно на нее жаловалась, да я ничего не могла добиться. Она такая независимая, что просто ужас!.. Но как вы это делаете?

— Что делаю, родимая?

— То, что вас все сразу так любят.

— У меня большая персональная шарма, — объяснил Тятенька, очень довольный.

IX

> Счастье раз в жизни дается, а потом ведь всё горе, всё горе.
>
> Достоевский

На следующий день в Петербурге стало известно, что в Париже произошла революция.

Виер узнал о ней вечером, в кружке Петрашевского. Там все были в восторге. Но никто не испытывал такой необыкновенной, захватывающей радости, как он. Теперь то, о чем он мечтал, сбылось. Приобретали новое значение жизнь в мире и его собственная жизнь.

Петрашевский велел подать шампанского. Произносились восторженные речи. Просили говорить и польского гостя. Он что-то сказал, однако кратко и суховато. Чувствовал, что теперь ему с русскими долго будет не по пути. Виер не сомневался, что революционная Франция тотчас объявит России войну. В Париже в свое время говорили, что в случае войны французский или франко-английский флот войдет в Балтийское море, разгромит Кронштадт, затем высадит войска. «Очень может быть, что скоро Петербург будет взят или разрушен!»... Об этом с русскими, даже с революционерами, говорить было неудобно. Он рано вернулся в свой номер и не мог заснуть всю ночь.

Опять, как несколько лет тому назад, ему пришло в голову, что в этой войне за свободу поляков и всего

мира он может стать национальным и революционным героем, как Косцюшко. В нем даже всплыли отроческие мечты о военной славе. Еще накануне он предполагал пробыть недели две в Петербурге, написать и отправить доклад в Отель Ламбер, — способы сношения ему были указаны. Теперь ему стало ясно, что он тотчас должен уехать в Штеттин, оттуда в Париж. «Верно, сегодня же или завтра, придут инструкции».

Он встал рано. Номерной принес ему самовар, Виер даже удивился: неужели сегодня пить чай, завтракать, обедать? Но до девяти утра всё равно в городе было нечего делать. Он отправился покупать билет. Оказалось, что судно в Штеттин уходит через четыре дня. Рядом с ним заказывали билеты два иностранца, говорившие по-английски. Оба были очень хорошо одеты. «Не дипломаты ли?» — подумал он и прислушался к их разговору. Один из иностранцев сказал, что император Николай получил известие о революции на балу: он тотчас вышел в большой зал и, подняв руку, прокричал: «Господа офицеры! Во Франции революция! Седлайте коней!» Офицеры покрыли сообщение царя криками «Ура!» — «Посмотрим, кто будет кричать «Ура!» последний!» — подумал Виер. Его волнение еще усилилось.

Он побывал на почте и справился, есть ли для него письмо до востребования. Ничего не было; ответили, что верно почта будет к вечеру. Виер погулял по городу и снова почувствовал, что в его чувствах к России *всё-таки* произошла некоторая перемена. Теперь ему не доставило бы никакого удовольствия, если б Петербург был разрушен. «Зимний Дворец, да, конечно. Но было бы очень жаль, если б погиб Эрмитаж с его сокровищами искусства. Да и не только Эрмитаж. Этот их новый Исаакиевский собор тоже сокровище архитектуры». Он опять подумал о Лиле. «Разумеется, вздор! И не влюблен я, и у нее через месяц после моего отъезда пройдет. Да и какая теперь женитьба!»

Виер зашел в магазин цветов. Действительно, сначала хотел было купить три букета, но затем решил, что это не очень удобно. «С ее подругой я и вообще не знаком». Кроме того, зимние цены на цветы были таковы, что от трех букетов следовало отказаться без колебания. Занес в память стоимость букета. В своей записной книжке он вел двойную бухгалтерию: расходы на жизнь относил на счет Отеля Ламбер; цветы же, конечно, должен был оплатить из своих собственных средств.

У Лили радость от первых дней пребывания в столице была отравлена тем, что мосье Ян не приходил. «Он, правда, сказал, что будет очень занят», — думала она и всё себя спрашивала, какие именно занятия у него могут быть. Во второй день его еще *почти* не ждала, на третий ждала до позднего вечера: в Петербурге люди иногда приходили в гости и в одиннадцать. Ночью в кровати плакала: всё-таки он мог бы зайти. Подумала даже, не написать ли ему, как это ни стыдно. Но адреса его она не знала. Не знал и Тятенька. Ей приходили в голову самые неожиданные, невозможные планы.

Когда Дарья Петровна сообщила, что был мосье Виер, что, кажется, он очень милый и что он завтра придет обедать, Лиля изменилась в лице неприлично. Дочь Дарьи Петровны отвела глаза. Она знала о романе своей подруги, говорила с ней о нем. Нина, бойкая, задорная, умная барышня, распоряжавшаяся в доме всем, что ее интересовало (остальное охотно предоставляла матери), очень любила Лилю, хотя относилась к ней чуть покровительственно, как к провинциалке. В другое время Лиля обиделась бы, теперь ей было не до того. — «Но как ты думаешь, Ниночка, ты такая опытная, что ты об этом думаешь?» — с волнением спрашивала она подругу. — «Что же я могу думать, Лиленька, когда я его в глаза не видела? Он *настоящий?*» — «Как «настоящий»? Что ты хочешь сказать?» — «Да, это трудно объяснить. Я называю настоящими тех, кто может

сразу влюбиться без памяти, ну так, чтобы с ума сойти, чтоб делать всякие глупости! Он такой?» «Я не знаю, — робко отвечала Лиля, — конечно, он настоящий. Говорю тебе, он адгерент Бланки»... — «Лиленька, я по-гречески не понимаю! Какой там Бланки и что тебе до Бланки? Совсем не в этом дело... Но разве папа и мама тебя за него отдадут? А убежать, *отдаться* ты не решишься». — «Может быть, и решусь! Но он на *это* не пойдет». — «Тогда он не настоящий... Нет, не огорчайся, я так говорю, ведь я его не знаю. Может быть, у вас всё выйдет хорошо. Дай Бог!»

На следующее утро Лиля одевалась долго и особенно тщательно. Всё думала, чтó сказать мосье Яну и как себя вести. «Если он придет в четыре, то уйдет в шесть и верно опять на несколько дней!» Она в разговоре с Ниной сделала осторожный намек, Нина тотчас поняла и объявила матери, что непременно хочет пойти сегодня в оперу.

— А что дают?

— «Гугеноты». Говорят, будет государь.

— Знаешь что, Ниночка, тогда мы возьмем ложу. Ведь надо показать нашим милым гостям такой спектакль. С Тятенькой нас будет четыре. Может быть, пригласить и мосье Виера? Или лучше позвать тетю Машу? Она нас в прошлом году приглашала.

— Ну что тетя Маша? С ней очень скучно. В самом деле позовем этого мосье Виера, если он вам, мама, так понравился... А вот мне он, по описанию Лили, ничуть не нравится.

— И не надо, Ниночка, чтобы тебе понравился поляк и католик, — наставительно сказала Дарья Петровна. — А Лиле он очень нравится?

— Это уж вы, мама, у нее спросите. Может быть, и нравится. Да что Лиля понимает? А всё-таки в театр мы его позовем.

— Что ж, можно и его, и тетю.

— Нет, без тети! От тети мухи мрут. И не элегант-

но шесть человек в ложе, там сегодня будет весь Петербург.

— Правда? Тогда возьми открытую ложу бенуара за восемнадцать рублей.

Нина всплеснула руками.

— Мама, вы живете не в провинции, а в Петербурге! В кассе на «Гугеноты» в день спектакля билетов не купишь! Это Лиле простительно не знать! Дай Бог, чтобы у барышника купить за тридцать. Дайте мне тридцать пять рублей, и я сейчас же туда съезжу... Да, да, возьму Василису, — нетерпеливо сказала Нина, недовольная тем, что ее, несмотря на всю ее самостоятельность, не пускали одну, и тем, что их горничную звали Василисой.

В одиннадцать пришел Тятенька и сообщил, что во Франции произошла революция. Дарья Петровна приняла известие равнодушно, хотя и с любопытством.

— Ну, слава Богу, что король успел бежать. А то еще и ему отрубили бы голову. Эти ваши фарнцузы такие...

— Они не мои, милая, они наши общие.

— Что правда, то правда. Платье из Парижа я могу отличить за версту. Никто в мире так не шьет, как они. Правда, Лиленька?

— Да, правда, Дарья Петровна, — ответила Лиля рассеяно. Французская революция и ее не очень интересовала, но она смутно почувствовала, что это известие может как-то отразиться на ее судьбе.

Так оно и вышло.

Лиля знала сдержанность мосье Яна и всё же надеялась, что он проявит больше радости при встрече с ней. Разговаривал очень любезно, но ей показалось, что он взволнован. «Что-то неладное!» — подумала она. Удар последовал за супом. В ответ на вопрос хозяйки, Виер сказал, что уезжает в Штеттин через четыре дня.

После этого Лиля больше почти ничего не понимала из того, что говорилось за обедом. Слышала только, что мосье Ян нерешительно отказывался от приглашения в оперу: он «не одет». Эти слова были встречены протестами.

— Будешь пане Яне, самым пышным во всем театре, — сказал Тятенька. — Но уж естьли у тебя такая фанаберия, то заезжай после обеда к себе и надень хоть кунтуш с бриллиантовыми пуговицами, быдто што Потоцкий или Радзивилл. Время есть, — говорил Тятенька, искоса поглядывая на Лилю. Хотя ему было очень жаль ее, он был доволен, что молодой поляк уезжает.

Тотчас после обеда Виер ушел. Опять побывал на почте. Письма всё ещё не было. Дома надел свой лучший костюм, затем снова вышел на улицу. Его восторженное волнение всё росло. Делать пока было нечего. В кофейне он выпил три рюмки коньяку, чего почти никогда не делал. «Вернусь в Париж, сделаю доклад князю Адаму и расстанусь с ним. Будет и польская армия, меня примут офицером. Теперь, конечно, Бланки уже на свободе. Я первым делом явлюсь к нему. Буду на службе у международной революции, она может и обеспечить кусок хлеба тем, кто верно ей служит»...

За обед он отплатил цветами, за театр решил отплатить конфетами. Теперь незачем было так беречь деньги.

Дамы и Тятенька уже сидели в ложе. На барьере стояла коробка конфет. Дарья Петровна мягко упрекнула Виера:

— Ну, что это! Зачем вы нас так балуете? И Тятенька тоже нам принес! На нас будут даже коситься: две коробки конфет!

— Пусть перекосят себе глаза! — проворчал Тятенька.

— Государя не будет, — разочарованно сказала

Нина. — Его ложа пуста. Должно быть, он сегодня очень занят. Его все ждали. Видите, какая парадная зала.

— Красота, — подтвердил Тятенька. Он утром подкрасил волосы, а перед уходом из дому закусил, выпил и был очень весел. — Не театр, а закуток эдемский.

Действительно, зал по своему великолепию соответствовал стилю Петербурга. В Париже дамы были столь же нарядны, но не было такого множества мундиров. Впрочем, Виер не успел рассмотреть зал как следует. Дирижер уже занимал свое место.

«Гугеноты», считавшиеся в ту пору лучшей оперой в истории музыки, везде сводили с ума молодежь. В некоторых странах эта опера была запрещена. Виер ее ни разу не слышал: он в театрах бывал редко, а в оперном почти никогда не бывал, хотя любил музыку. Певцы и певицы играли так скверно, декорации были так нелепы, что, по его мнению, уже лучше было слушать, сидя спиной к сцене.

Артисты пели на разных языках. Многие дамы прослезились при романсе «Plus blanche que la blanche hermine»... Тятеньке очень понравилась артистка, переодетая пажем и певшая по-русски. Он вполголоса баском все ей подпевал. Нина нетерпеливо на него оглядывалась. Лиля слушала музыку плохо: мосье Ян сидел позади нее и смотрел на сцену через ее шею.

Когда занавес в первый раз опустился под рукоплесканья зала, они вышли из ложи. Нина вполголоса называла провинциалам в коридорах, в фойе разных известных людей. Показала императорскую ложу, у дверей которой стояли два великана-гвардейца. — «Что это они всё мордой воротят? И кого они стерегут, когда ложа пустая?» — недоумевал Тятенька. «Вот и этому пошлому параду скоро придет конец. Будет, бу-

дет на них управа!» — думал Виер. Он находился всё в том же восторженном настроении. Теперь себе представлял, как в этой зале, в императорской ложе, будут сидеть революционные французские и польские офицеры, а среди них и он сам.

«Сегодня решится моя судьба! Другого такого случая не будет! Я должна всё ему сказать, но где же, как? Он через четыре дня уедет! Как бы неприлично это ни было, я должна что-то сделать!» — твердила себе Лиля.

Во втором антракте опять ничего не вышло. Они еще погуляли все вместе. Нине больше нечего было показывать. Тятеньку второе действие немного расхолодило: музыка хорошая вещь, но не в таком большом количестве. Он бойко напевал: «Дамой знатной и прекрасной — Прислан я с письмом сейчас»... Но ему хотелось посидеть. Лиля была в совершенном отчаянии. «Уйти? Сказать, что разболелась голова? Он предложит отвести меня домой, но они не согласятся или меня отвезет Дарья Петровна»...

— Покойник Гете, царство ему небесное, говорил, что только Моцарт или Мейербер могли бы написать музыку на «Фауста», — сказал в ложе Тятенька, поглядывая на конфеты.

— Ах, как это верно! — поддержала Гете и Тятеньку Дарья Петровна.

— Очень верно, — подтвердила и Нина.

— Ниночка, уж быдто вы читали «Фауста»? — спросил Тятенька. Нина засмеялась.

— Прочла по-немецки целых десять страниц, больше не было силы. «Habe nun, ach! Philosophie, — Juristerei und Medicin — Und leider auch Theologie — Durchaus studiert, mit heissem Bemühn»... Какое мне дело до того, что он знает? И вовсе «Bemühn» и «Medicin» не рифмуют. Никогда не поверю, чтобы люди получали удовольствие от немецких стихов! Даже немцы.

— Нинетта, люблю за откровенность.

— Она у меня совсем особенная, — сказала Дарья Петровна. — Нина, не слушай. А музыку как она понимает! Вы не думайте, я очень беспристрастная мать, но мне ее учитель мосье Баттифолио говорил, что никогда не встречал девушки с таким слухом! Вот вы увидите, завтра будет на память знать всю оперу!..

— Мама, перестаньте!

— Нинетта, уж есть ли вы такая замечательная, то дайте мне вон ту конфету, большую с орехом. Не надо щипцов, пальчиками... Спасибо.

— Смотрите, вы не засните, Тятенька. Я видела, вы и у нас спали в вольтеровском кресле.

— Ан не видели, Ниночка. В вольтеровских креслах может спать разве только акробат. Я их у себя отроду не держал... «И письмом тем осчастливен, — Господа один из вас»... Ведь это, кажется, Гейне сказал: «Католики резались с протестантами, а еврей на это написал музыку».

В конце действия Лиля отчаянным шепотом попросила Нину:

— Сделай так, чтобы никто больше не выходил из ложи! Умоляю тебя!

Нина закивала головой. Она сочувствовала Лиле, но Виер ей в самом деле не понравился, и она думала, что ничего из этого дела выйти не может. «И он в нее не влюблен, и никогда родители не позволят». В начале третьего антракта Лиля дрожащим голосом сказала, что ей хочется пить. Думала, что не надо при этом на него смотреть, и все же посмотрела.

— А ты пойди в буфет, — сказала Нина. — Я не пойду, надоело шататься по коридорам. Пусть мосье Ян тебя проводит. Тятенька, вы нам составите компанию? Посидим тут спокойно.

— Истина говорит устами младенцев, — ответил

Тятенька, не заметивший хитрости барышень. Дарья Петровна эту хитрость заметила, но Нина незаметно толкнула ее и грозно на нее посмотрела. «Мне-то что?» — лениво подумала Дарья Петровна. — «Но жаль, что Оля с ней не приехала, было бы спокойнее. То-то она верно, бедняжка, скучает! Я без Ниночки и недели бы не выдержала». Дарья Петровна и очень хотела выдать дочь замуж за блестящего молодого человека, и с ужасом думала о том, что дочь от нее уйдет к мужу.

— Прекрасная опера, — смущенно сказал Виер, когда они заняли в буфете место за столиком. — Она кончается Варфоломеевской ночью.

— Рауль женится на Валентине, хотя он гугенот, — еле слышно ответила Лиля.

Он смотрел на нее и думал, что она прелестна. Ему вдруг пришло в голову, что после революции всё в мире и тут пойдет по-иному. «Все эти бессмысленные, безнравственные преграды везде будут скоро сметены. Тогда у меня может быть и личное счастье».

— Они женятся, но умирают, — сказал он.

— Они умирают, но они любили друг друга, — прошептала Лиля.

— Может быть, они правы!

— Они наверное правы! — сказала она, став еще бледнее прежнего.

И больше ничего не было сказано. Лакей принес им лимонада. Пока Виер расплачивался, прозвенел звонок: антракт перед главным действием был короткий. Они взглянули друг на друга и встали. «Всё сказано, всё!» — замирая от счастья подумала Лиля.

Гигант баритон, благородный граф Невер, отказался участвовать в ночной резне и с негодованием бросил на пол свою шпагу: — ...«Но спящих убивать —

нет, не согласен я!» На галерке раздались рукоплесканья, быть может, и в пику правительству, хотя оно спящих и не убивало. Со сцены и из оркестра лились грозные звуки «Благословения мечей», — которым восторгался Вагнер, несмотря на свою ненависть к Мейерберу. — Gloire, gloire au Grand Dieu vengeur! — Gloire au guerrier fidéle! — пел французский хор. — «Gloria eterna sia e onor! — Gloria al buon-guerrier fedel!» — вторила по-итальянски другая часть хора, приглашенная для усиления трагической сцены. «Glaives pieux, saintes épées — qui dans un sang impur serez bientôt trempées»... « Да ведь это о нас!» — взволнованно думал Виер! — «Неужто я сказал ей! Еще днем я чувствовал другое!» — «Это о нас! — думала и Лиля, — Он сказал, что они правы! Теперь всё ясно! Я скажу ему, нет, я напишу ему ночью, что приму его веру. Мы бежим за границу или умрем! Это тоже было бы счастьем! Нет, не счастьем, но это лучше, в тысячу раз лучше, чем жить без него, чем думать, что он женится на другой!»

Католики с белыми повязками ушли убивать спящих гугенотов. Рауль де Нанжи, слышавший всё из соседней комнаты, появился на пороге с обнаженной шпагой в руке. — «O ciel! Où courez-vous?» — спрашивала, задыхаясь Валентина. — «Ove io va? A salvar gli amici!» — бешеным, обрывающимся речитативом отвечал Рауль. Начинался знаменитый дуэт. Весь театр с волнением готовился к верхнему do лучшего в мире тенора. «Stringe il pe-riglio, — E il tempo vola, — Lascia mi! Lascia mi!» — пел Рауль, действительно разрывая душу своим божественным голосом. — «Mais sans défence — on vous immole! — Gar-dez vous! Gar-dez vous!» — молила с отчаяньем красавица-певица, стараясь его удержать и спасти. Лиля жила и дышала с музыкой. Тенор грудью взял верхнее do. Театр замер от восторга. Вдруг Виер сжал Лиле руку. Она беззвучно заплакала. Раздались звуки колокола: набат Варфоломеевской ночи.

X

The human mind is not a dignified organ, and I do not see how we can exercise it sincerely except through eclecticism *).

E. M. Forster

Он опять спал плохо, засыпал, просыпался, думал о том, что произошло. «Теперь что же говорить? Конечно, я влюблен в нее... Да если б и не был, разве я могу теперь отказаться? Ведь это было бы подло... Что же именно я сделал? Тайно пожал руку? Она теперь считает себя моей невестой. И в самом деле это так. Еще позавчера были серьезные, непреодолимые препятствия. Но теперь, с революцией, они отпали. Теперь я могу содержать и ее, никакой помощи мне от ее родителей не будет нужно. Трудно только бежать. Конечно, Лиля заграничного паспорта без родителей получить не может. Но бежать можно, я помню такие случаи. Корженецкий бежал через Финляндию. Бек сговорился с кем-то и тайком пробрался на корабль. Это опасно и рискованно, но ведь я знал, что вся моя жизнь будет рискованной и опасной. Правда, теперь рискует Лиля. Все-таки это можно сделать. Денег до Парижа у меня в обрез хватит и на двоих. Во всяком случае я завтра же ей скажу всё, скажу, кто я и какова будет ее жизнь со мной. Пусть она решает!..» Он заснул опять.

На этот раз ему снились «Гугеноты». Позднее ему стыдно было вспоминать, что увидел он во сне не трагический дуэт четвертого действия, а сцену хора купальщиц, сцену завязанных глаз. И еще гораздо стыднее: одна из купальщиц была Лиля, в том белом с кружевами пеньюаре. Он проснулся в восторге. «Да, я

*) «Человеческий разум орган, не слишком исполненный достоинства, и не вижу, как мы можем им пользоваться искренно, если не посредством эклектизма».

счастлив!» Было еще очень рано. Виер не зажег свечи и в темноте снова долго думал о Лиле, об их будущей жизни. Теперь почти всё казалось ему возможным.

«Сесть на пароход нелегко. Гораздо легче перейти финляндскую границу с помощью контрабандистов. Это часто делается, и тут большого риска нет... В каком положении я окажусь перед ее родителями? Они меня приютили в своем доме... Нехорошо. Но мы еще в Финляндии бы поженились или в Штеттине и тотчас им написали бы. И пора мне перестать думать в сослагательном наклонении. Быть может, это вообще было главной моей бедой в жизни. До Штеттина денег хватит наверное. А оттуда я в крайнем случае напишу в Париж. Теперь, когда рушится старый мир, стыдно останавливаться перед незначительными препятствиями и предрассудками. В Париже у нас тоже теперь это поймут. Граф Олизар, когда хотел жениться на православной Раевской, запросил Чарторыйского, не будет ли это изменой польскому делу. Князь Адам ответил, что не будет. Но Раевский-отец не согласился и на свое же несчастье выдал дочь за будущего декабриста Волконского. Не знал, что в своем смысле этим ее погубил. Разве можно предвидеть будущее?.. Я объясню Лиле, что не для меня обыкновенная будничная жизнь: жена, дети, карьера, заботы о хлебе. Ее дело решить»...

На почте чиновник узнал его и с улыбкой протянул ему письмо: то самое, отправленное из Пруссии; это была благонадежная страна, гораздо меньше, чем Франция, обращавшая на себя внимание цензуры. Он тотчас вернулся домой, затворил дверь на ключ и распечатал конверт. Письмо было составлено для отвода глаз и заключало в себе вопросы о ценах на чай. Важное было написано симпатическими чернилами. Виер проявил листок. Внизу выступили цифры. Агент Отеля Ламбер принимал все меры предосторожности. Циф-

ры указывали страницу, порядок строки и буквы в стихотворении Шиллера.

Он достал из чемодана небольшую красную книжку. Обрамленный четырехугольной светлой каймой Шиллер сидел на стуле, склонив голову на бок к небрежно повязанному галстуху, заложив за полу сюртука левую руку. Расшифровка заняла много времени. Как всегда, Виер старался не вникать в смысл, пока не расшифрует всего, и, тоже как всегда, это не удавалось: стал понимать смысл письма до того, как кончил.

Ему предписывалось тотчас отправиться в Константинополь с важным поручением. — «Вам известно о том, что здесь произошло. В связи с этим возник новый проект, которому мы придаем большое значение. Поручение это опасно, вследствие чего мы и возлагаем его на вас, хотя понимаем, что вам теперь интереснее быть в Париже. Ваши более близкие политические друзья сходятся с нами в том, что никто не может быть там полезнее, чем вы, для национального польского дела. Мы уверены, что вы не откажетесь от немедленного исполнения нашей просьбы. В Константинополе вы от известного вам лица получите наши указания и деньги».

Он долго сидел в кресле, потрясенный. За сутки вся его жизнь менялась во второй раз.

Ясно было, что нельзя отказаться от опасного поручения, которое одобрялось и польскими революционерами. Но ясно было и то, что теперь он никак не может увезти с собой Лилю. «Бежать она могла из Петербурга, откуда до Финляндии два шага. Но везти ее через всю Россию совершенно невозможно. Дарья Петровна после ее исчезновения, разумеется, тотчас известит Лейденов. Верно, она и сама заявит полиции, но уж во всяком случае всех поднимет на ноги Ольга Ивановна. Нас найдут и задержат. Всё равно нас разлучат, а может быть, меня и предадут суду за похищение несовершеннолетней. В самом же худшем случае

мною вдобавок заинтересуется Третье отделение, и тогда провалится дело. И даже, если б нас не задержали, если б и удалось пробраться в Константинополь, как быть с Лилей, когда на меня возлагается опасное поручение! Всё это ясно как день. Но что же я скажу Лиле?»

В дверь постучали. Вошел номерной и подал ему письмо, принесенное рассыльным. «Опять верно приглашение на пятницу чесать язык у Петрашевского?» — подумал он. Почерк на конверте был незнакомый. Он распечатал, взглянул на подпись и ахнул. Письмо было от Лили.

Через час номерной зашел снова в комнату и увидел, что польский барин сидит на том же стуле у стола, опустив голову на грудь, держа в руках письмо.

— Прикажете, барин, сейчас убрать комнату? — спросил он.

— Да, пожалуйста, уберите, — ответил Виер. Несмотря на страшный удар, он уже исполнил то, что полагалось по требованиям конспирации. Зашифрованное письмо было сожжено, скляночка с жидкостью для проявления симпатических чернил положена в чемодан. Он встал, взял открытый том Шиллера и вышел в коридор. Там в углу на столе с грязной посудой горела сальная свеча. Он сел на табурет и в четвертый раз прочел письмо Лили. «Да, письмо изумительное! Вся ее душа в нем. Предлагает бежать, хочет продать серьги и брошку. Что же я ей скажу? Скажу, что надо отложить. Намекну, только намекну, на истинные причины. Но ведь мне-то ясно, что теперь это не откладывается, а просто падает. Разве я не понимаю, что она не может ждать меня бесконечно долго? Что же мне делать? Что мне делать?.. «С вами я стану католичкой, с вами я пойду к вашему Бланки, я в с ё о вас знаю. Мне всё равно, лишь бы с вами!» И это сокровище я теперь теряю! Да, разумеется, навсегда теряю».

"Da steh' ich schon auf deiner finstern Brücke,
Furchtbare Ewigkeit!
Empfange meinen Vollmachtbrief zum Glücke,
Ich bring' ihn unerbrochen dir zurücke,
Ich weiss nichts von Glückseligkeit . . .
"Ich zahle dir in einem andern Leben.
Gib deine Jugend mir!
Nichts kann ich dir, als diese Weisung geben."
Ich nahm die Weisung auf das andre Leben
Und meiner Jugend Freuden gab ich ihr.
"Gib mir das Weib so teuer deinem Herzen,
Gib deine Laura mir!
Jenseits der Gräber wuchern deine Schmerzen." —
Ich riss sie blutend aus dem wunden Herzen
Und weinte laut und gab sie ihr." *)

— Убрано, барин, пожалуйте, — сказал номерной, с недоумением смотря на барина, сидевшего на табурете с книгой в руке.

— Убрано? Благодарю вас. Пожалуйста, передайте хозяину, что я завтра уезжаю, — сказал Виер, вставая. Лицо у него было искажено.

Он пришел к ним в два часа. Лиля писала, что, вероятно, в это время будет одна. «Но если это не удастся, улучите минуту и скажите мне или незаметно передайте записку: где мы могли бы встретиться на-

---

*) В дурном и неточном переводе Г. Данилевского: «Я перед тобой, о, вечности равенство! — У полных тайны врат... — Возьми свою расписку на блаженство: — Она цела — не знал я совершенства; — Возьми ее назад... — «В иной стране — отдай мне твою младость — Я расплачусь с тобой; — Порукой мне моих обетов сладость!» — Я взял обет — и отдал жизни радость — Ей до страны иной. — «Отдай мне всё, что есть в тебе святого, — Лауру — страсть твою; — За гробом скорбь я уврачую снова!» — И сердце я рассек и — из больного — Ей вырвал страсть мою».

едине. Мне всё равно! Впрочем, по вашему виду я догадаюсь. Мне ведь достаточно знать: да или нет. Я не буду убеждать вас. Достаточно стыдно и то, что я пишу первая!.. Но Боже мой, если б это было «да!»

Опять он зашел в магазин цветов. Знал, что глупо и не совсем прилично делать третий подарок за сутки. Но ему хотелось оставить цветы Лиле.

В гостиной сидела Нина. Она его встретила с неодобрительным и вместе восхищенным выраженьем на лице.

— Мамы нет дома. Она куда-то ушла... Помилуйте зачем это? Спасибо, прелестные цветы. Эти маме? Правда, вчера был превосходный спектакль? Я обожаю «Гугеноты»... Поставлю цветы в воду. Лиля сейчас выйдет, а меня, значит, пока извините, я ухожу, — сказала она и вышла с букетами.

Лиля вошла и остановилась на пороге. У нее в лице не было ни кровники. Она только на него взглянула и поняла: «Нет!» Он быстро подошел к ней, поцеловал ей руку и подал букет.

— Вы не хотите? — прошептала она.

— Я хочу этого больше всего в жизни. Но это невозможно. Сейчас невозможно.

Она отвернулась и заплакала. У него сердце рвалось от жалости к ней и от любви.

— Я догадываюсь... Вы эмиссар... Я всё давно поняла... Но разве нельзя?..

— Сейчас нельзя. Я завтра уезжаю и я себе не принадлежу. Лиля, ваша жизнь со мной была бы несчастьем для вас...

— Она была бы для меня счастьем! Вы сказали, что это с е й ч а с нельзя? Значит, позднее можно? Когда?.. Я буду вас ждать, я буду вас ждать сколько угодно!

Он молчал. В передней послышался звонок. В комнату опять поспешно вошла Нина. Она быстро взглянула на них.

— Я велела Василисе положить ваши букеты в вазы и поставить в комнаты каждой из нас. Вы ведь нам принесли целый цветочный магазин... Это звонок Тятеньки. Лиленька, ты пошла бы в свою комнату и прилегла. Мосье Виер еще к тебе зайдет, правда? У нее сегодня с утра болит голова. Пойди, Лиленька, мосье Виер зайдет к тебе, — говорила Нина, не останавливаясь ни на секунду. Лиля кивнула головой и выбежала из комнаты.

— Мадмуазель Лиля в самом деле нездорова?

— Да, в самом деле, — сердито ответила Нина. Ей было обидно за Лилю и хотелось «поставить на место этого надутого поляка». — Верно, она в опере немного простудилась. В зале было жарко, а на улице двадцать градусов мороза... Вы останетесь обедать?

— Останусь ли обедать? Нет, к крайнему моему сожалению, не могу.

— Я тоже очень жалею. Сейчас сюда зайдет Тятенька. Я буду занимать его приятным разговором, а вы, быть может, тем временем проститесь с Лилей?

— «Слышу го-лос не-знакомый — В час но-чной меня зовет!» — речитативом сказал из «Гугенотов» Тятенька, входя в комнату. Он поцеловал Нину: успел себе присвоить эту привилегию. — Ниночка, красавица, здравствуйте. Здоров бул, вацпан. Мама дома?

— Нет, но она скоро придет. А у нас к обеду сегодня индейка с каштанами, я вас, Тятенька, даже хотела спросить, как ее подать.

— Вы говорили, Нинетта, что будет и гомар?

— Да, будет и омар.

— Тогда дам консультацию. Подадите индеечку, как у самого Вери, это у него была specialité de la maison... А видел ты, пане Яне, такие ножки, как у вчерашней пажихи? Не ври, будто видел: останешься в стыде... Нинеточка, не слушайте.

— Вы, Тятенька, старый ловелас, — сказала Нина, к его большому удовольствию. В комнату неожиданно вернулась Лиля.

— Красавица моя, — сказал Тятенька, нежно целуя и ее. — Зачем такая бледненькая? Вацпан, нынче опять пойдем в театр, а? Что-то мне желается. Поедем, купим им ложу.

— Это слишком дорогое для меня удовольствие, — ответил Виер, улыбаясь. Он отчасти сказал это для Лили, отчасти же себя наказывал этими словами. Действительно, и Нина, и Тятенька смутились; даже и в России, где был слаб культ денег, люди чувствовали себя неловко, когда кто-либо говорил о своей бедности. «Зачем же он покупает никому не нужные букеты, если он так беден?» — подумала Нина. Но Лиля *поняла:* «Поэтому? Тогда я устрою, я умолю папу и маму!..».

— Вы, правда, не можете остаться к обеду, мосье Виер? — спросила Нина. — Мама будет очень сожалеть.

— Пожалуйста, засвидетельствуйте вашей матушке мое глубокое уважение и признательность за гостеприимство, — сказал Виер. Нина подавила неприязненную усмешку. «Сил нет, какой цирлих-манирлих. Говорит так, что слушать противно. И в жилах у него верно не кровь, а тепленькая водица. Как только Лиля этого не чувствует! Я сразу почувствовала, что он просто слизняк!»

— Я ей передам. Но мы, надеюсь, еще увидимся?

— Я постараюсь заехать еще раз, — солгал он для Лили. К ней возвращалась надежда.

— Вы уже уходите? Лиленька, тогда ты, будь добра, проводи мосье Виера. А вас, Тятенька, я прошу пожаловать в кухню для консультации, идейка пропадет без ваших указаний.

— Избави Бог! — сказал встревоженно Тятенька. — Да еще рано... Ну, что ж, вацпане, естьли я с тобой

не встречусь, то прощай. Паризии кланяйся. Это так Максим Грек говорит: «Паризия град есть многочеловечен в Галиех. Держава велия и преславная и богатяща. Тамо обрящеши всякое художество». Только художествами революции не увлекайся, пан, чтоб ей ни дна, ни покрышки! Сколько еще она унесет хороших людей! Брось, брат, политику, не доведет она тебя до добра. А уж естьли там кого в Париже не взлюбишь, ну, сделай ему пакость, коли хочешь и можешь, хоть вовсе и не надо бы, — да держи язык за зубами. По-моему, самые умные комары это те, что не жужжат. Никогда не говори: иду на вы. Тот наш удельный князь, что это сказал, ни бельмеса в политике не понимал.

— Да... Да, Паризия, — сказал Виер. Он даже не слышал того, что говорил Тятенька. Старик пожал плечами.

— Вижу, что даром тебя учу. Сейчас иду, Нинетта... Ты слушал бы меня, когда еще даст Бог увидеться? Помни, что политика это самая канальская страстишка. Ты хоть еще юнец, а у иного человека она сидит в душе и тогда, когда из него давно, с дозволения сказать, песок сыпется. Другой старый политик — о нем все уже и думать забыли, а он всё еще с собой носится, как дурень с писаной торбой. Вот, так в Англии старички, бывшие боксеры: он и весь скрючен от рейматизмов, печенка лет пятьдесят как отбита, а ему по ночам, верно, снятся эстрады, и как он, радость этакая, кому-то под микитки заехал, и рев дурачья... Ну, дай тебя обнять. Эх, и я бы с тобой съездил! Славный городок Париж. Не хуже Киева.

— Лиля, — быстро сказал Виер. — Я теперь ничего не могу вам сказать, не имею права. Если б я не боялся громких слов, я сказал бы одно: у вас в моем сердце есть лишь одна соперница, это мировая революция, великое дело освобождения всех народов, и моего, и вашего. Мне дано ответственное поручение. Позднее я

найду средства для жизни и дам вам знать. Но не ждите меня. Помните, что вы совершенно свободны.

— Я буду вас ждать сколько вы захотите! Сколько вы прикажете!

— Не надо. Вы свободны.

— Вы ничего мне теперь не можете сказать? Ничего не объясните?

— Не могу, но я напишу вам. И я напишу так, чтобы вас не скомпрометировать. Вы знаете, что такое симпатические чернила?

— Нет, я не...

— Это чернила, которыми пользуются для тайной переписки. Я употреблю самое простое. Вот что... Я напишу вашей матушке. Там будут просто новости обо мне. Но вы возьмите письмо у мамы, хоть украдьте. И осторожно нагрейте листок. На нем выступят буквы, вы прочтете. Я и тут, избави Бог, не скажу ничего компрометирующего вас. Но вы узнаете мои планы... Наши планы!.. Ну, прощайте, больше ни о чем меня не спрашивайте... Спасибо вам за всё. И за ваше милое гостеприимство в Киеве. Будете писать маме, передайте ей, прошу вас, мой нижайший поклон, — сказал он и вспыхнул, подумав, что теперь глупо и грубо говорить о гостеприимстве и нижайшем поклоне. Он опять поцеловал ей руку.

— Я... я хочу вам дать розу на память, — прошептала она, глотая слезы. — Вот она... Вы не забудете меня?

— Я вас не забуду до моего смертного часа! Спасибо... За всё спасибо!

Он больше сам не знал, лгал ли ей для ее успокоения или говорил правду. «Но это было все-таки лучшее, что я мог придумать».

Лиля у себя заперлась на ключ и долго плакала, опустив голову на правую руку, на ту, которую он поцеловал.

XI

Случилась добрая цирконстанция.

Из старой хроники

Роксолана устроилась в Париже необыкновенно успешно.

Ей сразу стало ясно, что наконец-то она нашла настоящий город: только здесь и стоило работать. Попала она в очень дешевую гостиницу. Знала, что в ней не останется, но решила не торопиться: «Сначала как следует осмотрюсь, а потом сниму квартиру». Целый день бегала по Парижу, останавливалась перед витринами магазинов: они приводили ее в совершенный восторг: «Где уж и Константинополю, и этой Флоренции!» Всё же о Константинополе вспоминала с нежной грустью: как все, была этим городом зачарована на всю жизнь. И у нее было там столько приятелей, здесь никого.

Тепрь она регулярно каждый день читала газету с трудным и малопонятным названием «Le Constitutionnel». Старалась запомнить, кто — кто, заучивала имена, самые трудные выписывала и зазубривала: «Ледрю-Роллен, Ледрю-Роллен»... В одной газете она прочла, что знаменитый писатель Бальзак посещает гадалок и очень им верит. «Вот, значит, и писатель, а дурак, — думала она, впрочем, ласково. — Как бы его заполучить?» Когда в витрине магазина ей попадался портрет какого-нибудь знаменитого человека, всматривалась и запоминала. Она была наблюдательна, а наружность людей, которых хоть раз видела, обычно не забывала.

Особенно внимательно она читала объявления о гадалках и квартирах. Эти объявления вырезывала и прятала в ящик стола. Побывала у трех гадалок; пришла к ним как клиентка, честно заплатила, слушала их очень внимательно, ко всему присматривалась и всё запоминала (одна старая гадалка даже подозрительно на нее смотрела). Выходила от них Роксолана с каждым разом

бодрее и увереннее: «Буду не хуже их, а то и лучше!.. Комнат надо не меньше, как три: приемная, кабинет и спальная. И чтоб место было хорошее. И на мебель нельзя жалеть денег».

В книжном магазине, в котором она покупала газеты, приказчик посоветовал ей приобрести книгу: «Les Mystères de Paris» Евгения Сю. — «Все читают и очень хвалят. Автор сам всё это видел, все эти притоны», — сказал приказчик. Эти слова ее заинтересовали. Роксолане не приходило в голову, что можно читать книги для удовольствия, но нельзя же было целый день бегать по улицам. Вздохнула, попробовала поторговаться, — оказалось, что не полагается. Это было единственное, что ей не нравилось в Париже: нигде торговаться нельзя, никакой скидки не делают; так и от покупок меньше удовольствия. Всё же эту книгу она купила. Начала дома читать и не могла оторваться. По вечерам дрожала от страха: «Сколько в этом городе злодеев!» Узнав, что Флер де Мари, милая девушка из притона, на самом деле дочь принца Рудольфа Герольштейнского, она растрогалась: «Что, если и мой отец принц! Вдруг когда-нибудь меня отыщет? Разве я знаю, кто мой отец?» Мечтательно представляла себя принцессой и думала, как тогда будет жить. Ничего особенного впрочем придумать не могла. Можно было, правда, накупить бриллиантов. Теперь, начитавшись «Парижских тайн», она возвращалась домой тревожно, вечно оглядываясь: не идет ли по пятам какой-нибудь Ферран! Она не чувствовала страха в самых мрачных кварталах Константинополя: их хорошо знала, и о Константинополе таких романов не читала.

Осмотревшись в городе, Роксолана решила поселиться на левом берегу, в лучшей его части. Одно объявление показалось ей вполне подходящим: «Сдается очень красивая квартира. Салон 6 метров на 6.65, две спальни. Шла прежде за 2400 франков в год, теперь, по случаю отъезда, сдается за 1800». Место было отличное.

Был только один недостаток: на этой же улице, в доме номер 20-ый работала сомнамбулка мадмуазель Генриетт, тоже печатавшая объявления. Но Роксолана сомнамбулок не уважала и не считала их конкуренцию опасной.

Квартира была в первом этаже; это тоже было преимуществом: среди клиентов у гадалок бывало немало стариков, и им трудно было бы подниматься по лестницам. Роксолана немного опасалась, что через окно может влезть грабитель, но улица была людная, и недалеко на углу стоял полицейский. По виду владельца решила, что тут могут уступить, и долго торговалась, как прежде, по-восточному, выходила и возвращалась; выторговала сто франков и была очень довольна. Затем купила хорошую мебель, частью новую, частью по случаю. Купила треножник, зеркало, старинный кофейник, карты. От петуха отказалась, чтобы не пачкать квартиру; предсказывать будущее можно и без петухов. Как все гадалки, побывала на кладбище Пэр-Лашез, на могиле госпожи Ленорман. С такими чувствами молодые честолюбивые офицеры ходят к гробнице Наполеона.

И как только она окончательно устроилась, в газетах появилось объявление:

Roxelane est à Paris.

La célèbre cartomancienne egyptienne, chiromancienne de lucidité peu commune annonce les événements futurs.

Seánce de 11 à 4 heures.

Она решила навсегда остаться Роксоланой. Имя ей нравилось и как нельзя лучше подходило для дела. Составить объявление помог в конторе старичок. Он очень ласково ей улыбался и попросил погадать ему по руке. Роксолана предсказала ему долгую жизнь и счастливую любовь. Сидевшая в комнате служащая фыркала. Но старичок был доволен и сделал скидку.

Объявление имело успех: не то, чтобы сразу пова-

лил народ, но стали приходить люди: в первый день пришла одна клиентка, во второй — клиентка и клиент, затем меньше четырех-пяти человек в день не приходило. Гадала она добросовестно: вначале каждому посетителю отдавала не менее получаса, а то и больше, если у нее было впечатление, что он придет опять. Очень способствовал успеху ее певучий мелодический голос. Она знала, что это одно из главных ее очарований, и пользовалась им умело.

Скоро она стала отличной гадалкой. Во время сеансов произносила египетские заклинания и пила кастальскую воду. Один клиент робко спросил, что это такое. Роксолана ответила, что есть такой источник и что в нем утопилась одна важная нимфа; ответила уверенно, но скороговоркой, так как забыла справиться, что такое нимфа. Иностранный акцент способствовал ее успеху. Она пользовалась также приемом самой дорогой из посещенных ею гадалок: заставляла клиентов долго ждать, а когда они, наконец, входили, небрежно пересчитывала на столе золото, — будто его только что оставил другой клиент. Это производило тем большее впечатление, что золото после революции стало понемногу исчезать. У одной из гадалок вводил посетителей странно одетый человек в шляпе с пером. «Хорошо, да дорого, — думала Роксолана, — может, позднее найму, когда будет много дохода. Не всё сразу»... Сама она носила египетское одеяние. Долго колебалась: гадалке лучше быть старой женщиной, молодые не внушают доверия; но ей очень не хотелось изображать старуху даже с незнакомыми людьми. Впрочем, клиенты ею, как женщиной, не очень интересовались: в гадалок влюбляются так же редко, как в шпагоглотательниц или в женщин со змеями на шее. Это ее тяготило: она с сожалением вспоминала о сумасшедшем русском старике: «Где-то он теперь? Верно скучает со старой женой?» Раз даже погадала о нем, выпив глоток кастальской воды, но ничего не увидела.

«Ей хорошо, Генриетте, принимать от девяти утра до семи вечера! Они, француженки, все такие, работают с утра до ночи», — сердито думала Роксолана. Действительно, ее с первых же дней поразило трудолюбие французов, которых везде, даже на Востоке, считали легкомысленными людьми. На самом деле в Константинополе никто не работал так много, как они. «А я не могу, мне и отдохнуть надо, и в кондитерской посидеть. Если работать целый день, то зачем же тогда и деньги?» Вставала она довольно поздно, хотя и скучно было лежать в кровати одной. Завтракала наскоро дома, но в четыре часа, тотчас после сеанса, уходила в кондитерскую, пила шоколад, ела пирожные.

Успех рос с каждым днем. Она начала печатать объявления три раза в неделю; тот же старичок менял для нее текст. Стали приходить репортеры и бесплатно печатали заметки. Называли ее знаменитой, изумительной и даже гениальной. О ней заговорили в Париже. Как обычно в революционное время, вера во все таинственное увеличилась. К Роксолане приходили люди, не желавшие называть свое имя. Она загадочно улыбалась, кивала головой, делала вид, что ей известно, кто они. Предсказывала осторожно и ловко. Теперь окончательно убедилась в том, что все люди чрезвычайно глупы и похожи друг на друга; собственно она и всегда так думала, но допускала возможность, что так только в Турции; оказалось, что так везде, — уж если в самом Париже! Цену за гаданье она скоро подняла и теперь ни одному посетителю больше десяти минут не уделяла. Жила она по-прежнему скромно: сегодня люди ходят, а завтра вдруг, не дай Господи, перестанут ходить!

Старичок, довольный ее успехом и продолжавший делать ей скидку, как-то ей сказал, что ей следовало бы купить ценные бумаги. — «Теперь они сильно упали, а как только кончится революция, очень поднимутся в цене». Сначала она отнеслась к совету старичка недоверчиво: ясное дело, хочет надуть. — «А где их поку-

пают?» — «На бирже. Но лучше сделайте это через банк, там вам и посоветуют». «Если сам ничего не предлагает, то значит, выгоды ему никакой нет», — подумала Роксолана. О банках она знала, но никогда в них не была. «Вдруг не обманут?» Подумав, выбрала банк Ротшильдов: о Ротшильдах слышала восхищенные рассказы еще в Константинополе. Для верности выдала себя директору за еврейку: «Лучше будут относиться, да и знают, что еврейку не обманешь». Бумаги купила, — со вздохом положилась на мнение директора и на судьбу. Но то, что оставалось от золота, подаренного ей Лейденом, держала у себя в доме под ключом. Украдут золото, — останутся бумаги; обманут Ротшильды, — останется золото.

Всё как будто шло превосходно: даже и надеяться на такой успех было невозможно. Но ей становилось всё скучнее в этом знаменитом городе. Она не привыкла жить без мужчины.

XII

Stryge, harpie, magicienne, empouse, larve, lemure, goule, psylle, aspiole . . .*)

Balzac

Незадолго до начала обычного приема у дома Роксоланы остановилась элегантная коляска с кучером в коричневой ливрее с золочеными пуговицами. Из нее с трудом вылез толстый грузный человек, остановился на мгновенье, вглядываясь в номер дома, затем, опираясь на трость, медленно поднялся по ступенькам. Роксолана, сидевшая у окна, как почти всегда в свободное время, ахнула: «Бальзак!.. Ко мне! Конечно, ко

*) Так Бальзак называет гадалку. Перевести почти невозможно.

мне!..» Тотчас узнала его по портрету. Она выбежала в переднюю и отворила дверь. Обычно отворяла ее только перед самым приемом, всё боялась разбойников. Гости звонили, потом замечали, что дверь не заперта, и входили. Так лучше, пока нет человека в шляпе с пером. Вернулась, села в кресло и приняла таинственный вид. «Что ему предсказать? Чтобы поумнее?..»

Он вошел, переваливаясь, ласково с ней поздоровался, неторопливо и внимательно оглядел комнату и, не дожидаясь приглашения, тяжело опустился в кресло, поставив трость между коленями и опираясь на нее обеими руками. Начинать разговор не спешил: долго смотрел на гадалку, особенно на ее лоб и глаза. С этого обычно начинал изучение незнакомого лица, — как дантист первым делом смотрит на зубы нового человека, а сапожник на его обувь. По-видимому, остался доволен.

— Так вы наша новая, знаменитая гадалочка? — весело спросил он.

— Да, я знаменитая Роксолана, — нараспев ответила она. Была несколько озадачена: не привыкла к такому началу разговора с клиентами; обычно они сперва очень смущались.

— Я прочел, дорогая египтянка, ваше объявление в газетах. Не делайте вид, будто вы не знаете, кто я такой. Я Бальзак, Онорэ де Бальзак, знаменитейший из всех писателей мира. Меня все знают. И я всех знаю. Знаю и всех гадалок. Они делают мне скидку. Ни одна с меня не берет больше двух франков. Я ведь сам маг: доктор магических наук. Имейте это в виду. И обмануть меня никто не может. Бойтесь меня!

«Два франка! Хорош!» — разочарованно подумала Роксолана. Тем не менее клиент ей понравился, хоть и не наружностью. «Ох, какой некрасивый! Совсем как лавочник в Галате. А глаза замечательные, просто как у меня, да черные! Только ресницы дрожат... Скидку ему можно сделать. Скажу газетчикам, что приходил

Бальзак, они напечатают, да еще присочинят, и повалят новые люди».

— Моя цена пять франков, — ответила она строго. — Но вы можете заплатить сколько вам угодно. Я, конечно, вас тотчас узнала. А не узнала бы, так мне сказали бы карты. С такого человека, как вы, я могу взять и два франка. — Хотела было добавить «даже меньше», но не добавила. Хотела также сказать: «Я все ваши книги читала», но не решилась: вдруг начнет спрашивать.

— Так вы в самом деле иностранка! — сказал он удивленно. — Все парижские гадалки выдают себя за иностранок. Ваше ремесло во Франции единственное, где выгодно быть иностранцем. Постойте, я хочу по вашему акценту установить, кто вы такая. Полька — нет, русская — нет, немка — нет, итальянка — тоже нет. Когда я прочел в вашем объявлении «Роксолана», я подумал: «Конечно, еврейка из квартала Ратуши, и зовут ее Рахилью или Ревеккой. Но какая умница, как хорошо придумала имя: «Ро-ксо-лана», — протянул он тоже нараспев, с совершенной точностью ей подражая. — Имя имеет огромное значение и для гадалки, и даже для писателя. Мне в моих романах стоит большого труда находить подходящие имена. В имени есть таинственная сила, оно связано с характером человека. Вы из-за имени Роксолана будете иметь успех. Вот ведь и я из-за него пришел. Среди вас, гадалок, очень много дур, а ты, очевидно, умная, — сказал он. — Ты не еврейка, я вижу. Но кто же ты?

— Я египтянка.

— Ты врешь... Ну, хорошо, египтянка так египтянка. Глаза у тебя чудесные, а голос такой, что, если б ты не была знаменитой гадалкой, то ты могла бы затмить Малибран. Это была певица, ты о ней не слышала, гадалки ничего не знают. Я, напротив, всё знаю и всех людей вижу насквозь. И тебя вижу насквозь. Обрати внимание на мои глаза, они проникают в любую душу! Не смей мне врать, я тотчас замечу, скажу журналис-

там, и ты будешь навсегда опозорена! А если ты будешь гадать честно, то я, напротив, буду им тебя очень хвалить. Подумай, какая для тебя реклама: тебя хвалит сам Бальзак! Я создал славу многим людям. Я вывел в люди Стендаля! Это был такой писатель, ты его не читала, как не читала даже меня. Ты, может быть, читала только болвана Сю... Ну, хорошо, приступим к делу. — Он отставил трость и протянул руку. — Карт не надо. Вот тебе моя рука. Смотри, какая она красивая. Обрати также внимание на мой нос и особенно на мою шею! Ах, какая у меня шея!.. Ну, выкладывай. Говори, сколько я проживу. Это единственное, что вы можете сказать. В остальном гадалки врут. Но это вы действительно знаете. Как, — не понимаю. Я верю в чудеса. Я даже сам их творю. И тоже не знаю, как. Постой, скажи раньше другое: я женюсь или нет?

«Ловушка», — вглядываясь в него, подумала Роксолана, — «верно, он женат? Нет, видно хочет знать».

— Женитесь, — сказала она, осмотрев его руку. — На хорошей женщине.

— Правда? — радостно спросил он. — Я тоже думаю.

— На богатой, — подтвердила Роксолана. — На бедной ни за что не женитесь.

— Ах, как ты права! Умница! Скоро?

— Не очень скоро, но и не так, чтобы это было уж очень далеко.

— Совершенно ясно! Так может гадать и не египтянка... Ну, а теперь сколько я буду жить?

«Сказать мало — рассердится, больше не придет, и газетчикам будет меня ругать, — подумала Роксолана. — А долго верно жить не будет, такие тучные, с жилами на лбу, долго не живут».

Она опять принялась изучать его ладонь, что-то шептала, поднимала глаза к потолку. Он смотрел на нее с волнением.

— Долго проживете, — наконец сказала она. Он

облегченно вздохнул и, выдернув руку, откинулся на спинку кресла.

— Больше ничего не надо, слава Богу!.. Я тебе дам три франка! А что такое «долго»? Двацать лет проживу?

— Проживете.

— А тридцать?

— Нет, тридцать не проживете.

— Сколько же? Двадцать пять?

— Двадцать семь и три месяца.

— Всё ты врешь... Ты давно гадалка?

— Всегда была. И мать моя была, и бабушка.

— Тоже врешь. Ну, что ж, благодарю тебя. В награду я тебя поцелую, — сказал он, придвигаясь к ней, и поцеловал ее. — Вот тебе три франка. И я сделаю тебе рекламу, будь спокойна... Позавчера я видел одного человека, который только что приехал из Америки. Он говорил, что там где-то обнаружены необычайные явления. Таинственные стуки, какие-то странные столы... Это кто-то назвал спиритизмом. Духи сообщают будущее. Весь Нью-Йорк об этом говорит. Ничего невозможного тут нет, только очень ограниченные люди не верят в чудеса. Что такое чудо? Новое явление, недоступное науке. Пароход еще недавно был чудом. Я очень хотел бы узнать точнее, что это такое, спиритизм. Они при помощи столов сносятся с потусторонним миром.

— Моя мать была знаменитая гадалка. А этого в Париже нет, столов? — спросила Роксолана, слушавшая его очень внимательно.

— В Париже пока нет, скоро, верно, заговорят и у нас... Наши дураки ученые не верят ни в магнетизм, ни в гипнотизм! Между тем я сам гипнотизер. Если хочешь, я тебя загипнотизирую? Сколько тебе лет?

— Двадцать шесть.

— Ты очень красива. — Он пододвинулся к ней еще ближе и положил ей руку на колено. — Я думаю, что ты очень опытна в любви. Как это хорошо! Ничего лучше любви нет! Занимайся ей, милая, занимайся ею,

пока не поздно. Скоро всё пройдет. Ты думаешь, я всегда был такой? Я был одним из самых изящных людей Парижа!

«Ох, и ты врешь еще получше меня», — подумала Роксолана. Костюм на нем был потертый, давно не глаженый и весь в пятнах. Только трость была дорогая.

— Это видно еще и сейчас.

— «Еще и сейчас!» — грустно повторил он. — Молодые франты старались мне подражать. Я уже тогда был знаменит. Кроме того, я происхожу из древнего рода графов Бальзак д'Антрэг. На моих колясках, на моих эскарго и милордах была наша родовая графская корона. Всё это, конечно, за мной осталось, но молодость прошла... Сколько, по-твоему, мне лет? Говори без гаданья, просто на глаз.

«Верно под шестьдесят», — подумала Роксолана.

— Лет пятьдесят пять.

Он рассвирепел. Ему еще не было сорока девяти.

— Ты дура! — сказал он. — Редкая идиотка! Где тебе быть гадалкой, когда ты не видишь и наружности человека! Брось твое ремесло и поступай в веселый дом!

— На вид вам еще больше! — ответила она, рассердившись. — Я из любезности сказала, что только пятьдесят пять!

— Ну, ладно, теперь я тебе погадаю, — сказал он и насильно взял ее руку. К ее удивлению, он стал называть линии ладони совершенно правильно, знал даже такие, о которых она и не слышала. — Ах, нехорошо, нехорошо! — сокрушенно сказал он. — Ты будешь жить не очень долго. Лет до пятидесяти доживешь. И скоро ты состаришься! Ах, как ты скоро состаришься! Ты знаешь, когда женщина дурнеет, это всегда происходит очень быстро. Прежде всего исчезнет твой чудный цвет лица. Это еще пол беды, можно краситься. Затем появятся морщины, с ними бороться уже гораздо труднее. Потом начнут выпадать зубы...

— А у вас их уже нет в верхней челюсти! — гневно

перебила она его. — Я и то удивляюсь, как вы еще не сюсюкаете!

— Самое лучшее, что в тебе есть, это глаза, — говорил он. — Но глаза с годами теряют свой блеск. Все восточные женщины к тридцати годам уже никуда не годятся. Кажется, в Италии есть такая поговорка: «В сорок лет женщину надо бросать в реку одетой». Это я, по своей доброте, продлил вам всем жизнь, а вы, дуры, и ухватились: «Бальзаковский возраст, ах, ах, я еще хороша!» Так то европейские женщины, а ты родилась на востоке. Ты безобразно растолстеешь, будешь вечно чувствовать слабость в ногах, трудно станет ходить, появится одышка, начнет болеть печень...

— Да что вы всё!.. — начала в ярости Роксолана. Но его нелегко было перебить. Он всё крепче сжимал ее руку. Глаза у него расширились и блестели почти неестественно. «Да не пьян ли? Ух, какой стал страшный!» — подумала она, тщетно стараясь от него отодвинуться.

— А потом у тебя в одном из глаз появится черная точка! — сказал он полушепотом. Лицо у него вдруг задергалось. — Ты не будешь знать, что это такое. Непонятная, необъяснимая, нестерпимая черная точка! А ведь она что-то должна значить, а? Ты начнешь звать врачей, но и они знают немногим больше нас. Быть может, я понимаю больше, чем они. Они будут тебя лечить. Они запретят тебе вино, чай, кофе. Потом верно появится и подагра. Они велят тебе, идиоты, опускать ноги в окровавленные внутренности поросенка.

— Ах, гадость какая! — сказала она, бледнея. — Да ничего такого у меня никогда не было и не будет!

— Будет! Будет, говорю тебе! Врачи станут уверять тебя, что ты скоро выздоровеешь, что тебе уже лучше, гораздо лучше! Ты будешь знать, что они бессовестно врут, но будешь уверять и других и, главное — о, дура! — себя, себя, что тебе в самом деле лучше, что ты выздоравливаешь, что ты опять скоро будешь здорова и

крепка, как прежде. Нет, не будешь здорова, нет, не будешь крепка! Больше никогда не будешь! К тебе будут приходить друзья, так называемые друзья, нет ни у кого друзей! Они тоже будут тебе говорить, что тебе лучше. Не верь, не верь! Они всегда врут. А подлецы врачи знают, что умирает человек, что умирает великий человек, но шутят с ним, делают вид, будто он выздоравливает, и думают, идиоты, что он этого не замечает! А другие гадалки соображают, сколько им прибавится дохода, когда ты умрешь. А наследники навещают тебя и приглядываются волчьими глазами. Родные, сестра, мать. И у тебя верно мать чудовище... Никому не верь, никому!

— Да неправду вы всё говорите! Меня все любят! Перестаньте вы, что же это такое!

— Ты будешь заниматься своим делом, ты будешь обставлять свой дом, покупать мебель, картины, хвастать ими. А сама будешь знать, что это ни к чему, что твои дни, быть может часы, сочтены, что перед тобой она, она, смерть! Это единственное что важно, всё остальное вздор. Но люди, безумные люди, об этом не думают. Думают обо всём другом, о вздоре, о чистом вздоре, но не об этом! И вот она появится, она со всей своей грязью, со всеми своими мученьями. И тебя отвезут на кладбище, будут говорить лживые речи, — да хотя бы и правдивые! Да, да будет слава, будет бессмертная слава, а что тебе в ней, ты не прочтешь того, что они будут тогда о тебе писать. Зато *там* будет пир, пир червей. У них, как у людей, есть богатые и бедные, одним повезло, захватили хороший кусок земли. Но они гостеприимны, они пригласят к себе тех, кто перед ними подличает, пригласят к себе на обед полакомиться: прибыл человек, большой жирный человек! Может быть, ты рассчитываешь на другую жизнь? Не верь, не верь, ее нет, нет, это сказка для утешения людей. Я сносился с духами, ты этого не поймешь, это могут понять гениальные люди, как я или Сведенборг. А что, если и мы

себя обманываем? Других ничего, так им и надо. Но себя? Ничего не будет, ничего!

Она вдруг заплакала. Он выпустил ее руку и, тяжело дыша, откинулся опять на спинку кресла, глядя на нее своими страшными глазами. Его лицо было смертельно бледно. Ресницы тряслись теперь беспрерывно.

— Что же это? Что это такое? — говорила она, всхлипывая. — Зачем вы пришли? Убирайтесь от меня вон поскорее! И никаких ваших денег мне не надо... И что выдумали, новость какую! Что люди умрут, что я умру! А разве я и без вас этого не знаю! И неправда, будто ничего не будет. В святых книгах сказано, что будет. А они поумнее ваших... За что только вам деньги платят? Вы верно сумасшедший, вот вы что!

Он опомнился. На лице его выступила улыбка. Он тяжело встал и обнял Роксолану. Она его отталкивала.

— Ну да, ну да, конечно, я сумасшедший, ты совершенно права, — говорил он ласково. — Не слушай меня, я всё вру! Вот, возьми еще десять франков, ты мне чудно погадала. Возьми, возьми деньги, это за твое гаданье. Я всем буду говорить, какая ты хорошая гадалка. Самая лучшая из тех, что я видел, а я видел всех, — говорил он, целуя ее. Она машинально сунула куда-то деньги и стала вытирать слезы. Из передней послышался легкий робкий звонок колокольчика. Он вздрогнул.

— Ну, вот видишь, и еще клиент пришел. Будет заработок, видишь, как хорошо, — говорил он. — И вот что, ты ему непременно скажи, кто у тебя только что был. Скажи, что был Бальзак, великий Бальзак! А я скажу журналистам, они всё обо мне печатают. Они мною занимаются двадцать пять лет, много на мне заработали, проклятые. Терпеть меня не могут, а пишут, пишут... Ну, вот, мы и перестали плакать. Теперь мы улыбнемся, правда?.. Так ему, клиенту, и скажи: «Вы видели, кто у меня был? Это был Бальзак, сам Онорэ де Бальзак!» И так небрежно скажи, как будто я у тебя

бываю каждый день. Можешь даже добавить, что я тебе оставил кошелек с золотом. Нет, этого не прибавляй: не поверят, меня знают. Но он будет поражен и вечером всё расскажет в кофейне. И к тебе повалят люди, видишь, как будет хорошо? И я тоже буду к тебе заезжать, ты мне очень, очень понравилась. Я вас всех, гадалочек, люблю, вы ведь наши собратья, тем же делом занимаетесь, только по-иному. А ты умница, у тебя в голове много больше мозгов, чем у дурака Сю.

Когда Роксолана успокоилась, он надел шляпу, взял трость и простился с ней. Она вышла за ним. В передней сидел какой-то испуганный старик. Бальзак и его окинул взглядом, всё в нем заметил и занес в память.

— Я чрезвычайно вам благодарен, — громко сказал он, обращаясь к Роксолане. — Всё было совершенно верно. Я никогда не встречал такой прекрасной гадалки, как вы.

— Благодарю вас. Так до скорого свиданья, мосье де Бальзак, — сказала она тоже громко и действительно самым небрежным своим тоном. Он усмехнулся, одобрительно кивнул головой и вышел.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

Препотешное существо — порядочный человек: я всегда смеялся над каждым порядочным человеком, с которым знаком.

Чернышевский

I

Революции кончаются по-разному, но начинаются они почти всегда одинаково. Многие их хотят, — одни горячо, другие без большой горячности. Их считают неизбежными, их даже задолго предсказывают. Тем не менее приходят они всегда неожиданно, — застают врасплох и тех, кто их боялся, и тех, кто их желал. Никто никогда не бывает «готов» к революции, как никто никогда не бывает готов к войне. Обычно вначале проливается мало крови, — все революции в первые дни объявляются бескровными. Победившая сторона хоронит своих с необыкновенным почетом, хотя в большинстве случаев это жертвы случайные: погибшие люди чаще всего еще накануне в мыслях не имели, что будут сражаться за новый строй. Жертвы же побежденной стороны замалчиваются, несмотря на то, что обычно это лучшие люди в потерпевшем поражение лагере: не лучшие вначале прячутся, худшие перебегают к победителям.

И тотчас начинается радость, необыкновенная, чаще всего искренняя радость. Подделывается под нее меньшинство по соображениям выгоды или безопасности. Не разделяют ее холодные люди, вообще неспособные заражаться чужим восторгом. Когда в воспоминаниях участников революции, не изменивших позднее

своим убеждениям, попадаются слова о «божественной лихорадке» ее первых недель или месяцев, незачем смотреть на это, как на дурную словесность. Они говорят правду. Напротив, обычно (сознательно или бессознательно) лгут люди, которые «с первого дня предвидели» и «с самого начала говорили», — таких скоро появляется много. Очень часто, слишком часто, «заканчивающий» революцию третий строй, оказывается неизмеримо хуже до-революционного. Тем не менее почти всегда *что-то* остается. В так называемом конечном счете, все революции более или менее неудачны, но *совершенно* неудачных революций не бывает: кое-что остается даже от тех, которые быстро топятся в крови, как восстание декабристов или Парижская коммуна. Если не остается ровно ничего, то сохраняется хоть легенда. К ней и ее героям незачем присматриваться слишком близко. Суда же истории быть не может не только потому, что «судьи» — люди разных взглядов. Нельзя расценивать несоизмеримое: легенду, террор, победы, разорение, политические приобретения, число человеческих жертв. «Суд» современников, разумеется, еще пристрастнее «суда» историков, но, быть может, всё-таки ценнее, — по крайней мере для художника. Свидетельские показания важнее приговоров; они хоть определяют свидетеля.

Февральской революции 1848 года предшествовала кампания банкетов. Требования оппозиции были умеренны и разумны: главное сводилось к расширению избирательного права. Людовик-Филипп не соглашался по разным причинам: частью по своей старости и ограниченности, частью потому, что вообще не любил и боялся бедняков. Но особенно боялся того, что политические деятели, будто бы представляющие бедных людей, заставят его объявить войну России: народные ораторы требовали войны за освобождение Польши. Вдобавок он думал, что вожди оппозиции перессорятся между со-

бой на следующий же день после того, как он призовет их к власти. В этом он не ошибался.

Вожди крайних давно требовали, чтобы «народ вышел на улицу». Умеренные возражали: нет такого политического вороса, из-за которого стоило бы проливать кровь. Спор был бесполезен именно по несоизмеримости понятий. Но с каждым днем становилось всё яснее, что политика умеренных по существу означает подчинение правительству. Ламартин объявил, что «выйдет на улицу хотя бы в сопровождении одной своей тени». Вышли на улицу студенты и рабочие. Где-то кто-то выстрелил, пролилась кровь. Пролито ее было не очень много, — люди, пришедшие на смену королю, скоро пролили ее гораздо больше. Однако Людовик-Филипп так всем надоел, что защитников у него оказалось очень немного.

Манифестациями и даже баррикадами в пору его царствования удивить было трудно. В первый день никто не придавал им значения: чернь опять погуляет с флагами и разойдется; загородит улицу камнями, полиция камни разберет; будут убитые и раненые, что ж делать, очень жаль. Но на второй день благоразумные люди старались не выходить на улицу, слова «чернь» не произносили и даже неуверенно говорили «революционный народ». А затем стало известно, что революция победила, что король отрекся от престола и бежал. Тотчас начали выходить из дому и благоразумные люди. На улицах прохожие, тоже не совсем уверенно, делали попытки обниматься, больше впрочем по традиции: все смутно помнили, что в такие исторические дни полагается, как это ни странно, обниматься с незнакомыми людьми; кроме того полагается *взвиваться* каким-то орлам, неизвестно откуда взявшимся.

Образовалось Временное правительство. Никто его не избирал и, разумеется, выбирать тогда было невозможно. «Революционный народ», т. е. случайно собравшаяся, весьма разнообразная во всех отношениях толпа, «избрал par acclamation» основную группу министров:

Дюпона, Ламартина, Араго, Ледрю-Роллена, еще несколько человек. Всё это были известные люди, их имена в пору монархии примелькались в газетах, и громадное большинство «избирателей» знало преимущественно то, что все они «хорошие», в отличие от королевских министров. С трибуны или из залы выкрикивалось то одно, то другое имя, толпа орала «Да!», или «Да здравствует Ламартин!», или «Да здравствует Дюпон!» Правда, кое-кто орал и «Нет!», «Не надо!», «Не хотим!», но в общем взволнованно-радостном настроении первых часов революции кричавших «Да!» было гораздо больше, или кричали они громче, и названное лицо признавалось избранным.

Король принял революцию философски. Собственноручно своим каллиграфическим почерком, написал акт об отречении, надел черный сюртук, вышел из Тюильри и уехал за границу. Временное правительство послало ему на дорогу триста тысяч франков. От Людовика-Филиппа оно избавилось очень легко, но в нем самом полные взаимной любви отношения продолжались лишь несколько часов. Помимо того, что обиделись все известные люди, не избранные революционным народом (некоторых просто случайно забыли предложить), стало совершенно ясно, что выбранные государственные деятели, в большинстве баловни судьбы, никак не могут считаться представителями бедных, часто полуголодных, забитых жизнью людей. Они были наиболее левыми из умеренных; и на следующий же день им пришлось, с ласковыми улыбками и с затаенными проклятьями, привлечь в правительство наиболее правых из крайних, Луи Блана, Флокона, Марраста, Альбера: этих уж совсем никто не избирал, даже «par acclamation». Таким образом правительство составилось из двух групп. Они ненавидели одна другую (как впрочем ненавидели друг друга и многие люди в пределах одной группы). Тем не менее с внешней стороны отношения

между всеми членами Временного правительства были в первое время корректными.

На сторону новой власти стали переходить маршалы и генералы, также и те, кто, как маршал Бюжо, считались главной опорой трона. Они тоже клялись в своем свободолюбии, признавали, что республика лучшая форма правления, с жаром приветствовали самую бескровную из всех революций, *братались* с революционным народом, предлагали Временному правительству «свою шпагу» (а генерал Шангарнье еще и «свою привычку побеждать»).

Временное правительство объявило амнистию, ввело всеобщее избирательное право, разослало комиссаров в провинцию, приняло своей властью много новых законов, в большинстве очень хороших и разумных. Популярность его в течение недели была безгранична. И, как всегда бывает, сразу один человек оказался самым популярным из всех. На эту роль, необходимую во всех революциях, обычно выдвигаются честные, красноречивые, романтического склада люди.

Во Франции таким человеком в феврале 1848 года оказался Ламартин. Каждый день все с восторгом цитировали его новую речь, его новое историческое слово, — он сказал, что выйдет на улицу хотя бы в сопровождении одной только своей тени! Он готов умереть за свободу!.. Правда, Ламартин на улицу не вышел и не умер, но это в первые дни ни малейшего значения не имело. Он был лишен политической проницательности и ровно ничего не предвидел из того, что произошло во Франции. Но почти ничего не предвидел и почти никто другой. Был он хороший и даровитый человек, работал как вол, делал что мог и умел; и хотя впоследствии отказался от многих своих убеждений, никак не заслуживал тех чувств, которые вызывал во Франции в последние двадцать лет своей жизни. Комическая черта у него в 1848 году была лишь одна: он был (впрочем, как многие правители) искренно убежден в том, что на-

род его обожает, — хотя никак нельзя было бы понять, за что собственно должен его обожать народ. На самом деле уже через месяц после переворота, Временное правительство («Le Gouvernement Provisoire») в Париже стали называть Смехотворным правительством («Le Gouvernement Dérisoire»), Ламартин получил кличку Ла Тартин, Ледрю-Роллэна стали называть Le Dur Coquin, и т. д. А месяца через два был пущен слух, будто министры наживают на спекуляциях огромные деньги, будто они устраивают оргии, каждый день пьют шампанское и едят суффле из фазанов, — это было модное блюдо в дорогих ресторанах. Во всем этом не было ни слова правды.

Разумеется, в правительстве тотчас образовались и «оттенки». Одни члены каждой группы ненавидели другую группу больше, другие меньше. Кроме того, в первой, основной группе были миролюбивые люди, желавшие быть в добрых отношениях со всеми и дружно делить столь внезапно свалившиеся народную любовь и восторг. Были и слабохарактерные люди, были люди с некоторой склонностью к предательству в характере, были честолюбцы, считавшие наиболее для себя выгодным центральное, то есть промежуточное и неопределенное, место в правительстве, чтобы участвовать во всех возможных правительственных комбинациях с надеждой рано или поздно одну из них возглавить: такой-то приемлем для всех, и для правых, и для левых. Эти втихомолку порицали своих вождей и давали понять крайним, что они собственно с ними, а состоят в умеренных больше по случайности. Такие же были люди и в левой группе. Кроме того, и среди левых, и среди правых были люди, искренно расходившиеся между собой по взглядам.

На заседаниях Временного правительства никто молчать не хотел, — еще сочтут дураком. Поэтому, по каждому сколько-нибудь важному вопросу неизменно высказывались все министры. Говорить умели и осо-

бенно любили все. И так как почти у каждого был свой собственный «оттенок» и свои собственные интересы, то обычно высказывалось столько же суждений, сколько людей было на заседании. Всех затмевал своим красноречием Ламартин, но и некоторые другие министры от него отставали мало. Если даже какой-либо второстепенный министр заявлял, что присоединяется к мнению Ламартина или Луи Блана, то, чтобы его не признали недостаточно яркой личностью, он считал необходимым приводить дополнительные доводы, делать оговорки, рекомендовать ограничения, или же старался приблизить мнение своего вождя к мнению вождя другой партии. Это было очень важно, так как делало оратора «в сущности приемлемым для всех».

Вдобавок, все члены правительства были переутомлены от митингов, от совещаний, от бессонных ночей. У них не было никакой возможности много думать о положении страны, о том, что они сами говорили и предлагали. Не было, разумеется, и времени, чтобы изучать обсуждавшиеся вопросы по трудам ученых. Вероятно, за все время их пребывания у власти почти никто из них ни одной книги вообще не прочел. Более образованные пользовались приобретенными прежде познаниями, остальные ровно ничего не знали и высказывали суждения в зависимости от обстоятельств и от того, что писали газеты: за газетами следили все, — разумеется, прежде всего отыскивали в них свое имя. Во время заседаний к дворцу Ратуши подходили разные манифестанты, разные делегации требовали приема, к ним надо было выходить или принимать их. К большим толпам чаще всего выходил Ламартин, который мог прекрасно говорить и час, и два, и три, решительно ничего не сказав. Как и другие министры, он более или менее правдоподобно выражал нежную любовь к революционному народу, хотя этот народ порядком надоел не только ему, но и крайним левым. Надо было выступать и на митингах. Если митинг бывал особенно бурным, то Ла-

мартин обычно клялся умереть за свободу. А так как эти слова он умел выкрикивать совершенно диким, истерическим голосом, — как никогда не кричат люди в обычной жизни, как почти никогда не кричат и на сцене хорошие драматические артисты, — то Ламартин неизменно «побеждал толпу». Он этим очень гордился, а его поклонники говорили об этом с умилением. Обыкновенно решения принимались Временным правительством очень поздно, когда все чувствовали, что больше нет сил говорить и особенно слушать, что надо все-таки и поесть, и отдохнуть. Остается лишь удивляться тому, как они в такой обстановке приняли триста семьдесят пять декретов, из которых очень многие были вполне разумны. Правда, в большинстве это были декреты бесспорные.

У Бальзака ум был устроен так, что он мог видеть только комические стороны революции, или по крайней мере, их видел лучше всего другого.

Он принял переворот вначале без большой злобы. Любопытство в нем было сильнее страха, и он в дни революции дома не сидел. 24-го февраля революционный народ (так теперь уже говорили все) ворвался в Тюильрийский дворец. Это было не трудно: дворца больше никто не охранял, и из прежних жильцов в нем никого не было, кроме многочисленных растерянных слуг. Во дворце был огромный погреб, скоро начался пьяный погром. Через час всё было разбито и раскрадено. Люди распарывали диваны и кресла, резали ковры, стреляли в статуи, били стенные зеркала, уносили платья, белье, духи, безделушки.

Вместе с толпой в Тюильри вошел и Бальзак. У него происходившее во дворце не вызвало такого холодного отвращения, как у Флобера, который побывал там одновременно с ним (они не были знакомы). Бальзак был настроен более благодушно. Быть может, чувствовал, что издеваться над нищими, пьяными, полуголод-

ными людьми — дешево, что бы эти люди ни делали. Король перед бегством не успел позавтракать, в галерее Дианы был накрыт стол на несколько десятков приборов. Он уже был занят толпой, и по тому, с какой жадностью ели эти люди, Бальзак, вероятно, видел, что насмехаться тут не над чем. В другом зале начался бал. Однако веселья не было. Многие уходили, как будто стараясь обратить всё в шутку: повеселились во дворце тирана и будет. Другие изображали не весельчаков, а фанатиков, и пели революционные песни. Он знал, что на следующий день в кругах революционеров будут уверять, что народ мстил тирану, уничтожал «эмблемы», но не воровал и не грабил, — так полагалось говорить испокон веков. Это его забавляло. Он и сам что-то взял на память во дворце: не то тетрадку, не то листок, с последним уроком королевского внука, графа Парижского.

В первые дни революции благодушие его не покидало. Он даже стал подумывать о политической карьере: отчего бы не выставить свою кандидатуру в Учредительное собрание? Давно мечтал о парламенте. Прежде у него не было ценза. Позднее собственность дала ему ценз — и теперь ему было почти досадно, что с введением всеобщего избирательного права ценз больше ни для чего не нужен. При встречах со знакомыми говорил им, что в сущности всегда был человеком левого центра, un centre gauche. Знакомые недоумевали, вспоминая его прежние мысли. Кое-кто мог бы ему кое-что напомнить. Но и он мог кое-кому кое-что напомнить. Бальзак знал всё обо всех. Знал, что некоторые из собратьев и даже из друзей, через Якова Толстого (парижского агента Третьего отделения) получают субсидию от русского правительства или ее домогаются. Знал, что Александр Дюма в надежде получить русский орден поднес в дар Николаю I какую-то свою рукопись и в восторженном письме назвал его гением. Царь написал на представлении Уварова об ордене: «Довольно будет

перстня с вензелем». Дюма очень рассердился и написал роман о декабристе Анненкове, которого, впрочем, сделал графом Ванинковым. Да и сам Ламартин еще не очень давно был роялистом и занимал видные должности при Карле X. Мало ли кто чем *был* и кто что когда-то говорил! Это также было дело житейское. В том настроении веселого цинизма, в котором, когда дело не касалось искусства, жил Бальзак (и в котором во все времена жило большинство политических деятелей), всё это не имело значения. Он и в самом деле выставил свою кандидатуру в Учредительное собрание, но, несмотря на свою славу, получил не то пятнадцать, не то восемнадцать голосов. Через несколько месяцев после этого сокрушался: «Зачем Ламартин и Виктор Гюго так себя скомпрометировали? Ведь очень скоро Бурбоны будут снова на престоле». — «Да ведь вы и сами были кандидатом в Учредительное собрание», — бестактно напомнил кто-то. — «Я другое дело: я не был избран», — благодушно ответил Бальзак.

В общем революция 1848 года, как ему казалось, вполне подтверждала основную мысль его творчества: человек глуп, слаб, нечестен, ничего от него ждать нельзя, и надо из этого исходить. Все люди руководятся личными, чаще всего денежными, интересами, для осуществления их играют комедию — человеческую комедию — и в большинстве играют плохо. Многие свой интерес, или свое тщеславие, или свою злобность выдают за «любовь к народу» и так к этому привыкли, что сами давно этого не замечают. Патриотизм тут большого значения не имеет, так как это чувство общее всем и уживающееся с любыми взглядами. Дантон был патриот, и Людовик-Филипп патриот, и Ламартин тоже патриот. А так как люди в массе более или менее стóят друг друга, то не меет большого значения и государственный строй, — лишь бы была твердая власть, обеспечивающая с одной стороны порядок, а с другой — свободу мысли.

Он — правда, без восторга — принял бы и республику, если бы она дала ему благоприятные условия для работы. Но Временное правительство, занятое другими делами, интересовалось искусством так же мало, как Людовик-Филипп. Дела же после революции стали ухудшаться с жуткой быстротой. Рента и ценности падали на бирже с каждым днем. Богатые люди обеднели, ни на что больше денег не давали, оттого ли что с каждым днем всё сильнее ненавидели Ламартина, или же смутно чувствовали, что литература, вся вообще литература, приложила руку к тому, что произошло. Газеты перестали печатать романы, издатели не покупали книг или предлагали очень невыгодные условия. Театры, кроме одного, опустели. На представлении пьесы Виктора Гюго сбор составил девять франков. Тревога у Бальзака всё росла и понемногу перешла в панику: что делать? как жить? Вдобавок, революция 1848 года оказалась, как на зло, самой международной и общечеловеческой из революций. За переворотом в Париже последовало что-то вроде переворотов в других странах. На Марсовом поле спешно воздвигалась статуя в честь братской Германии. В Польше ожидалось восстание, парижские революционеры теперь каждый день требовали объявления войны России. Несмотря на свои симпатии к полякам, Бальзак слышать не хотел о войне за их освобождение. С падением крепостного права Ганская была бы, вероятно, разорена, — незачем освобождать крепостных, по крайней мере незачем теперь, им живется недурно, а там позднее будет видно.

Однако его взгляды определялись не только личными интересами. Если люди вообще всегда были ему противны, то революционеры теперь становились ему всё противнее с каждым днем. Бальзак гораздо лучше, чем они, знал тот мир, который они обличали и который он изображал в своих романах. Эти сановники, банкиры, лавочники, или, по крайней мере, многие из них, были безобразным, но привычным явлением: он

среди них жил, да едва ли мог бы жить без них. Революционеры же были по моральным и умственным качествам нисколько не лучше, но вдобавок ввели, как ему казалось, еще новые виды глупости и пошлости.

В магазинах теперь продавались революционные брошюры. «Путешествие в Икарию» Кабе, журнальчики «Друг народа», «Республиканский Христос», курительные трубки с головами Ламартина и Ледрю-Роллена, фаянсовые тарелки с надписью «Долой тиранов», новые рисунки: Барбес в тюрьме стоял, прислонившись к стене, с устремленным вдаль задумчивым вдохновенным взглядом. Освобожденные революцией негры где-то в колониях сбрасывали с себя оковы и обнимались, а рядом комиссар республики, тоже с вдохновенным видом, держал в протянутой руке шляпу. В одном из новых клубов гражданин Дювивье объявил, что все люди старше тридцати лет должны умереть, так как слишком заражены предрассудками старого строя. В женском клубе Везувианок гражданин Борм, впрочем позднее оказавшийся полицейским агентом, подробно объяснял свое изобретение: две тысячи Амазонок свободы могут разгромить 50-тысячную контрреволюционную армию. Гражданке Жорж Занд, только что признавшей себя коммунисткой, было предложено звание Женщины-Мессии. Кто-то проповедывал новое учение Ма-па, название которого образовывалось из первых слогов слов «мама» и «папа». Бальзак мог бы обратить внимание на то, что революция действительно освободила негров, что Барбеса в самом деле при старом строе держали в тюрьме, что февральская революция и ее идеи не несут ответственности за всякий говорящийся в клубах вздор. Но он и не собирался быть справедливым и беспристрастным в политике, — какая уж тут справедливость и какое беспристрастие! Точно на зло, от него, как от всех, требовали исполнения гражданских повинностей и дежурств. По утрам его тревожили салютная пальба или барабанный бой, — эти люди

не знали, что он работает по ночам! Он ругался ужасными словами. Жизнь стала просто невозможной!

Один театр был всегда переполнен до отказа. Бальзак побывал на спектакле. Во Французскую Комедию пускали бесплатно. Рашель сводила с ума парижан исполнением «Марсельезы». Она считалась величайшей артисткой в мире. Теперь ее называли то «Музой Свободы», то «Богиней Революции». Она медленно выходила из-за кулис, в белой тунике, с трехцветным знаменем в руке. Зал тотчас *замирал:* «Древняя статуя!» Марсельезу она не то пела, не то декламировала. О ней говорили, будто она усилием воли умеет останавливать биение своего сердца. Лицо у нее становилось смертельно бледным, глаза наливались кровью, а брови, по словам очевидца, «становились змеями». При куплете «Amour sacré de la Patrie» Рашель в экстазе падала на колени, обвивала себя трехцветным знаменем, и делала это так, что ее позу, трагический жест длинных рук, даже складки туники и флага должен был бы, по общему отзыву, изваять Микеланджело. Театр бесновался, рабочие делегации подносили цветы, слышалось только: «Изумительно!..» «Непостижимо!..» «Ничего равного никогда не было и не будет!..».

Как знаток Бальзак отдавал должное: действительно превосходно. Тем не менее ему было и смешно. Он хорошо знал Рашель и относился к ней с ласково-благодушным восхищением. Она его недолюбливала, — Бальзак уверял, что читает Расина лучше, чем она. Его и прежде чуть-чуть забавляло, что эта, будто бы открытая в балагане Виктором Гюго, дочь немецкого еврея-разносчика, родившаяся где-то в Швейцарии, разговаривавшая у себя дома с родителями по-еврейски, была во всем мире признана воплощением французского духа. Но гораздо лучше было то, что теперь она стала и воплощением революции. Он знал ее интимную жизнь, знал, что одна ее связь была с сыном Наполеона I, а другая — с сыном Людовика-Филиппа; сто раз

со смехом слушал и повторял ходивший по Парижу рассказ, будто принц Жуанвильский в театре послал ей за кулисы записку из трех слов: «Где? Когда? Сколько?», а она ответила шестью словами: «Сегодня ночью. У тебя. Ни сантима». Бальзак был совершенно уверен, что ни до каких революционных идей ей ни малейшего дела нет, — лишь бы в художественном отношении вышло необыкновенно, лишь бы были успех, слава и деньги. Он сам был таков и решительно ничего против этого не имел, но он и не изображал бога Революции; правда, она была актриса. Пятью годами позднее Рашель очаровал Николай I, и она его очаровала. Царь не пропускал в Петербурге ни одного ее спектакля, осыпал ее подарками и почестями, приглашал в Зимний дворец на обеды и сажал рядом с собой. На одном из этих обедов Рашель так же вдохновенно, как в 1848 году «Марсельезу», тоже с мертвенно-бледным лицом, тоже с скульптурными жестами, спела в экстазе «Боже, царя храни», и великие князья рукоплескали с таким же восторгом, как за пять лет до того парижские революционеры. Эта сцена, вероятно, доставила бы удовольствие Бальзаку, но он до нее не дожил. Как верно и он сам, Рашель не знала, где кончается игра, где начинается жизнь — или даже смерть: умирая в Ле Канне, за несколько минут до кончины, она сказала: «Взлети на небо, дочь Израиля!»

Не слишком любил Бальзак и слова «Марсельезы». Какие такие «дети родины»? Какой «день славы»? Какие «свирепые солдаты»? Почему они «рычат»? Кто хочет «вырезать французских женщин»? Если в год появления гимна в этих словах была доля правды, то теперь не было ни малейшей: никто не собирался объявлять Франции войну; напротив, войной грозили французские революционеры. Эта сцена во Французской Комедии, «навсегда перешедшая в историю театра», должна была показаться ему символом лживости революции. О лживости реакционного строя он думал редко:

в эту сторону не любил направлять свой мощный критический аппарат.

Его здоровье ухудшилось в Париже. С этим был связан запрятанный насильно, редко поднимавшийся на поверхность строй мыслей, тот самый, к которому относились и гадалки, и предсказания, и Сведенборг. Но были и другие тяжелые мысли, — их поднимать приходилось. Он привез из Верховни рукопись написанного там романа „L'Initié". В деревне с ним произошло что-то странное. Перед поездкой в Россию он написал роман «Бедные родственники», одно из самых мрачных своих произведений, — там все продавались за деньги, с правильностью, с непреложностью закона природы там люди, казавшиеся читателям честными, ради денег совершали самые ужасные преступления. Надоело ли ему вечно возиться со злом? Опротивела ли ему весело-циничная жизнь его героев? Подействовала ли на него мирная сельская обстановка, в которой как будто, в отличие от Парижа, никто не вел свирепой борьбы за существование? Скорее всего сказалось влияние Ганской, — она любила добродетель. Как бы то ни было, в Верховне Бальзак написал очень добрый и кроткий роман. В „L'Initié" все были добродетельные люди, а многие и просто святые. Не совсем добродетелен был только один человек, польский еврей, доктор Моисей Гальперсон. Он был скуп и жаден. Зато он был гениальный врач и своим гением спасал жизнь пациентам. В новом романе тоже не обходилось без преступлений, но они совершались по самым высоким побуждениям. Барон де Бурлак отправлял на эшафот или в каторжные работы невиновных людей по чувству долга. Барон де Мержи украл у Гальперсона четыре тысячи франков — чтобы спасти нежно любимого деда. И оба барона искупили свой грех раскаянием. В конце романа все всё прощали друг другу и друг друга любили. Баронесса де Шантери простила барону Бурлаку казнь своей дочери и осыпала его благодеяниями. Даже полудоброде-

тельный Моисей Гальперсон простил барону де Мержи его кражу и тоже как-то его облагодетельствовал.

Этот роман он прочел вслух в Верховне и вызвал там общий восторг. Однако он знал, что Ганская так же мало смыслит в литературе, как громадное большинство людей. Понимали дело Гюго, Готье, Гейне, но им ему не очень хотелось показывать „L'Initié". Быть может, он сам иногда чувствовал, что в своих романах замазал слишком многое густой черной краской. Всё же делал это в художественном отношении хорошо. Делать обратное следовало бы не менее искусно. Добродетельные и святые люди несомненно существовали. Надо было только уметь их изображать. Бальзак не умел.

Он перечел роман, и тревожно-тоскливое чувство в нем усилилось. Себя обманывать не мог. Видел, что роман никуда не годится. Не было ни одного живого человека, всё было очень плохо, а хуже всего был ни для чего не нужный, неизвестно зачем выведенный таинственный и гениальный польско-еврейский врач (когда Бальзак писал не о французах, он сразу терял три четверти таланта). Никакого Моисея Гальперсона он никогда не встречал, такого доктора не было и не могло быть, всё было сочинено и плохо сочинено. Идеи в романе были, пожалуй, хороши, но сам он в роли защитника этих идей напоминал Рашель в роли Музы Свободы. Не то она была пародией на него, не то он пародией на нее.

Всё же он показал роман издателю. Тот прочел и не пришел в восторг: нашел несоответствие духу эпохи. Бальзак и сам понимал, что крайне консервативный роман с добродетельными баронами имеет мало шансов на успех в 1848 году. Однако дело было даже не в успехе. Как ни нужны ему были деньги, они ничего не значили по сравнению с искусством. Ему пришла в голову мысль, что, быть может, он, при своем каторжном труде, исписался. Тогда всё другое теряло значение. Тогда

теряла смысл и жизнь. Тогда оставалось лишь то, что он называл энтомологическим существованием.

Он поспешно написал драму «Мачеха». Театр ее принял, критика очень хвалила, но сам он чувствовал, что и пьеса (опять злая) не хороша. Вдобавок, на первом представлении уже были незанятые места, на втором театр был почти пуст, а после шести спектаклей антрепренер закрыл театр и увез труппу в Англию. И публика видит: исписался!

От опротивевшей ему современной жизни можно было уйти в прошлое: в исторический роман. Он решил написать эпопею о Наполеоновском походе на Москву. Для этого необходимо было повидать поля сражений, расспросить тех русских участников войны, которые еще были живы. Для романа необходимы были также спокойствие и уединение деревни. Бальзак и без того принял решение: надо вернуться в Верховню. Ганская звала. Он понемногу успокоился. Опять стал думать о политической карьере, но о другой: отчего бы в самом деле не принять русское подданство и не стать ближайшим советником императора Николая? Думал не очень серьезно, — поиграл в мыслях и этой ролью, как незадолго до того поиграл ролью графа Мирабо в Национальном собрании. Вдобавок, всё больше приходил к мысли что будущее принадлежит России, где никакой революции нет и не будет. Обедая у Ротшильдов с Тьером, Бальзак назвал Россию наследницей римской империи. — «Вы правы. Россия со временем съест Германию», — сказал Тьер.

Однако, теперь, после революции, получить русскую визу было французу еще гораздо труднее, чем прежде. У Бальзака были добрые отношения с русским министром народного просвещения. Граф Уваров сам что-то писал, по-французски, по-немецки: о Наполеоне, о греческих трагиках, о Венеции. Одну из своих работ он даже послал Гёте, с просьбой извинить несовершенство его немецкого языка. (Гёте ответил ему: «Поль-

зуйтесь с миром тем огромным преимуществом, которое вам дает незнание немецкой грамматики: я сам тридцать лет работаю над тем, как бы ее забыть»). Бальзак еще из Верховни писал Уварову — как писатель писателю. Теперь отправил ему письмо с просьбой похлопотать о визе. Польщенный Уваров исполнил его желание. Одновременно Бальзак написал и шефу жандармов Алексею Орлову.

Разрешение было дано, хотя и без восторга. Орлов представил всеподданнейший доклад: «Принимая во внимание неукоризненное поведение де Бальзака во время прежнего пребывания его в России, а также и ходатайство о нем графа Уварова, я полагал бы, с моей стороны, возможным удовлетворить настоящую просьбу де Бальзака о дозволении ему прибыть в Россию». Николай I написал на бумаге: «Да, но с строгим надзором».

Надзор действительно был установлен. Несколько позднее киевский гражданский губернатор Фундуклей сообщил одесскому военному губернатору: «Государь Император всемилостивейше соизволил французскому литератору Бальзаку, бывшему здесь в прошлом году, приехать обратно в Россию, но с строгим над ним надзором. Бальзак прибыл в Сквирский уезд и получил от меня вид на пребывание в Киевской губернии и проезд в город Одессу. Имею честь просить ваше превосходительство, если Бальзак прибудет в Одессу, приказать иметь за ним строгий надзор, о последствиях которого не оставьте уведомить меня».

Надзор был несомненно излишен: Бальзак никак не собирался устраивать революцию в России. Но, быть может, скоро догадался, что едва ли станет ближайшим советником царя. Впрочем, его политические виды всё менялись. Он предполагал, что во Франции вернется на престол старшая линия Бурбонов и что его назначат французским послом, — колебался, что выбрать: Петербург или Лондон? По-видимому, этот человек громадного ума совершенно растерялся от революции. Он и не

написал больше ничего значительного в остававшиеся ему два года жизни. Некоторые же его письма просто неловко читать. В благодарственном письме к Уварову он говорил: «Я намерен описать наше великое поражение 1812 года... Я заплачу когда-нибудь свой долг русскому гостеприимству, описав стойкое мужество ваших войск, противостоявшее бешеному натиску французов... Что же касается милости, оказанной мне императором, то мне кажется, что по отношении к нашим государям, как и к нашим отцам, мы невольно всегда оказываемся неблагодарными: они дают нам жизнь, а мы никогда не можем отплатить им тем же».

Так как своего государя у него тогда уже не было, да и прежнего, Людовика-Филиппа, он недолюбливал, то, очевидно, слова об отцах, дающих нам жизнь относились к Николаю I. Впрочем, вероятно, Бальзак такие письма писал чисто механически: не всё ли равно? Уж это по сравнению с искусством не имело ни малейшего значения.

В Россию он уехал не сразу. Умер престарелый Шатобриан, освободилось место во Французской Академии. Бальзак выставил свою кандидатуру. Как знаменитейший романист своего времени, он имел на избрание все права. Избран был какой-то герцог, носивший историческую фамилию, но в литературе известный преимущественно плагиатом, — впрочем совершенно невольным: плагиат совершил секретарь, писавший для герцога исторический труд. Этот герцог оказался преемником Шатобриана и победителем Бальзака. Тут уж революция и козни левых были ни при чем, — был собственно хороший случай подумать и о своих единомышленниках. Бальзак этим случаем не воспользовался, хотя видимо был в бешенстве.

Июньского восстания он не видел, — отдыхал в провинции. В сентябре, достав взаймы пять тысяч франков выехал в Россию. Романа о войне 1812 года он, однако, не написал. Написал вместо Бальзака другой.

II

Par un chemin plus court descendre chez les morts *).

Racine

Дилижанс был новенький, с мягкими кожаными подушками. Вначале разговор не клеился, но через час итальянский кондуктор протрубил в рожок и на полуитальянском-полуфранцузском языке прокричал, что эта долина славится на весь мир своей красотой. Тотчас начал восхищаться вслух природой пожилой благодушный венец, и понемногу все стали разговаривать и знакомиться. Только Лейден молчал.

Позднее он думал или, по крайней мере, говорил себе, что в нем произошло *разтроение,* что он в те дни жил, якобы, в трех плоскостях. В одной плоскости был человек, справлявшийся в почтовой конторе о часе отхода дилижанса, укладывавший вещи, пересчитывавший деньги, соображавший, когда он может приехать в Киев. Этот человек в *тот самый* день, если не ел, то пил, условился с хозяином гостиницы о доставке вещей в почтовую контору, заплатил носильщику, оставил свой киевский адрес. Другой человек еще был каким-то подобием Тициановского Неизвестного, — именно только подобием: с этой «плоскостью» Лейден лишь соприкоснулся, выпив много, очень много вина, — скользнула мысль, что Неизвестный, быть может, отравил несколько жен и уж во всяком случае к естественной смерти жены отнесся бы совершенно равнодушно; но эта мысль у него именно лишь *скользнула,* — хотя самое воспоминание о ней, о том, что она *могла* скользнуть, было для Константина Платоновича мучительным до конца его дней. И, наконец, была еще какая-то третья плоскость, где не было ни Ба-Шара, ни Би-Шара, где как будто был просто сходивший с ума человек. Он заходил во Флоренции в магазин оружия, — учтивый приказчик со вздохом, с неодобритель-

*) «Спуститься к мертвым более коротким путем».

ным отзывом о властях сказал, что, в виду тревожных событий, продажа пистолетов временно запрещена. — «В виду тревожных событий», пробормотал Лейден и зашел еще в аптеку, стараясь вспомнить названия ядов. Аптекарь угрюмо ответил, что такие вещества не продаются без предписания врача, и затем спросил, не хочет ли он выпить воды. Третий человек, несмотря на душевное расстройство, подумал, что есть нечто глупое, смешное, унизительное в тщетных поисках способа самоубийства, что *настоящий* просто поднялся бы на крышу вон того палаццо и бросился бы вниз головой; подумал также, что верно не покончил бы с собой, если б ему и продали пистолет или яд, что себя обманывать не только гадко, но и глупо, — Би-Шары хоть тем выгодно отличаются от Ба-Шаров, что *себя* не обманывают. «Зачем?.. Что я сделал уж такого постыдного?.. Всё условно, всё условно»... — бессмысленно повторял он и через час по дороге на почтовую станцию. Пошатываясь, дошел с чемоданчиком в руке, поднялся в дилижанс и повалился на мягкую скамейку, с облегчением подумав, что *делать* больше ничего не нужно и нельзя до самой Вены.

Венец всех развлекал. Вначале итальянцы еще немного его чуждались: он здесь представлял враждебную расу завоевателей. Однако он нисколько себя завоевателем не чувствовал и скоро покорил всех пассажиров своим благодушием, весельем и необыкновенной бодростью. Видимо он не представлял себе, что может быть что бы то ни было тягостное в жизни, или совершенно этому не верил. Еще часа через два кондуктор, опять протрубив, радостно сообщил, что они подъезжают к гостинице Белого Коня, известной своим прекрасным местоположением; там можно будет получить отличный обед. Это увеличило общее оживление. На остановке венец легко соскочил, несмотря на свое брюшко, галантно помог сойти дамам, — протягивал руку каждой и говорил: „So!.. Brav!.. Schön!..“ Затем быстро

проделал легкую гимнастику, радостно, как со старым знакомым, поздоровался с хозяином гостиницы, расспросил его об обеде, много ел, много пил, всё время болтал и всем восхищался. Чрезвычайно хвалил Италию, но был в восторге от того, что возвращается в Вену.

«Нельзя же не есть несколько дней. Так я не доеду», — сказал себе Лейден. И лишь только он проглотил первую ложку супа, почувствовал, что голоден, как зверь. Это показалось ему позором. Константин Платонович съел еще два блюда, к сыру же и сладкому не прикоснулся. «Мелкая комедия! — думал он, — бифштекс можно, а пирожное нельзя! Комедия будет и дальше: черный костюм, черная повязка, это принято и необходимо. И непременно всё это нужно соблюдать год: 365 дней, а в високосный год 366, ни одним днем меньше, ни одним больше... А приеду в Киев, Лиля, Тятенька, другие будут старательно убеждать меня есть и пить для поддержания сил. Этим ведь всего легче выражать участие, доказывать заботливость, они даже будут делать вид, будто их горе похоже на мое!» Лицо у него дергалось, — он и не замечал, что это понемногу становится у него привычкой, как несколько лет назад стало привычкой горбиться. Константин Платонович подвинул было к себе еще не убранные лакеем блинчики с вареньем и отдернул руку: вспомнил, что именно это сладкое особенно любила Ольга Ивановна. «И она больше *никогда* не будет есть, больше *никогда* не будет путешествовать, останавливаться в гостиницах»... Он достал из кармана письмо Тятеньки и перечел его верно в десятый раз. Тятенька старался все смягчить: «Скончалась быстро и без мучений». Но Лейден знал, *как* умирают от холеры. Самые ужасные, отвратительные подробности не выходили у него из головы.

Он и впоследствии не мог разобраться в своем душевном состоянии тех дней. Никакой надобности в этом

не было и позднее, но он нередко старался всё вспомнить. Называл себе (с другими никогда не говорил) свое состояние полной отчужденностью от мира. В самом деле было и это. Но порою ему казалось, что он именно тогда все в мире стал видеть по-настоящему, что несчастье никак не произвело на него *примиряющего* действия, которое оно будто бы всегда оказывает на людей. «Напротив, оно скорее меня ожесточило. А я и без того становился всё раздраженнее. Вот как скорпионы становятся ядовитее с годами... Мне казалось, будто вся моя предшествовавшая жизнь, все ее радости и особенно все огорчения были совершенными пустяками по сравнению с *этим,* что я никогда к пустякам больше не вернусь. А между тем я и тогда замечал пустяки и они даже раздражали меня еще больше, чем прежде».

Во время завтрака хозяин предлагал туристам плоские дорожные бутылочки с коньяком, уверяя, что хорошего коньяку они больше в дороге нигде до самой Вены не достанут. «Все во всём врут, вот и он,» — думал Лейден. Венец сказал, что в таком случае надо захватить с собой побольше, и долго шутил с хозяином, расплачиваясь. «И у тебя умрет от холеры жена, или сам заболеешь, перестанешь отпускать *вицы*», — почти с ненавистью думал Константин Платонович (впрочем, он и сам купил коньяк). В зал из кухни вошла странно одетая, молодая, хорошенькая девушка, верно дочь хозяина, остановилась в середине комнаты, глядя на гостей с улыбкой, и, когда установилась тишина, запела «Санта Лучиа». Эту песню часто пела Ольга Ивановна тоже по итальянски, хотя итальянского языка не знала. Константин Платонович вдруг вспомнил, что уходил от ее пения в свою комнату. У него выступили слезы. Когда молодая итальянка, всё так же улыбаясь, подошла к нему, он положил на тарелочку золотой. Она взглянула на него изумленно, вспыхнула от радости и спросила, не прикажет ли синьор спеть что-либо еще. «Нет, не надо... Вы мне доставили большую радость»,

— сказал он и почувствовал жалость и нежность к этому молодому жизнерадостному существу, которое тоже умрет, как умерла Оля, как умрет он сам.

Дилижанс отходил через час. Пассажиры пошли погулять: хозяин хвалил какой-то Ausflug с замечательным видом. Лейден сидел в пустом дилижансе, уставившись глазами в одну точку окна. «Я почти всю жизнь прожил в ожидании каких-то страшных, непоправимых несчастий... Правда, я имел в виду преимущественно то, что могло случиться со мной самим. Однако не только это. Да ведь и теперь случилось тоже со мною... Уж если я и прежде думал, что никогда в жизни счастлив не был, что мне сказать теперь! Разве я лгал и тогда? Я просто не понимал, как могут существовать, если не жизнерадостные люди (тут ведь просто физиология), то философы с оптимистическим миропониманием, всё равно религиозным или нет. Быть может, загробная жизнь есть, но разве она мне заменит *эту* жизнь, этот воздух, эту весну, эту несчастную, проклятую и невообразимо прекрасную землю? (Теперь он на эту землю и не смотрел, хотя она тут была и на самом деле на редкость прекрасна). «Быть может, я *там* встречусь с Олей, но разве это будет то же самое, та Оля? Что же мне осталось? Ничего и всё: оттяжка смерти... И я ведь *знал,* что мне ни пистолета, ни яда не продадут. Был как в бреду, но *знал,* каким-то уголком мозга знал. И теперь ищу себе теоретических оправданий. Кто хочет покончить с собой, тот кончает без всяких теорий... Да, мне известно, что об этом за тысячелетия было сказано. Я изучил *литературу вопроса,* как изучил ее о платанах!.. Греки и римляне одобряли такую смерть, по крайней мере в некоторых случаях. В Средние же века тела самоубийц вешали за ноги и подвергали глумлению. За что? Почему? Потому, что людям надо было считать это преступлением в их собственных интересах. Шекспир в знаменитейшем из монологов в сущности

защищал самоубийство, но и он придумал для Гамлета — и для себя — лазейку: «Быть может, видеть сны?» Возненавидел жизнь, однако опасался каких-то снов! Видел ее злую правду — и опасался чепухи видений. Руссо называл самоубийство постыдной кражей у человеческого рода... Мне, например, жить не к чему и незачем, но я не смею украсть у человеческого рода такое сокровище, как я. Сокровище уже потому, что я теперь могу философствовать, испрашивать разрешения у Руссо и Шекспира... Что ж, действительно я *теперь* и не *мог бы* покончить с собой: это значило бы бросить Лилю, даже не повидав ее. Я обязан переделать завещание, всё оставить ей, найти опекуна. Тятенька, конечно? Но он стар, ему жить недолго. Я *обязан* побывать на могиле Оли... Да, вот и я нашел себе лазейку. И хорошо, что об этих моих чувствах никто не узнает, как и об аптеке, это было бы похоже на глупую шутку. Люди сказали бы: «Либо кончай с собой, либо оставь нас в покое»...

Опять, как по дороге из Киева в Константинополь, он стал думать, *как* узнала бы Лиля об его смерти, как установили бы его личность, как и кому сообщили бы. «Становится как будто дорожной привычкой!..» Думал о Тициановом Неизвестном, и в путаных противоречивых мыслях тот у него смешивался со страшным дервишем, замаливавшем пляской грехи. «У него грехи были не такие! А мой не в том, что я ей «изменил», это и изменой назвать нельзя. Но я любил ее недостаточно, недолюбил!.. Кроме нее, не любил никого... Что же теперь остается, что остается? Ничего. Ровно ничего! Доживать свой век в Киеве. И может быть, «друзья» — я их терпеть не могу, а они этого не знают, — друзья еще будут говорить, что мне следовало бы жениться вторым браком. И сам Тятенька будет «незаметно» сводить меня с какой-нибудь Софьей Никандровной, а «друзьям» будет объяснять, что я ведь еще не старик, что мне нельзя жить без жены, — он скажет: «без да-

мочки» — и что сама Олечка его на это благословила бы, — «а то Костя совсем сошел бы с ума»... Да и вправду, если бы его письмо пришло днем раньше, то та, проклятая, отложила бы свой отъезд в Париж, и *обсуждала* бы со мной известие и говорила бы: «Что ж, это ничаво», и старалась бы меня утешить, а про себя думала бы, что можно было бы меня на себе женить, да еще стоит ли? А я думал бы, что надо ее задушить своими руками, но не задушил бы. И это только *настоящих* Би-Шаров, графов Герардо делла Герардеска *так* любят Монны Бианкины. Но Олечка и была донна Бианкина, и сон был «вещий», и я должен встретиться, *нельзя* не встретиться с ней снова! *Нет* рая, и очень, очень скоро сгорит, навсегда сгорит прут, и по-своему, по непредвиденному, метнутся кости в руках Случая, и вдруг послышатся бегущие шаги... Да, мир вертится между любовью, скукой и сумасшествием»...

Пассажиры собирались, хозяин, лакеи, певица вышли их проводить. Веселый кондуктор вскочил на козлы, что-то радостно прокричал, дилижанс тронулся. Венец угощал соседей коньяком из стаканчика, всякий раз тщательно вытирая его салфеточкой. Лейден пил прямо из горлышка своей бутылочки. Соседи деликатно старались на него не смотреть. Быть может, венец признал его сумасшедшим, — если вообще, по своей жизнерадостности верил в существование сумасшедших. Люди *смели* разговаривать, и это действовало на Константина Платоновича так, как верно действует на погруженного в музыку пианиста кашлянье и чиханье в зале.

На ночь они остановились в другой гостинице, которая очень походила на первую, да и называлась тоже как-то так, под якобы поэтическую старину. Гостиница была переполнена и пассажиров размещали по два, по три человека в комнате. Лейден за двойную плату до-

бился того, что его поместили на диване в крошечной гостиной, — быть может, и другие пассажири не очень желали остаться наедине с этим странным человеком. Он лег на диван, не раздеваясь, только снял сапоги, расстегнул воротник и точас, не погасив длинной восковой свечи, задремал. Снилось ему что-то бессвязное, вздорное, даже незапоминаемое. Повторялось непонятное слово «румалетие». За этой *степенью* сна наступила вторая *степень*, начальная степень пробуждения, — еще казалось, что снившееся слово имеет какой-то смысл, надо только понять в чем дело. Затем он проснулся совершенно: «Какое «румалетие»?»

Лейден почувствовал, что больше не заснет. Вспомнил о коньяке, встал, достал булылочку и допил всё до дна. В несессере лежала книга, недавно купленная им во Флоренции, — неизвестного философа Артура Шопенгауэра. Он купил эту книгу, вместе с разными хрониками и новеллами, потому что она его заинтересовала странным названием «Мир как воля и представление», а в оглавлении была глава «О смерти»: «Ueber den Tod», — всё, касающееся смерти, он всегда приобретал и читал. В немецком тексте ему бросилась в глаза отпечатанная другим шрифтом цитата на французском языке: «Je ne sais pas ce que c'est que la vie éternelle, mais celle-ci est une mauvaise plaisanterie».*) «Да, да, вот это так!» — подумал он и стал читать.

Никогда, ни одна книга на него не производила такого впечатления. «Где же до него Платону? По сравнению с этим, «Федон» детская болтовня! Кто это? Как я никогда о нем не слышал?» Иногда он откладывал книгу, опять думал о том, *как* умирала Оля, плакал и, с облегчением от слез, возвращался к книге: «Wie?» wird man sagen, «das Beharren des blossen Staubes, der rohen Materie,

---

*) «Не знаю, что такое вечная жизнь, но эта — дурная шутка».

sollte als eine Fortdauer unsers Wesens angesehen werden?» — Oho! Kennt ihr denn diesen Staub? Wisst ihr, was er ist und was er vermag? Lernt ihn kennen, ehe ihr ihn verachtet. Diese Materie, die jetzt als Staub und Asche daliegt, wird bald, im Wasser aufgelöst, als Krystall ausschiessen, wird als Metall glänzen, wird dann elektrische Funken sprühen, wird mittelst ihrer galvanischen Spannung eine Kraft äussern, welche die fastesten Verbindungen zersetzend, Erden zu Metallen reduziert; ja, sie wird von selbst sich zu Pflanze und Thier gestalten und aus ihrem geheimnissvollen Schoss jenes Leben entwickeln, von dessen Verlust ihr in eurer Beschränktheit so ängstlich besorgt seid. Ist nun, als eine solche Materie fortzudauren, so ganz und gar nichts?»

«Нет, для меня такое *ее* бессмертие именно ganz und gar nichts! Правда, он видит в этом только сравнение, тень». Лейден понимал, что и в чисто-литературном отношении эта почти непереводимая страница необыкновенно хороша. «Но что мне в кристаллах и гальванических токах! Этот человек открещивается от материализма, а ведь тут всё-таки материалистический взгляд, он и сам прекрасно это понимает. Очевидно, он ничего, ни одного довода не хочет оставить неиспользованным. Однако, если в нас вечно низшее, грубое, материя, то как можно утверждать, что исчезнет, бесследно исчезнет *высшее!* В основе его рассуждения лежит то, что каждый человек — печальная ошибка природы, «ein specieller Irrtum, Fehltritt, etwas, das besser nicht wäre». Я теперь с этим согласен, но какое же тут утешение, что́ бы он ни говорил? Так, так, по общему мнению, со смертью исчезаю я, а мир остается; в действительности же мир исчезает, а остается мое внутреннее зерно. Где же гарантия? Спинозовское «Sentimus nos aeternos esse»? А вот что же мне делать, если у меня этого чувства нет? Бессмертие, — сказал себе Константин Платонович, — может быть только у каждого свое: у меня

одно, у этого венца другое, у той дамы третье. Надо найти какой-то *свой* выход. Этот философ *мне* его дать не может. Он гениальный человек, но через его мысли надо пройти, чтобы прийти к своим. Что ж, я пережил свою мать, пережил друзей молодости, я даже никогда больше о них не думаю. Правда, что́ они все вместе в сравнении с женой! И как же я могу теперь создавать для себя какую-то новую жизнь, прикидываясь, будто делаю это для Лили?»

В последний раз веселый кондуктор протрубил перед конечной остановкой. Он вручил подорожную пожилому австрийскому чиновнику с черно-желтым шнурком и с медалью, шутил, стаскивал вещи, болтал с носильщиками и извозчиками. Пассажиры проверяли чемоданы, потягивались, прощались, выражали надежду снова когда-нибудь встретиться. Кондуктор получил с них на чай и на прощанье посоветовал поменьше гулять по главным улицам.

— Почему? Почему? — спрашивали его.

Кондуктор приложил палец ко рту.

— Революция! — весело сказал он. — Говорят, сегодня уберут старого князя!

— Меттерниха? Да быть не может.

— Blödsinn! Was fällt ihm ein! — сказал венец, изумленно подняв брови. — У нас в Вене никогда ничего не происходит. Какая там революция!

— Вероятно, вздор! Князь здесь диктатор тридцать с лишним лет, он никогда не уйдет, — сказал пассажир-швейцарец. Кондуктор лукаво усмехнулся и убежал.

— «Какая еще революция?» — спросил себя Лейден. Он и забыл о революции во Франции. В самом деле около станции дилижансов происходило что-то необычное. Пробегавший по улице человек вдруг по-французски запел «Марсельезу»; впрочем тотчас осекся,

так как на него все изумленно глядели. Константин Платонович вошел в контору. Чиновник с медалью на его вопрос о билете в Львов угрюмо ответил, что дилижанс уходит в *Лемберг* через четыре часа и что мест сколько угодно.

— Никто не хочет ехать, сегодня пять человек вернули билеты... Если его светлость уйдет, то вероятно будут грабить на дорогах.

Лейден купил билет, сдал чемоданы на хранение и пошел туда, куда шли все. Люди шли в направлении на Балльплатц степенно с мирным, благодушным видом. На площади перед каким-то дворцом собралась большая толпа, не сплошная, а странно разбившаяся на участки, точно тут происходило несколько самостоятельных манифестаций. У ворот стояло человек десять солдат, но и у них вид был миролюбивый; они ни в кого стрелять как будто не собирались. Почти у ворот дворца молодой человек, вероятно студент, быть может кандидат в Ламартины или Дантоны, взобрался на плечи товарищей и, работая для равновесия руками, как акробат на канате, говорил речь по-немецки: «Да здравствует император!.. Да здравствует императорский двор!.. Долой князя Меттерниха!.. Надо понять дух времени!» — кричал он. Товарищи его поддерживали и тоже что-то весело кричали. На другом участке площади чех говорил по-чешски, на третьем кто-то говорил еще на каком-то языке. «Вавилонская башня или просто водевиль?» — подумал устало Лейден, входя в кофейную. Там тоже все кричали и спорили.

Все столики были заняты, люди пили пиво, шоколад, кофе со сливками, не очень засиживались и снова выходили на площадь восстания. Их места занимали другие. Когда Константин Платонович выходил, солдаты вытянулись и отдали честь. Из дворца вышел раззолоченный старичок. По портретам Лейден узнал князя Меттерниха. Ораторы замолчали, толпа расступи-

лась. Князь, неодобрительно и укоризненно поглядывая на манифестантов, прошел на другую сторону площади. Тотчас пронесся слух, что император вызвал канцлера для принятия его отставки. Толпа разразилась рукоплесканьями, веселье еще увеличилось. «Вот он, диктатор!» — подумал Константин Платонович, представляя себе дряхлое, слабое, безобразное тело этого еле живого, вероятно, больного десятками болезней старичка и других таких же стариков и старух, правивших миром, плохо им правивших. «И так же хороши те, кто идут им на смену, и так же хорош я сам»...

Он вернулся в почтовую контору и сел у стены. Приходившие люди радостно рассказывали, что всё кончено: его светлость *пал* и дай Бог, чтобы ему *удалось* спастись живым. Он, говорят, сегодня же убежит, а то его могут разорвать на части. Где-то уже *пролилась кровь:* два человека ранены. Но революция сделана с согласия императорской семьи.

«Как им не стыдно заниматься пустяками?» — думал Лейден. «Что все эти революции и конституции по сравнению со смертью! Раззолоченный старичок скоро умрет, да и вам всем жить недолго. Ну, будет у вас конституция, пока ее не отнимет какой-нибудь другой раззолоченный человек, такой же маленький, слабенький, ничтожный, как этот. А дальше что? Быть может, и Неизвестный принимал участие в таких же или похожих делах, всё равно с какой стороны. Он наверное старался нагреть при этом свои окровавленные руки или заколоть какого-нибудь личного врага. Вы же верно думаете: «Надо создать хорошие учреждения, а тогда и люди станут лучше». Это ложь. Уж скорее верно обратное, да и то нет: никогда люди лучше не станут. В каждом из вас, как и во мне, сидит воющий или пляшущий дервиш, только у вас *центр,* бессмертие, Бога отняло ваше так называемое просвещенье. Нет у вас того, вокруг чего стоило бы плясать. Ну, что ж, войте и пляшите, мне всё

равно. И я кое-как выл и плясал, хоть по-иному: «строил культурную жизнь», сажал платаны, этакий идиот!.. Да и так ли уж вам нужна конституция? Хочется, конечно, но если б вам, каждому потихоньку наедине, предложить десять тысяч флоринов, чтобы конституцию, скажем, отложили и чтобы про вас никто, решительно никто, не узнал, то очень ли многие из вас за нее голосовали бы? А другие, «идеалисты»? Они думают, что уж при свободном-то строе настоящий идеалист может стать министром, канцлером, президентом. Между тем при каком угодно строе для получения таких должностей надо пройти через столько честных, то есть не ведущих в тюрьму, интриг, надо так честно себя подталкивать, так честно подсиживать соперников, что у искреннего человека и следов идеализма не останется. Нет, Бог с вами... Что ж мне делать? Чем заполнить жизнь? Вернусь домой и, как почти все старики, буду придумывать что-либо такое для придания какого-нибудь смысла своей прошлой жизни. И верно ничего не найду. А там, быть может, сам заболею холерой, которой ваша культура не предусмотрела. Вместо моих — и ваших — «платанов» будут грязь, корчи, муки»...

Дилижанс подъехал только часа через три. Приходили еще пассажиры, напуганные грозными событиями. У всех были кульки с бутербродами, бутылки, картонные коробки с пирожными. Мрачный чиновник с медалью проверил билеты и очень строго сказал даме с пуделем, что собаки допускаются только на империал. Вид его ясно показывал, что, несмотря на революцию и на отставку его светлости, законы остаются в силе и он не позволит их нарушать. Дама протестовала, затем взволнованно объявила, что в таком случае и она поднимется наверх. Это законами разрешалось. Мужчины помогли ей подняться по лесенке и выражали возмущение действиями бюрократии.

Дилижанс выехал из революционного города.

III

Connaître, découvrir, communiquer, telle est la déstinée d'un savant *).

Arago

Заседание Временного правительства закончилось к вечеру. Оно было особенно тягостным. Накануне произошли беспорядки во Дворце Инвалидов. Жившие там старые солдаты жаловались на скудный корм, на дурное содержание. После установления республики все устраивали манифестации; хотели устроить манифестацию и они. Этому, по соображениям военной дисциплины, воспротивился комендант дворца, престарелый генерал Пети, заслуженный наполеоновский воин, тот самый, которого в день отречения император обнял в Фонтенебло, прощаясь в его лице со всей армией. К общему изумлению, оказалось, что инвалиды ненавидят своего начальника, пользовавшегося в стране огромной популярностью. Когда генерал вырвал у собравшихся манифестантов знамя, инвалиды схватили его и насильно отвезли в штаб Национальной гвардии. Крови пролито не было, но скандал вышел очень большой.

Было ясно, что если солдаты совершают насилие над генералом, то армии приходит конец. Все министры, даже самые левые, понимали, что следовало бы, во избежание развала, подвергнуть дисциплинарным карам виновников или, по крайней мере, зачинщиков дела. Однако столь же ясно было и то, что не очень годится в революционное время возбуждать солдат против новой власти. На сторону инвалидов могли перейти и Национальная гвардия, и парижский гарнизон. Временное правительство с первых дней старалось задобрить армию, министры осыпали ее похвалами, иначе как «доблестной» ее не называли; ругали (да и то не очень сильно) лишь наиболее реакционных маршалов старого

*) Познавать, открывать, сообщать — такова судьба ученого».

строя. Предполагалось, что вся армия всегда была душой с революционным народом. Но в душе члены Временного правительства в этом не были уверены: может была, а может и не была, — при короле она этого особенно не проявляла. Между тем войска теперь были единственной опорой порядка. Правда, старые полицейские заявляли, что они тоже всегда всей душой любили революционный народ. Но это была любовь без взаимности: революционный народ, да и народ вообще, как во всём мире, полицию терпеть не мог.

Споры в коалиционном правительстве были ожесточенные. Высказались все министры. Правые больше налегали на возможность развала армии и на необходимость дисциплинарных кар. Левые преимущественно подчеркивали, что инвалидов кормили очень плохо и что нельзя раздражать солдат. Решено было образовать две комиссии: одну, состоявшую только из военных во главе с маршалом Молитором, для расследования беспорядков и для наказания виновных; другую смешанную, для рассмотрения тех условий, в которых живут инвалиды, и для улучшения этих условий. Официальное сообщение об этом было поручено составить морскому министру Франсуа Араго, временно исполнявшему и обязанности военного министра.

Во Временном правительстве было несколько очень даровитых людей. Но никто из них по славе, по авторитету, по заслугам не мог сравниться с этим человеком. Франсуа Араго был одинаково знаменит как политический деятель и как ученый. Он не был главой республиканской партии, но был ее украшением. Таких людей обычно щадят даже враги; по крайней мере, их поливают грязью не так часто, как настоящих партийных вождей. В отличие от Ламартина и многих других министров, Араго был республиканцем всегда, еще с юношеских лет. Его чрезвычайно уважали все люди, с которыми он встречался. Уважал его даже Наполеон. После Ватерлоо император, собираясь бежать в Америку,

говорил, как ему было бы приятно, если б Араго стал его товарищем по изгнанию и работе; впрочем, трудно было понять, что у них общего и какую работу они могли бы делать вместе.

Ученая карьера Араго прошла с редким блеском. Он работал в областях астрономии, математики, физики. Двадцати трех лет от роду он стал членом Академии наук, позднее — ее постоянным секретарем. Стоял во главе Парижской обсерватории, считавшейся тогда первой в мире, был почетным доктором многих иностранных университетов, членом главных европейских академий и ученых обществ, знал решительно всё, считался едва ли не первым ученым своего времени. Быть может, только Фарадей превосходил его славой. Они были друзьями, оба не знали зависти, оба, каждый по-своему, были светские святые. Тем не менее Фарадей был некоторой загадкой для Араго: он просто не мог понять, каким образом этот самоучка, бывший переплетчик, ни в каких школах не учившийся, ничего кроме своей науки не знавший, не знавший даже высшей математики, мог сделать столько поразительных открытий. Разговаривать с ним о чем бы то ни было, кроме физики и химии, едва ли стоило. Фарадей, добрейший и бескорыстнейший из людей, принадлежал к какой-то маленькой простонародной секте, верил каждому слову ее учения, говорил преимущественно о ней, о погоде, о королеве Виктории, которую, по-видимому, считал небесным явлением, хотя по скромности упорно отказывался от предлагавшихся ему наград и титулов. Он необычайно восхищался всеми учеными и их открытиями, совершенно не шедшими в сравнение с его собственными. С благодарностью и с любовью вспоминал и сэра Гемфри Дэви: этот большой ученый когда-то оценил юного переплетчика и принял его на службу в лабораторию: Фарадей исполнял при нем обязанности частью лаборанта, частью лакея. Позднее Дэви, завидуя его гениальности, стал относиться к нему враждебно; он же

благоговел перед памятью своего учителя. Араго, сам превосходный экспериментатор, видел Фарадея за работой в лаборатории и испытывал такое чувство, точно присутствует при чуде. Фарадей работал по-простому — почти как в молодости переплетал книги; застенчиво и грустно говорил, что математики не знает, — так жаль, не было возможности научиться, — и добивался головокружительных результатов. Казалось, он непонятным чутьем видел материю насквозь. Это было и торжеством разума, и в каком-то смысле насмешкой над ним. В лабораторию Фарадея, кроме ученых со всех концов земли, приезжали министры и лорды посмотреть на национальную гордость. Он радостно-благодушно принимал их, но еще больше бывал рад переплетчикам и сапожникам, в обществе которых часто проводил вечера.

Во Временное правительство Араго просто не мог бы не попасть: таковы были его положение, репутация и популярность. В парламенте он пользовался огромным авторитетом, неизменно избирался в важнейшие комиссии, делал ответственные доклады, во всё вносил свои качества ума, честности, беспристрастия и трудоспособности. Эти же качества тотчас проявил и на должности военного и морского министра после революции. Араго был компетентен и в военных делах, которыми по необходимости занимался в парламенте в пору монархии. Если же как министр признавал себя в чем-либо недостаточно осведомленным, то расспрашивал специалистов, сопоставлял взгляды и советы, думал над ними и принимал решение, казавшееся ему наиболее разумным и логичным.

Разум и логика были в течение всей его жизни единственной верой Араго. Религия мало его интересовала. Искусству он был чужд. И революцию, и республику он хотел было принять как торжество логики и разума. Тотчас согласился войти в правительство и лишь, в отличие от других министров, — вероятно к их

неудовольствию и недоумению, — отказался от жалованья. Никакого состояния у него не было; после него ничего не осталось. Но, со свойственной ему твердостью, он заявил, что ему достаточно тех одиннадцати тысяч франков в год, которые он получал по своей ученой должности.

Работа Временного правительства не оказалась торжеством разума и логики. На заседаниях научных обществ работа шла совершенно иначе. Там люди знали то, о чем спорили, и говорили дельно даже тогда, когда ошибались. Кроме того, там все были относительно корректны, не орали, не стучали кулаками по столу. И, наконец, там все думали честно. Министры Временного правительства тоже были честными людьми; тем не менее Араго ясно видел, что многие из его товарищей иногда, сознательно или бессознательно, приносят правду и логику в жертву интересам либо мощных финансовых организаций, либо влиятельных групп избирателей; некоторые из этих групп теперь назывались пролетарскими и после введения всеобщего избирательного права стали тоже могущественными.

Как всегда, Араго работал целый день и значительную часть ночи, несмотря на очень дурное состояние здоровья. После революции он больше не читал своего ежегодного курса астрономии. Этот курс он всегда читал, не прибегая к математике, и потому называл «популярным», хотя его друг Александр Гумбольдт и умолял его не произносить слов «Astronomie *populaire*». Большая аудитория наполнялась людьми за час до открытия дверей; места брались с боя, в Обсерваторию приезжали нарядные дамы с карандашами и с тетрадками, бешено ему аплодировали при его появлении, затем что-то записывали. Вопреки своему желанию, он стал одним из тех модных лекторов, какие всегда бывали и бывают в Париже то по одной, то по другой науке. Отдельные лекции Араго изредка читал и теперь, а все свободные часы проводил в Обсерватории.

В Обсерваторию он отправился и после окончания заседания правительства. Это заседание особенно его расстроило ожесточенностью спора, пустословием, тем, что десять человек сочли нужным поговорить и высказали десять разных суждений. Но хуже всего было происшествие, которое послужило предметом спора. «Очевидно, этим несчастным инвалидам после революции живется ничем не лучше, чем до нее, а может даже и хуже», — думал он в экипаже. — «А следовательно бесполезно требовать, чтобы они были в восторге от только что завоеванной полной политической свободы. Да, у всех этих обездоленных людей теперь есть избирательное право. Но сами они едва ли будут избраны в парламент. Мы думаем, что им политическая свобода нужна точно в такой же мере, как нам. Она им действительно нужна, однако не в такой же мере. По-настоящему им нужна человеческая жизнь, та самая, что всегда была у нас; им нужны сытная еда, сносные квартиры, менее тяжелый, более привлекательный труд, развлечения, — именно то, чего революция почти никогда не дает, — может дать лишь десятилетиями позднее. Парижский простолюдин теперь живет хуже, чем при Людовике-Филиппе. Его труд остался прежним и плата осталась прежняя, а жизнь дорожает с каждым днем. Однако мы даем ему лишь Национальные мастерские с обеспеченным трудом, столь же тяжелым и безотрадным, столь же худо оплачиваемым, как труд на частных заводах. Да и то консерваторы говорят об этих Национальных мастерских с ужасом! Они хотят спасти наш строй дисциплиной и строгостью. А это все равно, что лечить от чахотки диетой. Конечно, в общем счете исторического прогресса мы гораздо более правы, чем реставраторы. Но нашим преувеличенным восторгом после февральских дней мы *лгали*, вводили в заблуждение этих людей, обещали скоро дать им то, чего не увидят и их дети и не увидят по нашей вине. В этом и

есть главная драма революции. Они начинают думать, что мы их обманули. В революциях, в восстаниях, в переворотах вообще толку мало. Они становятся необходимыми лишь в случае слепоты правителей. Несчастье именно в том, что правители слишком часто слепые от рождения или тотчас ими становятся, приходя к власти. Людовик-Филипп *мог* предотвратить революцию, наше Временное правительство еще *может* предотвратить свое падение. И весь наш строй обречен на гибель, если проницательными людьми твердой воли не будут произведены смелые, глубокие реформы, которые дадут возможность жить человеческой жизнью всем, а не только немногим. Я не вижу этих проницательных людей твердой воли... Жаль, очень жаль. Все-таки свобода высшая из наших ценностей, я ее не променяю ни на что другое».

Вдали показались светлые куполы Обсерватории. Их вид всегда его успокаивал. Выходя из кареты, он оступился и вдруг почувствовал себя очень худо. Это случалось с ним все чаще: иногда он останавливался на улице и садился на тумбу, на выступ стены, на ограду садика. Врачи считали его тяжело больным человеком: ему в самом деле оставалось жить недолго. Он лечился, но в меру; при всей своей непоколебимой вере в науку, к врачам относился благодушно-иронически.

Старый привратник почтительно отворил дверь и поклонился. Он смущенно сказал: «Bonsoir. Tout va bien?» и вошел во двор. Ему было совестно перед стариком, — все-таки бросил Обсерваторию, — несколько совестно и за свое правительственное величие, за полагавшийся министру экипаж, за прекрасных лошадей. Прежде у него никакого экипажа не было; впрочем, он и теперь часто пользовался омнибусом и никак не с тем, чтобы удивить этим людей. Был демократ по природе, особенно в бытовом отношении.

Он прошел по слабо освещенному фонарями двору,

стараясь скрыть, что чувствует себя плохо. Но в кабинете тотчас тяжело опустился в кресло. До лекции еще оставалось много времени. План ее у него был готов, говорил он всегда гладко, хорошо и просто. Сам шутливо объяснял, что войдя в аудиторию, прежде всего выбирает в публике человека с наименее умным лицом и затем не сводит с него глаз: если этот понимает, то вероятно понимают и все другие (одному из выбранных им слушателей такое внимание чрезвычайно польстило. И он написал Араго благодарственное письмо).

В этот вечер он читал лекцию о кометах. С ними у него была связана некоторая личная неприятность. Не очень давно в небе появилась комета, занесенная им в каталог под номером 164. Ее появления никто не ждал. Этому могли удивляться только люди, не знавшие, что точно расчислены всего лишь четыре кометы во вселенной. Но, по странной случайности, вышло так, что впервые эту комету заметили в небе не ученые при посредстве телескопов, а простым глазом простые люди, — чуть только, в их числе, не какие-то ночные гуляки: астрономы всех обсерваторий мира ее пропустили. Разумеется, это подало повод для насмешек в газетах. Посмеивались и над Араго, — оттого ли что он был известнее других, или же потому, что у него все-таки были политические враги: они его не травили, но при случае посмеяться над знаменитым человеком, принадлежавшим к враждебной группе, доставляло некоторое удовольствие. На самом деле он ни в чем виноват не был: при первом появлении кометы небо в Париже было совершенно закрыто тучами, и наблюдения были невозможны. Однако не заметили кометы № 164 и другие знаменитые астрономы, Бессель в Кёнигсберге, Струве в Пулкове, Эйри в Гринвиче. Все они были несколько сконфужены этим странным происшествием.

Араго привык к тому, что о кометах ему задавали нелепые вопросы. Иногда люди его спрашивали, что

может предвещать комета № 164. Ведь комета 1811 года появилась на небе как раз перед великой франко-русской войной. Комета Галлея при своем первом появлении вызвала общую панику: турки завоюют христианский мир. Еще какая-то комета возвестила близкую смерть Галеаццо Висконти. Когда Араго бывал в хорошем настроении, он с улыбкой отвечал, что войны при Наполеоне бывали и без комет, что Византия была занята турками до появления кометы Галлея, что Галеаццо Висконти умер скорее всего от страха, вызванного кометой, и что вряд ли все-таки небесные тела опускаются и до возвещения незначительных событий в не очень больших городах Италии. Когда же он бывал настроен дурно, то пожимал плечами, раздраженно говорил, что он не астролог и ерундой не занимается, и советовал спрашивавшему пойти к гадалке. Но, случилось, кто-то на лекции спросил его: если эта комета появилась в совершенно неожиданное время в совершенно неожиданном месте и если ее путь в прошлом и будущем неизвестен, то какова гарантия в том, что она не столкнется с землей и не вызовет гибели всего человечества?

Этот вопрос застал его врасплох. В самом деле ничего невозможного в таком событии не было. Он применил к вопросу теорию вероятности. Выходило, что у Земли было 280.999.999 шансов из 281.000.000 избежать столкновения с кометой. При новой встрече с недоверчивым слушателем, Араго сообщил ему результат и добавил: «Любой разумный человек, как бы он ни был привязан к жизни, не станет волноваться из-за столь ничтожной вероятности гибели». — «Да, но все-таки остается печальный 281.000.000-ый случай», — ответил слушатель-пессимист.

Почему-то этот разговор ему вспомнился и теперь. Он подумал, что для него, при его тяжелой неизлечимой болезни, вероятность очень близкой смерти неиз-

меримо больше. «Хорошо было бы умереть без долгих страданий. Это возможно. А нет, так что же делать?»

До начала лекции еще можно было поработать. Немало людей уверяло, что они считают «вычеркнутыми из жизни» часы, проведенные без дела (только самые искренние, Руссо, Толстой, порою говорили, что истинное счастье находили в праздности). Но Араго действительно праздности совершенно не выносил. Следовало ответить на несколько писем. Как для большинства знаменитых людей, письма для него были настоящим бедствием.

Написав письма, он отворил окно. Вечер был изумительный, — серебристая громада Млечного Пути как будто требовала наблюдения. Струве только что прислал ему свою новую книгу «Etudes d'astronomie stellaire». Русский ученый высказывал очень интересные мысли о гипотезе Гершеля. «Да, лучше было бы смотреть на э т о, чем слушать весь их вздор», — подумал он, разумея заседание Временного правительства.

Араго засветил фонарь и прошел в залу большого телескопа. Лучшие часы своей жизни он проводил в этой зале. Знал в ней каждый уголок, наощупь в темноте находил любой рычаг. Так и теперь привычными движениями привел в движение то, что следовало, поставил фонарь на пол у вращающейся кушетки под телескопом, придал ей нужное положение, затем снял сюртук и лег. При этом опять почувствовал сильную боль и опять сказал себе, что не надо обращать внимания. «Все это неважно!.. А если сейчас и умру на этой кушетке, наблюдая небо, то что же может быть лучше и почетнее такой смерти?..»

Он медленно повел телескоп вдоль созвездий. «Кассиопея... Персей... Возничий... Близнецы... Телец... Орион... Носорог... Большой Пёс... Корабль Арго... Центавр... Южный Крест»... На Южном Кресте особенно хорошо был виден темный провал, называвшийся Угольным

мешком Гершеля. Безошибочная память Араго подсказывала ему чудовищные, непостижимые, недоступные и воображению цифры. «17.206.400.000.000.000 миль» (он еще иногда вел счет на мили). «А за этим провалом какие-то миры без звезд, уж совсем неведомые и непонятные... Да, в свете этого, «объективно», инцидент с генералом Пети и вся наша революция не имеют большого значения. Но какое дело до этой «объективности» живому человеку — и даже умирающему? Очень дешева и слишком удобна мудрость разных Экклезиастов. Идеи надо защищать и в большом, и в малом, отлично зная ничтожность дела». Действительно, несмотря на свою старость, он умел защищать свои идеи. В пору парижских баррикад химик Дюма писал о нем: «Поведение его в эти дни опасности было необыкновенно твердо и мужественно: Араго под градом пуль бросался на баррикады с такой решимостью, что очевидцы думали, будто он ищет смерти».

Он остановил телескоп и задумался над гипотезой Гершеля, не сводя глаз с Южного Креста и с черного провала. По его мнению, ничего не могло быть прекраснее и величественней этого зрелища. В Англии он когда-то видел картину Тинторетто: «Млечный Путь». Смотрел на нее с недоумением и с улыбкой. «Простоватый художник верно думал, что его Юнона, с выходящими из горла звездами, придаст э т о м у поэзии!..» Араго не понимал и не чувствовал искусства. В его огромной библиотеке, проданной с аукциона после его смерти, оказалось только девятнадцать художественных произведений; и едва ли он читал эти книги Камоэнса, Боккаччо, Бенсерада: вероятно, они были поднесены ему в дар издателями. Музыка вызывала у него смутное беспокойство: она была точно вызовом разуму и логике. Но его взгляд естествоиспытателя замечал и в картинах то, чего рядовые наблюдатели не видели. Ему

показалось, что и нарисованы у Тинторетто павлины, орел, руки Юноны не очень хорошо. А главное, было бессмысленным желание приукрасить Млечный Путь.

«Все они, конечно, лгали, очень поэтично и очень наивно, — думал он. — Ни на какой Корабль Арго никто после смерти не попадет и вообще больше ничего никогда не будет. Что же тут страшного? Ровно ничего. Я пожил достаточно, знал в жизни больше прекрасного, чем худого, сделал немало, увеличил то, что называется сокровищницей знания. Конечно, если б еще пожил, мог бы еще кое-что сделать, но я и так далеко перешел через среднюю продолжительность человеческой жизни. Вместо меня для науки будут работать другие, наука бессмертна. Они помянут меня добрым словом и не в одной Франции: я работал и для всего человечества. Делал это как мог и умел также в политике; и здесь работал на пользу людям. Были, конечно, ошибки, о них тяжело вспоминать, но ничего очень дурного я не сделал. Быть может, главная ошибка была в том, что я рассматривал человека хоть отчасти как логическую машину... Скоро похоронят, забудут не так скоро, да если б и забыли, то нет большой беды: я ничем не лучше тех, кого забудут на следующий день. Никакой другой жизни не будет, и в этом тоже нет ничего особенно страшного. Боюсь смерти? Нисколько не боюсь, — совершенно искренне ответил себе он. — Не то, чтобы надоела жизнь, уж наука-то нисколько не надоела, напротив люблю ее все больше. Но я устал, пора отдохнуть. Это ведь, как сон. Правда, без пробуждения на следующий день. Однако, когда ложишься спать, разве очень думаешь о том, что завтра проснешься? Просто хочется спать». Он вернулся к гипотезе Гершеля и к соображениям Струве.

К девяти часам он обещал составить и послать в типографию правительственное сообщение о происшест-

вии во Дворце Инвалидов. Он поднял фонарь, взглянул на часы, времени оставалось лишь минут двадцать. С усилием встал с кушетки, — боль стала почти нестерпимой — надел сюртук, опять повернул какие-то рычаги и вернулся в свой кабинет. Там он сел за стол, подумал и стал писать: «Quelques invalides se sont livrés, dans la journée du 23, à des actes d'insubordination qui»...

Через четверть часа он отдал рассыльному бумагу. Поднялся, опираясь на письменный стол, смочил голову одеколоном и принял пилюлю. Лекарство давало облегчение на час или полтора, этого было достаточно для лекции. Ровно в девять прошел в лекционный зал. Аудитория встретила его бурными, долгими рукоплесканьями. С тех пор, как он стал членом Временного правительства, его популярность еще возросла, чего он никак понять не мог. Араго поклонился, ожидая конца овации, затем стал рассматривать публику в поисках самого тупого слушателя.

Во втором ряду, с края, нервно оглядываясь по сторонам, сидел плохо одетый человек очень мрачного вида, знаменитый революционер, крайний из крайних, сын члена Конвента, Огюст Бланки. «Этот что тут делает?» — изумленно спросил себя Араго. Они не были знакомы, но знали друг друга в лицо. Араго относился очень враждебно к коммунистам, однако считал Бланки честным и искренним человеком. Вдобавок, люди, интересующиеся астрономией, всегда пользовались некоторым его расположением. «Что ж, из моих коллег по правительству, верно никто о кометах не имеет ни малейшего представления. А этот интересуется!.. Учись, голубчик, учись». Рукоплескания наконец прекратились. Араго чуть откашлялся. Боль стала слабеть, пилюля подействовала. «Прочту, сил хватит. Ненадолго, но хватит»...

— Mesdames, Messieurs, — сказал он. Здесь не полагалось говорить «citoyens».

IV - V

. . . .

. . . .

VI

Mon cœur pour s'épancher n'a que vous et les dieux*). Racine

В хорошую погоду Роксолана после окончания работы гуляла в Люксембургском саду. Этот сад ей понравился. И хотя неоткуда ей было встретить знакомых, все надеялась: вдруг встретит? В Галате нашла бы приятелей и приятельниц на каждой улице. Здесь же было гораздо труднее завести новые знакомства, чем в Константинополе и даже, чем во Флоренции. Французы оказались очень замкнутым народом. Ей не удалось познакомиться и с соседями по дому; быть может, ее профессия не внушала им доверия.

В саду к ней не подходили ни русские князья, ни английские лорды. Иногда пытались пристать какие-то молодые люди, но она их боялась: «Наверное бедный, а может быть, и больной, а может быть, тоже какой-нибудь Жак Ферран, возьмет и ночью зарежет!» Обедала она в недорогом ресторане поблизости от сада. Но как ни приятно было, что у нее собственная квартира, да еще такая хорошая, возвращалась она домой всегда с печальным чувством: опять одна.

Впрочем, были и радости: сбережения ее росли, и пришли деньги по купонам от купленных ею бумаг. Она была чрезвычайно довольна: «Не надули Ротшильды,

---

*) Для того, чтобы мое сердце открылось, существуете только вы и боги.

вот спасибо! И хорошо это придумали люди: и ничего не делала, а деньги сами собой пришли! Отнесу им еще!»

В один из первых дней июня ей в Люксембургском саду бросилось в глаза знакомое лицо. Всех красивых мужчин она уж безошибочно запоминала навсегда. Этого молодого человека она раз видела в Константинополе, он был знакомый сумасшедшего русского старика. Столкнувшись с ним, Роксолана ахнула и улыбнулась ему так радостно, точно они были старые друзья. Он удивленно взглянул на нее, тоже узнал и вежливо поклонился. Она по-французски пропела, что очень рада его видеть. Виер совершенно не знал, кто она. Роксолана совершенно не знала, кто он.

— Так вы в Париже? — одновременно спросили они друг друга. Оба справились о Лейдене и оба ответили, что ничего о нем не знают. Затем она самым певучим своим голосом предложила пообедать вместе. По инстинкту добавила, что ресторан очень недорогой.

Немного поколебавшись, Виер согласился. В этот день он находился в таком же настроении, как она.

По дороге в ресторан оба, тоже одновременно, спросили друг друга: «А как вас зовут?» — и оба засмеялись. Его очень позабавило имя Роксолана. Но когда она за обедом сообщила ему, чем занимается, он не улыбнулся. «Ну, что ж, и ей надо жить. Вот она, «la peine des hommes», подумал он.

— А ко мне недавно приходил знаменитый писатель, — похвастала она. — Его зовут Бальзак. Ах, какой умный! Но страшный.

— Правда? — с улыбкой спросил он.

— Ты его читал? Я тебе говорю ты, я всем, кто молодой и красивый, говорю ты. А я ему гадала. Он мне сказал, что в Америке теперь придумали столы... Как это называется? Спе... Спиритизм, — выговорила она. — Ты не слышал? А ты мне тоже говори ты. Я тоже молодая и красивая.

— Что-то слышал. Это столоверчение, ворожба столами. Вздор, конечно.

— Ах, не говори! Это может быть очень выгодно. А после обеда пойдем ко мне, — сказала Роксолана. Он ласково смотрел на нее.

Вечером Виер вышел от нее с новой своей усмешкой. Ничего особенно нехорошего он не сделал, но легкое чувство неловкости испытывал: Лейден был его старший друг и по возрасту годился ему в отцы. «Да ведь их дело кончено, у него это было такое же пустое похождение, как у меня. Не предполагал я о нем такого. И я хорош, но я не женат»... У него было смутное чувство, будто тем, что он сошелся с женщиной легкого поведения, он мстил капиталистическому обществу.

На следующий день он опять к ней пришел. Она встретила его с восторгом. Была очень им довольна. Красивый поляк был не богат, хотя хорошо и очень чисто одет. В ресторане Роксолана поморщилась, когда услышала, что он ищет работы и хочет поступить в какие-то мастерские, где платят два франка в день. Тем не менее она горячо звала его приходить к ней возможно чаще. Он был друг сумасшедшего русского, и Роксолана его не боялась.

— Иногда буду приходить, — сказал он.

— Зачем иногда? Приходи в пять часов в сад каждый день. Я люблю тебя. А ты меня любишь? А чем ты прежде занимался?

«Что ей сказать? — подумал он. — И в самом деле, чем я прежде занимался?»

— Я революционер.

Она сначала не поняла. Получив краткое разъяснение, одобрила:

— Это хорошо. На этом можно заработать много денег. Ты только в мастерскую не ходи, а все хорошо обдумывай и газету читай каждый день.

Он с той же улыбкой подумал, что в сущности при-

близительно то же самое мог бы сказать Бальзак. «Он ведь наверное убежден, что революции устраиваются темными людьми для наживы. В пошлости легче всего сойтись большим с малыми».

— Я и так читаю.

— Увидишь, ты будешь богатый. За тебя всякая богачка пойдет, потому что ты такой красивый. А ты смотри, не торопись, все раньше узнай. Куда спешить? Дай, я тебе погадаю.

Взглянув на его руку, она огорчилась.

— Ах, нехорошо! Короткая линия жизни!

— Да ведь это вздор.

— Ах, нет, не вздор! Вот сомнабулки вздор, эта Генриетта шарлатанка! А рука не вздор. Да, ведь, если и короткая линия, то и пять лет можно прожить! Ты хочешь жить долго?

— Хочу ли? Нет!

Так многие говорят. А потом, когда больны, плачут: «Не хочу умереть, хочу выздороветь», — особенно мило пропела она, подражая плаксивому тону людей, которые так говорят. Сама она не боялась смерти, потому что никогда о ней не думала. Смутно верила, что там на небе все, должно быть, как-нибудь устроится, не то, чтобы хорошо, но и не очень плохо: как на земле.

— Нет, я плакать не буду! Человек не должен умирать в кровати, босой, в ночной рубашке. Умирать надо в мундире! Наполеоновские маршалы делили людей только на офицеров, штатских и врагов. А для штатских у них было презрительное слово: «pékins». По своему они были правы. Я военный, а громадное большинство людей — штатские, и враги у них личные, ничтожные.

«Да он совсем дурачок, — ласково подумала она. — Что же тут хорошего? Если кто умирает в мундире, то, значит, умирает молодым? И совсем он не офицер, хвастает. Офицера сейчас видно».

— Я многих офицеров знала, одного страшного богача, — сказала она. — Ты глупый, но храбрый. Я люблю храбрых. Один из-за меня в Галате разбил головы двум пьяным. Правда, и сам был пьяный... Знаешь, что, приходи завтра не в пять, а в четверть пятого. Будем вместе пить шоколад.

VII

> Я становился независимее и отвыкал от людей; не избегал никого, но лица сделались мне равнодушны. Я увидел, что серьезно глубоких связей у меня нет, что я чужой между посторонними, сочувствую больше одним, чем другим, но ни с кем тесно не соединен. Оно и прежде так было, но я не замечал этого, увлеченный собственными думами; теперь маскарад кончился, домино сняты, венки попадали с голов, маски с лиц, и я увидел черты не те, которые предполагал. Я мог не показывать, что многих меньше люблю, то есть больше знаю, но не чувствовать этого не мог.
>
> Герцен

Виер вернулся в Париж лишь в конце мая.

В Константинополе его в самом деле ждали деньги и инструкция. Она его удивила. На него возлагались два поручения. Одно было нисколько не опасное: ему предписывалось повидать казаков-некрасовцев в Биневле и окончательно выяснить, выступят ли они против России в случае войны. «Да ведь я уже у разных казаков был», — с недоумением подумал он. Второе же поручение, тоже не такое важное, как ему писали, заключалось в том, чтобы принять участие в создании Еврейского легиона, который должен был скоро выступить в поход на защиту Италии. Виер догадался, что в Отеле Ламбер его привлекли к этому делу, так как слышали об его

отдаленном еврейском происхождении. Сам он не очень верил, что происходит от петровского графа Девиера. «И мать не знала, кто были предки отца, а я уж совершенно не знаю. И это никакого значения не имеет. Сам князь Адам не знает, кто был его отец, — думал он, вспоминая слухи, распускавшиеся врагами князя. — Кровь, раса, происхождение, какой вздор! Ну, что ж, скажу правду: и мне было бы приятнее называться Чарторыйским, чем Виером, да только потому, что много дураков на свете»...

Он много думал о письме, которое обещал написать Ольге Ивановне для Лили. «Но ведь условились, что я напишу в Киев, а она туда должна была вернуться только в мае или даже в июне. И главное, что же я ей теперь могу написать? Мое положение выяснится лишь в Париже. Я нежно люблю Лилю, но ничего не поделаешь, надо подождать».

Из Франции приходили известия, чрезвычайно его огорчавшие. По-видимому, новое правительство никак не собиралось объявлять войну за освобождение Польши. Точно так же раздумал воевать и Николай I, хотя в первый день действительно на балу сгоряча велел офицерам «седлать коней». Не слышно было и о том, чтобы в Париже формировалась настоящая польская армия. «Да, до моего возвращения туда ничего не буду знать».

Можно было бы, конечно, написать Лиле и в Петербург. Однако в Константинополе говорили, что после февральской революции письма из-за границы проходят в России через очень строгую цензуру. «Симпатическими чернилами писать было бы теперь слишком опасно. Я не могу подводить ее и людей, у которых она гостит. Написать просто несколько ничего не значащих слов? Если даже они не дойдут, то она только будет понапрасну разогревать страницу, и удар будет для нее

страшный. Уж лучше пусть думает, что письмо не дошло».

Со своей обычной добросовестностью он занялся возложенной на него работой. Дела в общем ему были все же понятны. Польские эмигранты теперь не представляли собой значительной военной силы. Кадровые офицеры, бежавшие за границу в 1831 году, успели состариться; они семнадцать лет трудились, чтобы прокормить себя и семьи, не занимались военным делом и отстали от него. Молодежь военного образования не получила. Притока людей почти не было. Князь Адам возлагал большие надежды на турецких казаков: по его сведениям, они ненавидели царское правительство. Создание же Еврейского легиона было затеей графа Замойского. Для нее в 1948 году приезжал в Константинополь Витольд Чарторыйский. Тут уж было вначале и не совсем понятно, с кем этот легион будет воевать. В конце царствования Людовика-Филиппа Отель Ламбер изменил свою внешнюю политику. Князь Адам теперь относился к Австрии враждебно, в меру своих сил поддерживал итальянцев, венгров, австрийских славян. Можно было рассчитывать, что в Италии пригодится лишняя, хотя бы и небольшая, воинская часть.

Виер решил начать с первого поручения и на третий же день после своего приезда в Константинополь выехал в Биневле к казакам.

Он был принят стариками вежливо, без большого почета и с легким удивлением, относившимся, как он понимал, к его молодости. Казаки моложе пятидесяти лет не только не участвовали в совещании, но и не решались входить в избу начальства. Она была хорошо убрана и украшена знаменем некрасовцев: на белом поле был золотой крест, а на черном турецкая эмблема. Совещавшимся в избе подавали крепкий душистый кофе; чаю некрасовцы не пили. Слушали Виера старики уныло. «Да верно я здесь не первый польский эмиссар»,

— подумал он. Сказал по-русски довольно длинное слово о событиях, о революции во Франции, о надвигающейся войне. Старался говорить возможно проще и понятнее; иногда замечал, что старики обменивались насмешливыми взглядами.

Ответили ему уклончиво и вместе твердо. Смысл ответа был тот, что никакой войны пока нет, а может, никогда и не будет, что ж даром болтать? Кроме того, казаки служат султану, присягали ему и будут присяге верны: издаст султан приказ о войне, — пойдут, а сами никаких соглашений заключать не имеют права и ничего обещать никому не могут. Виер убедился, что эти малообразованные люди, жившие в глухой турецкой провинции, не так уж плохо разбираются в международных политических делах. О французской революции они слышали, и она их совершенно не интересовала: они видели в ней просто непорядок, не имевший к ним никакого отношения. И если они не очень любили русское правительство, от которого бежали их предки, то польских эмигрантов любили никак не больше: видимо им не доверяли и остерегались их. Виер и сам понимал, что казакам незачем воевать с Россией и ему было совестно, что он вводил их в заблуждение, суля им какие-то выгоды от войны. «Да, в политике, к несчастью, то же, что в торговле: не обманешь — не продашь».

Когда совещание кончилось, Виера пригласили к столу. Хозяева стали тотчас очень радушны. О политических делах они больше не говорили, и он почувствовал, что совершил бы неприличный поступок, если б за обедом сказал еще хоть одно слово о политике. Угощали же его превосходно. Ему было известно, что эта странная казацкая республика в турецком царстве процветает. Султаны чрезвычайно ценили некрасовцев, считали их лучшими своими воинами и осыпали знаками внимания. Престарелый Иван Салтан получил в свое время множество боевых наград. Во внутренние дела казаков

султаны не вмешивались, но по договору запрещали им заниматься хлебопашеством, чтобы они не превратились в обыкновенных крестьян: в мирное время казаки имели право заниматься только охотой и рыбной ловлей. Говорили они на чисто русском языке, со старинными выражениями, оставшимися от времени Игната Некрасова, память которого была окружена в Биневле настоящим культом. Проводили Виера ласково, но видимо были рады тому, что польский пан уехал. «Если начнется война, будут, как всегда, драться храбро, а сами ни с кем воевать не хотят, менее же всего с Россией, хоть она и императорская» — думал он.

Не очень много толка вышло и из дела с Еврейским легионом. Виер принял участие в вербовке, посещал еврейские кварталы Константинополя, ездил в соседние города, везде произносил речи по-французски. Люди на собрания приходили, но понимали его очень плохо: в громадном большинстве знали только турецкий и старо-испанский языки. Он нанимал переводчиков. Обычно это были константинопольские гиды. Для них это было непривычное дело. Быть может, переводили они его слова и точно, — однако их вялый перевод, очевидно, никакого впечатления не производил. Виер преимущественно говорил о Франции, о французской революции, провозгласившей равноправие евреев, о генерале Бонапарте, который выражал намерение восстановить самостоятельное еврейское государство и вновь выстроить Соломонов храм. Эту часть его речи слушали внимательно и с интересом: имя Наполеона и здесь было известно всем. Но когда он затем переходил к войне с Австрией за независимость и за объединение Италии, начинались зевки, кое-где слышался и смех, а часто зал пустел. «И тут то же самое: зачем им покидать Турцию и воевать с Австрией, когда именно в этих странах к ним относятся гораздо лучше, чем в большинстве других?»

Тем не менее ему и другим агитаторам удалось завербовать в легион сто тридцать евреев. Всё это были очень молодые и чрезвычайно бедные люди. Виер думал, что ими руководит желание приключений, стремление хоть как-нибудь выйти из их скучной убогой жизни, а всего больше голод: легионеров обещали кормить хорошо. Это было всё же некоторым успехом: он тотчас послал донесение в Отель Ламбер. Но главные трудности начались именно теперь. Новобранцев надо было обучить, а он сам строевых приемов не знал: когда-то учился им, но научился немногому, да и позабыл. Впрочем, оказалось, что для обучения новобранцев был особо предназначен польский кадровый офицер, который говорить на собраниях совершенно не умел, но строй знал хорошо и вдобавок сносно владел турецким языком. В пришедшем из Парижа ответе Виеру выражалась благодарность — и указывалось, что теперь руководящая роль переходит к кадровому офицеру. Он несколько обиделся: «В чем же была *опасность* обоих поручений? Очевидно, они доводом об опасности воспользовались для того, чтобы я не мог отказаться? Главное для них, конечно, было дело с казаками: для него я и был им нужен, так как я совершенно свободно говорю по-русски, и им верно сказали, что я хороший оратор. Скорее всего, они и вообще недовольны моими пессимистическими докладами?»

Он предложил кадровому офицеру, что отправится в Италию под его командой, хотя бы простым солдатом. Тот любезно и вежливо отклонил предложение. Ему было известно, что Виер социалист, да еще и крайний. — «Такие люди, как вы, — сказал он, — гораздо нужнее на более важных постах. Рядовым я вас, разумеется, принять не могу, а как же вы будете командовать, не имея военного опыта и не зная турецкого языка?» Легион скоро и отплыл в Италию, — «по следам Маккавеев», — писал польский очевидец.

Почти одновременно с этим Виер получил из Парижа письмо от одного из молодых польских революционеров, сочувствовавших, правда, не Бланки, а Барбесу. Барбес был крайним сторонником войны с Россией. Впоследствии, в 1854 г., он даже был помилован Наполеоном III, так как в частном, перехваченном полицией письме из тюрьмы выражал горячее пожелание победы французам в Крыму над «казаками» (от помилования он, однако, отказался). Польский приятель писал Виеру, что теперь ни малейшей надежды на войну нет; делать революционерам-полякам пока нечего, и отношения у них с Отелем Ламбер снова ухудшились. «Мы за баррикады, они против. Баррикады же здесь будут непременно!» Сообщал также, что с Россией больше нет возможности сноситься: письма не проходят, и царское правительство теперь никому паспортов не дает ни на въезд в Россиию, ни на выезд из нее. — «Ты проскользнул один из последних, твое счастье».

«Господи! Значит, всё кончено с Лилей! — с отчаянием подумал Виер. — И написать ей нельзя, и никогда ее теперь за границу не выпустят, и кормить мне ее будет нечем: опять безработный, опять гольш! Но если революция идет к концу, если всё кончилось ничем, если капитал и теперь оказывается таким же властелином, как при Людовике-Филиппе, то и жить мне больше не для чего!»

Он думал всю ночь о Лиле, о себе, о том, что можно сделать. Пришел к выводу, что положение совершенно безнадежно: не было ни одного шанса из тысячи на то, чтобы ему теперь удалось встретиться с Лилей. «Не заставлять же ее ждать, не подавать же несбыточных надежд! Кончена жизнь! Никакого личного счастья не будет!»

Утром он всё же написал Ольге Ивановне. Написал без симпатических чернил, просто послал сердечный привет, снова благодарил за гостеприимство. Вскользь

упомянул, что теперь, в виду изменившихся обстоятельств, независящих от его воли, они верно увидятся лишь очень не скоро. «Когда мы снова встретимся, Елизавета Константиновна верно будет уже замужем. Всей душой желаю ей большого, большого счастья, как и вам, и Константину Платоновичу». У него вдруг полились слезы. «Совсем истрепались нервы!» Он понимал, каким страшным ударом это будет для Лили. «Зачем только я остановился у них в Киеве! Сделал несчастным и себя, и, главное, ее!»

На почте чиновник, взглянув на конверт, сказал:

— Я принять страховым не могу. В Россию письма не пропускаются, большей частью возвращают с границы, а вы своего адреса не указали.

«Какой же адрес я могу дать? — подумал он. — Я не знаю, где остановлюсь в Париже. Не указывать же Отель Ламбер! А если со мной что случится, то это еще могло бы их скомпрометировать».

— Тогда пошлите не страховым, — ответил Виер. Чиновник пожал плечами и принял письмо. Оно действительно не дошло.

В Париже он тотчас по приезде узнал о неудачной попытке революционеров захватить власть и об аресте Огюста Бланки. Это было для него новым тяжелым ударом.

Виер нашел дешевенькую комнату в гостинице на окраине левого берега. Поселился там случайно: этот квартал совершенно ему не подходил: от всего было далеко и жили тут больше мелкие торговцы. Но уж очень было дешево, и он знал, что сюда к нему будут реже приходить знакомые. Разложил вещи, накупил газет, стал по ним разбираться в политическом положении. Радоваться было вообще нечему, а ему в особенности.

На следующее же утро он побывал в Отеле Ламбер

и представил отчет. Князя Адама в городе не было; да если б он и был, то едва ли принял бы Виера: быть может, и в лицо его не помнил. Виер тотчас заметил перемену. Встретили его очень учтиво, но как будто суховато. Чувствовалась и некоторая растерянность. По-видимому, события и настроения во Франции не вызывали большого удовольствия у Чарторыйских и Замойских. Выслушали его устные дополнения к докладам внимательно, были приятно удивлены обстоятельностью его денежного отчета и тем, что на себя он потратил так мало денег. Очень его благодарили и выразили надежду, что позднее опять окажется возможным сотрудничество. Он тоже выразил такую надежду.

«Слишком расширился и у нас, поляков, ров между имущими и неимущими, — подумал он, выходя. — Если б они и предложили мне работать с ними дальше, я всё равно принять не мог бы. Что же теперь делать? Быть может, Бланки из тюрьмы с нами снесется и будет давать указания. А нет, так будем делать дело по своему разуму. Надо, конечно, найти заработок».

Его сбережений могло хватить разве на месяц самой скромной жизни. Бедность его не пугала, но пугала нищета. Он видел в эмиграции слишком много примеров того, как от нищеты опускались честные и порядочные люди, как приучались жить подачками. «Я думаю, что не мог бы так жить, но и они верно прежде думали о себе то же самое... Ну, что ж, буду искать работы, а если ничего другого не найду, то поступлю в эти Национальные мастерские», — решил он. Это несколько его успокоило.

В тот же день он повидал кое-кого из единомышленников. Настоящих друзей у него не было, да и настоящие единомышленники были больше французы. Он увидел, что всё-таки очень отстал. При нем говорили, как о чем-то всем известном, о событиях, о которых

он и не слышал. Впрочем, сообщали преимущественно, кто оказался дураком, трусом или обманщиком. Виер ждал идей, а услышал сплетни.

Ничего утешительного он не узнал и об отношении нового французского правительства к польскому делу. Конечно, Франция, как и Англия была бы очень рада, если б Польша отделилась от России. Но серьезной целью в своей политике она этого не ставила. Вдобавок, это вызвало бы осложнения с Пруссией и Австрией, а их дружба или хотя бы нейтралитет были неизмеримо важнее сочувствия поляков. Польским эмигрантам говорились любезные слова и при Людовике-Филиппе, и при Второй Республике, и при Наполеоне III, им даже отпускались на всякий случай небольшие деньги, — они всё-таки могли пригодиться, — но большого значения им никто не придавал.

Разброд же в самой эмиграции теперь был еще сильнее, чем во все предшествовавшие годы. В первое время после февральских событий как будто возник еще новый план общенационального объединения. Но скоро и слепым стало ясно, что такого объединения не будет и быть не может: слишком разны были польские эмигранты по своим взглядам, по своему прошлому, по своим замыслам, и слишком остры были между ними политические и особенно личные счеты. Теперь каждая группа работала самостоятельно — или же называла работой свои собрания и разговоры.

Увлечение, впрочем, спало за три месяца почти у всех. Виер услышал о разных политических клубах; там, по-видимому, и делалась история. Но ему сообщили, что после событий 15 мая работа стала менее энергичной, некоторые клубы даже закрылись. Виер узнал адреса и в первые дни делал то, что его товарищи делали всю весну. Кроме французских клубов, были клубы эмигрантские. В гостинице Англия и в Мюльгаузенском кабачке на Итальянском бульваре заседал немецкий ре-

волюционный клуб, во главе которого прежде стоял поэт Гервег. Как большинство поляков, Виер недолюбливал немцев, но тщательно подавлял в себе это чувство. Он побывал в немецком клубе и услышал там такие крайние, кровожадные речи, каких нигде никогда в жизни не слышал. Правительства всех стран осыпались бранью и проклятьями, как впрочем и все революционные вожди, — эти за их недостаточную революционность. «Больше всего, конечно, кипятятся люди, которые в мыслях не имеют делать что бы то ни было, — вот как очень скупые люди неизменно возмущаются скрягами. По-видимому, они здесь сходятся больше, чтобы посплетничать за пивом. Пиво, кстати, ругают еще крепче, чем товарищей по революции: немецкое гораздо лучше».

Польский клуб находился на rue de l'Arbalète. Там Виеру сообщили о затее, о которой он впрочем уже слышал: готовится большое предприятие, будет создан и отправлен на Вислу для борьбы с Россией экспедиционный корпус из двадцати четырех батальонов.

— Как же вы туда доставите этот корпус? — спросил он.

— Пути найдутся.

— Но как двадцать четыре батальона будут воевать с Россией? У Николая огромная армия.

Ответ был, что надо только зажечь пожар, а там Франция и Англия придут на помощь. Ссылались на какие-то слова, которые в частных беседах говорили французские и английские государственные деятели, впрочем, второстепенные или даже совсем мало известные; цитировали статьи из разных газет.

— Всему этому грош цена, — сказал он. — Журналист что-то где-то слышал, ему нужна построчная плата, вот он и пишет. Да есть ли хоть оружие для экспедиционного корпуса?

Ему прочли воззвание, выпущенное два месяца то-

му назад клубом на французском языке. В воззвании было сказано:

«Час возрождения народов настал. Вам, французы, выпала честь: вы начали это великое дело. На нашу долю, на долю поляков, выпало его закончить.

Французский народ, твоя сестра Польша в нашем лице благодарит тебя за то гостеприимство, которое ты оказывал ее детям в течение семнадцати лет их изгнания; но она требует своих сынов, ибо и для нее возрождается эра свободы.

Братья, нам необходимо оружие. Дайте нам его.

К оружию во имя братства народов!

Братья, мы уезжаем, доверив вам наших жен, наших детей, наших старцев.

Прощайте братья, мы идем воевать за освобождение нашей родины. Если мы погибнем, Бог отомстит за нас, так как Он нас ведет».

Под воззванием в постскриптуме сообщалось, что оружие принимается в помещении совета первой колонны польской эмиграции, на rue de l'Arbalète, 26.

— Какое же оружие может дать нам рядовой француз? Старый пистолет, сохранившийся в семье от времени Наполеона, или кухонный нож? — спросил Виер. — Что же, много вы получили оружия?

Ему с раздражением ответили, что пока пришло немного, но сбор продолжается. Сказали также, что очень легко всё критиковать и что нет ничего вреднее боязливого пессимизма. Молодым же людям в особенности не следовало бы высказывать сомнения в деле, в которое верят такие вожди, как Ворцель и другие, — назвали еще несколько очень известных имен.

— Я не пессимист и не трус. Если ваши батальоны отправятся в поход, я буду одним из первых. Но я в это не верю, — сказал Виер. Простились с ним холодно.

«Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie? — подумал он, выходя. — Нет, и отсюда ничего

ждать нельзя, хотя они хорошие люди. Освобождение Польши стало частью общего мирового вопроса, то есть революции во всем мире. Скоро, быть может, здесь, в Париже, начнет литься кровь. И я знаю, где я пролью свою». У поляков преобладало мнение, что эмигранты не могут и не должны вмешиваться во французские внутренние дела. Но он с этим был не согласен. «Я люблю Францию и обязан бороться за ее счастье так же, как за свободу Польши. Нет поляков, французов, немцев, русских, есть братство людей в свободе, есть только граждане мира. Чем кончится этот польский поход, если он вообще состоится, неизвестно. Может кончиться и фарсом, как кончались некоторые такие дела у других народов. В Париже рабочее восстание уж наверное фарсом не кончится. А погибать, так лучше за мировое, чем за национальное дело».

По вечерам он возвращался домой, взбирался к себе на четвертый этаж, пил кофе с хлебом. С удовлетворением думал, что никто к нему больше не зайдет, что до утра во всяком случае никого не увидит и что он никого видеть не хочет.

О Лиле он«запретил себе думать», — и всё же думал о ней беспрестанно. «Теперь она верно уже в Киеве. Если письмо дошло, она возьмет его у Ольги Ивановны, будет разогревать на огне, увидит, что никакие буквы не выступают. Бедная, милая девочка... Она всё же поймет, что *настоящее* сказано в письме к ее матери. А может быть, и не дошло письмо. Она будет расспрашивать отца, Тятеньку о событиях, они ей объяснят, что все сношения России с западным миром порваны, что паспортов больше не выдают, что, быть может, дело идет к войне. Всё у всех проходит, пройдет горе и у нее, как прошло у Зоси. Эта, должно быть, уже замужем, живет в имении и наслаждается богатством? И Лиля выйдет за другого, за русского, и дай ей Бог счастья. А я больше никому не нужен. Но я пригожусь делу»...

Через несколько дней он заметил, что потерял розу, которую дала ему Лиля. Тогда, в Петербурге, вернувшись домой, он положил цветок в ту же книгу Шиллера. Теперь в книге его не оказалось. «Что же это? Как это могло случиться! Твердо помню, что вложил его как раз на странице «Resignation»! Куда он мог деться! Выпал в Константинополе, когда я укладывал вещи?..» Виер с большим волнением перелистал весь том, пересмотрел всё в чемодане, в портфеле, просмотрел другие книги, — розы не было. Эта потеря и чрезвычайно расстроила его, и поразила. «Пропал цветок, самое дорогое, что у меня было! Как я мог потерять?.. Никогда себе не прощу! Судьба? Никто никогда не мог понять, что такое судьба... Предзнаменование?..» Он все-таки не был свободен от суеверий, несколько этого стыдился и прежде в утешение себе повторял слова, вычитанные им где-то у Байрона: «Дурак никогда не бывает суеверен».

VIII

Синие обои полиняли,
Образа, дагерротипы сняли —
Только там остался синий цвет,
Где они висели много лет.

Позабыло сердце, позабыло
Многое, что некогда любило!
Только тех, кого уж больше нет,
Сохранился незабвенный след.

Бунин

Лейден только в первую минуту был огорчен, узнав от дворника, что барышня еще не вернулась. Затем почувствовал даже некоторое облегчение: с Лилей ему было бы еще тяжелее.

В сопровождении Никифора, испуганно на него смотревшего, он прошел по всем комнатам. «Она своим

присутствием делала естественной даже эту залу. Была сама естественность»... У его кровати стояли туфли, теперь с расправленными задками. «Это во мне тоже ее огорчало, часто просила надевать как следует. Даже в мелочах не старался, чтобы она была довольна»... На столике лежала его книга «Врачебное веществословие или Фармакология». Он взглянул на нее с отвращением.

Никифор так же испуганно рассказал ему, как все было. Константин Платонович старался слушать спокойно, но лицо у него все больше подергивалось.

Он переспрашивал дворника, три раза заставил повторить слова жены о священнике. «Да, умерла, как праведница. Это и есть истинный героизм. У нее была простая вера, какой у меня нет и быть не может. И насколько же ее вера спасительнее!..» Когда старик сказал, что видел тело барыни в часовне для холерных, Лейден попробовал себе это представить и не мог: слишком у него были живы впечатления от той, какой она была в молодости, от той, которая перед его отъездом укладывала его вещи и просила его не есть колбасы на станциях.

Дворник сначала забыл о халате. Упомянул только в конце разговора и был озадачен тем, что именно эти его слова больше всего потрясли барина.

— Потом расскажете, потом... Ну, идите, спасибо.

Его ждали письма. Он тотчас их прочел. «Да, удивительна бедность человеческого языка. Все пишут одно и то же, почти в одних и тех же выражениях», — думал он, сам удивляясь тому, что читает это, что обращает внимание на мелочи. Одно письмо было от Петра Игнатьевича, холодное и едва ли искренее, — Лейден обратил внимание и на это.

Затем он поехал на кладбище, хотя был совершенно измучен. Там долго смотрел на могилу. «Что же она думала бы, если бы тут лежал *я*? Что *на это* ей ответила

бы ее простая вера? У нее хоть совесть была чиста... Покупала мне подарок именно тогда, когда я ее обманывал»...

В невысоком строении у входа, которое неловко было называть конторой, ему дали указания о памятниках, о том, как приобрести место рядом с могилой жены. Он заполнил формуляр. «Скоро тут буду и я», — сказал он себе, точно кому-то угрожая. Но со смешанными чувствами понимал, что будет это всё же не так скоро: не очень просто устроить Лилю. «Допустим, Лиля будет материально обеспечена. Да как же она будет жить? Одна в доме?.. Разве я могу это сделать? Что сказала бы Оля?»

И тем не менее поездка на кладбище его успокоила. «Нашел, нашел и себе квартиру, — думал он. — Будем лежать вместе до скончания времен»...

Вернувшись домой, он достал из ящика старые письма к нему Ольги Ивановны. Они были сложены аккуратно и перевязаны ленточкой. Лейден начал было читать, но это было слишком страшно. Первое письмо было ею написано тотчас после того, как она стала его невестой. «Нет, нет, теперь не надо, когда-нибудь позднее»... Он поспешно всё положил на прежнее место. Подумал, что почти никогда не говорил с ней о серьезных вопросах, о тех, которые называются философскими. «Не удостаивал! А она была много мудрее меня. Да разве только об этом не поговорил! Не поговорил о столь многом, — *не успел* спросить ее, не узнал как следует об ее детстве, о том, как она училась музыке, о тысяче вещей не успел спросить — и теперь *никогда* больше знать не буду. Бывало сердился на нее, ссорился, кричал. Так у всех? Но что мне в том? Недолюбил!..» Вспомнил день их первой встречи, день свадьбы. «Как будто было вчера, но между этим вчера и сегодня прошла вся жизнь».

Дворник сказал ему, что из аптеки за неделю до его приезда приходили люди, всё чем-то поливали и ковры испортили. Он спросил, хорошо ли окурили комнату барышни, и кивнул головой, узнав, что может и хорошо.

Большую часть дня Лейден проводил дома. Знакомые не знали об его возвращении или делали вид будто не знают: навещать его было бы тягостно, да и опасно: зараза держится в домах очень долго. Даже прислуга все не возвращалась. Константин Платонович был и этому рад. Дворник, которому он подарил сто рублей, приносил ему обед из ресторана, ставил самовар, варил на ужин яйца, покупал хлеб и ветчину. Перед ним совестно было пить. Лейден сам украдкой купил несколько бутылок водки и пил много. «Знаю, что она поняла бы: без этого я совсем пропал бы. Впрочем, я и так пропал... Какие же у нее были радости? У меня были дела, книги, занятия, а что было у нее? Вставала и думала: сейчас уборка, кухня, Ульяна, и завтра то же, что сегодня»...

В комнате Ольги Ивановны он ничего не трогал. Просмотрел только книги на этажерке, — старался вспомнить или догадаться, откуда, когда каждая книга ей доставалась. От него тут подарков не было, он ей книг не дарил. Нашел «Опасной спор или сколько женщины могут полагаться на верность мужчин» — и поспешно вернулся в кабинет. Там в шкапу стояла водка.

Через несколько дней к нему всё же стали заходить знакомые, видимо гордившиеся тем, что не боялись заразы. Они глядели на него с тревожным изумлением. Один тотчас заговорил об Ольге Ивановне, горячо ее хвалил и восторгался ею, — но Лейдену его слова казались оскорбительными по неверности. «Совсем она была не такая: может лучше, может хуже, но не такая». Другой говорил о парижских событиях, о киевских новостях, — это было еще оскорбительнее, хоть по-другому. Затем зашла добрая знакомая, очень благочестивая

женщина. Она говорила о загробной жизни и обещала ему, что он снова встретится с Ольгой Ивановной в лучшем мире. Говорила искренне и с глубоким убеждением. Но он знал все доказательства бессмертия души. «И ученые, и неученые люди говорят в таких случаях одни и те же слова. Быть может, и ходят ко мне не для того, чтобы сделать приятное мне, а для того, чтобы сделать приятное себе. У Ивана Васильевича вообще знакомых мало, для него и этот визит развлеченье. А Наталья Сергеевна просто любит похороны, панихиды, болезни, и вдобавок считает, что Бог зачтет ей этот визит».

Его раздражало то, что у всех людей, у всех кроме него, были по-прежнему разные занятия, интересы, удовольствия, развлечения. Понять его очевидно не мог никто, хотя люди и притворялись, будто разделяют его горе, будто смерть Ольги Ивановны имеет для них огромное значение. Он понимал, что иначе и быть не может, но чувствовал глухое раздражение против всех. И, как он ни был теперь далек от людей и от их мелких интересов, всё же иногда думал и о том, кто почему не заходит, хотя мог бы зайти. «Петр Игнатьевич, несмотря на письмо, верно радуется тому, что со мной случилось несчастье».

Как-то ночью он проснулся с ужасом. Сердце сильно стучало. «Нет ее, нет, больше никогда не увижу! — точно впервые это поняв и почувствовав, подумал он. — Что же это, Господи! Да не сон ли это? Может быть, никогда ничего этого не было, и она жива, и никуда я не ездил в Турцию, в Италию!»

Иногда он впадал в странное, изменчивое, полусознательное состояние, то близкое ко сну, то на него очень походившее. Видел людей, которые давным давно умерли, о которых он годами не вспоминал. Однажды под вечер он — как будто во сне, хотя глаза у него были открыты — опять увидел Тициановского Неизвестного. На этот раз вышло по-новому. Неизвестный назвал его

Шопенгауэром с Шелковичной улицы, да еще вдобавок и сумасшедшим, посоветовал из подаренного женой халата сшить себе саван, а там будет видно, куда его отправят Минос с Эаком. «Остается только дом умалишенных!» — подумал он, придя в себя. Он встал и подошел к зеркалу. В полусвете кончающегося дня оно отразило изможденное, почти безумное лицо с воспаленными глазами.

Однако больше такие сны не повторялись. Он перестал думать и о трех плоскостях, — в них, ему показалось, была как будто и литература невысокого сорта. Много позднее думал, что случившееся с ним несчастье не только его не прикончило, но скорее остановило развивавшуюся в нем душевную болезнь, — это особенно его удивляло полным расхождением с общепринятыми взглядами.

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

I

Храни же в должных пределах выражение подлинного горя.

Плутарх

Тятенька заставил Лилю отложить возвращение в Киев. К нему присоединились Дарья Петровна и Нина, принявшие большое участие в ее горе.

— Что же нам сейчас туда ехать? — говорил Тятенька. — Бедная мама давно похоронена. Дом еще заражен. Я написал, чтобы сделали все нужное, но так быстро это не делается. Да и как бы ты там жила? Одна? Без прислуги? Или ты хочешь, чтоб и слуги заразились? И я? — спрашивал Тятенька, зная, что это сильный довод.

— Нет, не хочу, — отвечала, заливаясь слезами Лиля. Он сам долго рыдал после того, как пришло известие о смерти Ольги Ивановны.

— Вот, подождем, скоро дом будет очищен от этой проклятой заразы, вернется папа, выедем туда и мы.

Оставаться в Петербурге было Лиле очень тяжело. Из сочувствия к ней Дарья Петровна и Нина тоже почти никуда не ездили и почти никого не принимали. «Конечно, им это скучно и неудобно, покойная мама была им почти чужой человек. Я им теперь в тягость, как они ни деликатны и как ни упрашивают меня остаться. Но и Тятенька ведь тоже прав», — думала она, не зная, что ей делать. До сих пор вся ее жизнь проходила по указаниям родителей, особенно матери. Теперь она должна была сама всё решать. Между тем точно рассчитать день приезда отца в Киев было невозможно;

он на их письмо не ответил, они даже не были уверены, что он успел его получить во Флоренции. Таким образом они вернулись в Киев несколькими днями позднее его.

Обратный путь был так же печален, как чудесна была поездка в Петербург. Они проезжали по тем же самым местам, останавливались в тех же гостиницах, и каждая остановка была связана у Лили с воспоминаньями о Яне (теперь она мысленно выпускала «мосье»). Дарья Петровна при ней ни разу о нем не упомянула, и это как бы подчеркивало, что она обо всем догадывается. Нина уверяла Лилю, что всё кончится отлично: «Я уверена, что ты за него выйдешь! Конечно, не теперь, а через полгода или через год». Как ни утешительны были эти слова, Лиля всякий раз прекращала разговор: теперь и думать об этом нельзя. Но Нина, хорошо ее понимавшая, говорила то же и на следующий день. Романтизм письма симпатическими чернилами немного действовал и на Нину.

Лиля была очень дружна с Ниной, искренне ее любила, но находила, что уж очень они непохожи одна на другую. «Тятенька шутит, что Ниночка всем хочет показать: «Какая я умная, гордая, решительная и необыкновенная девушка!» Уж этого я не знаю, но у Ниночки всё ясно. Она хочет выйти замуж за богатого, знатного человека, хочет бывать на балах, обедах, приемах, хочет, чтобы ее дети получили самое лучшее воспитание, в Смольном, в Пажеском корпусе. Всего этого она верно и добьется. Конечно, она предпочла бы выйти замуж по любви, по той безумной страсти, о которой она говорит. Но если придется выбирать, то она без любви выйдет за богатого аристократа. Нина не любит Яна, да если б и любила, то никогда за него не пошла бы. Она уже несколько раз могла выйти замуж, так она умна, красива, так хорошо умеет делать что нужно. Я ничего не умею, мне теперь и не нужно ничего. Мне нужен только он... И как только я могла в Киеве думать обо всяких пустя-

ках!.. Быть может, если б не Ян, то и я была бы точно такая же, как Ниночка, как все. Ведь все хотят того же, что она, и я прежде хотела этого, только никому не говорила. Но я знаю, что для него это пошлость и грязь»...

В дороге Тятенька опять обдумывал вслух обеды, сам жарил шашлык, перед сном говорил: «Совершаем возлиянье — благодатному Морфею». Лиля понимала, что он другим быть не может. Тятеньке просто не приходило в голову, что из-за несчастья, хотя бы и самого тяжкого, можно не придавать значенья обеду, сну, удобствам жизни. Как всегда, он много ел, много пил, много болтал, и это было неприятно Лиле. Еще неприятнее было то, что она сама ела, пила, иногда даже печально улыбалась его шуткам. Раз как-то в роще их застала гроза. Тятенька продекламировал из Тредьяковского:

С одной стороны гром,
С другой стороны гром!
Страшно в воздухе!
Ужасно в ухе!

Впрочем, сам почувствовал, что сделал некоторую бестактность, и часа два грустно молчал. Вспоминал Ольгу Ивановну и думал, что верно сам скоро умрет. «Не надо об этом думать, всё равно ничего не поймешь... В Киеве помянут добрым словом. В ведомостях будет и некрология. Что-то они соврут? Суворов, когда умирал, подозвал к себе родственничка — поэта Хвостова и сказал: «Пожалуйста, одолжи меня, друг: не сочиняй стихов на мою смерть»... Нет, что ж, некрологии хороший обычай. Главное в жизни доброта а я, кажется, никому зла не делал и не желал... А может, и правы люди: вдруг на том свете все сойдемся! Вот и Костя так думал. Там будет видно... А я говорил Оленьке об уютности ее жизни, вот тебе и уютность!..» Он вспомнил: «Выпьем,

Тятенька, китайской травки» и украдкой смахнул слезу. «Нет скорее всего т а м ничего не будет. Прибавится только цветов на Оскольдовой»... Он оживился лишь перед новой остановкой. «Что ж, я до конца буду любить эту землю, эту жизнь. Прожил семьдесят с хвостиком, — Тятенька предпочитал хвостика не уточнять и в мыслях, — и еще, Бог даст, поживу»..

Как ни стыдно это было Лиле, она всю дорогу беспокоилась о письме Яна. «Теперь оно пропадет! Ведь он хотел написать бедной маме. Не отошлет ли почта назад?» Ей хотелось спросить Тятеньку, что́ почта делает с письмами в таких случаях. Но задать этот вопрос было невозможно.

В той комнате, в которую Виер тогда принес ей книгу Жорж Занд, Тятенька ей теперь советовал «посыпать постельку порошком, поскорее лечь и хорошенько отдохнуть». Потушив свечу, она долго думала о Яне, всё вспоминала его улыбку. Он улыбался очень редко, улыбка молодила его лет на десять. Хотя Лиля *презирала* «мальчишек», его улыбку всегда принимала как награду.

Рано утром снова прошел ливень. Лиля вышла в садик гостиницы и долго смотрела на радугу. «Как хорошо! Воздух какой!.. Мама говорила, что радуга залог... Не помню, какой залог... Не может быть, чтобы я за него не вышла! Неужели Бог над нами не сжалится? Может быть, это залог и для нас? Может быть, мы когда-нибудь опять поедем с ним по этой дороге, остановимся в этой гостинице. И опять будет дождь, и опять в небе появится эта дивная радуга, и я скажу ему, что здесь же в садике у вишен смотрела на нее, не понимала и никогда не пойму, что́ это такое, но думала о нем, думала что она залог между нами и что, может быть, и он ее теперь видит и хоть немного думает обо мне».

Встреча на Шелковичной была очень волнующей. Константин Платонович выбежал им навстречу. Лиля

и Тятенька чуть не ахнули, увидев его: так он изменился. Они плакали, обнимаясь, еще на улице. Затем Лиля долго плакала в зале, в уголке матери у печки.

Но и здесь в первую же минуту она подумала о письме. Спросила отца и узнала, что письма лежат в кабинете на столе. Улучив минуту, прошла в кабинет и, еле дыша, оглядываясь на дверь, всё просмотрела. «Нет!.. Забыл!.. Не любит!»...

Ей тотчас пришлось заняться будничными делами. Они приехали в двенадцатом часу дня, надо было распорядиться о ванне, о чае. Дворник и ямщик переносили вещи Лили в ее комнату. Тятенька свой багаж велел оставить в передней, — считал себя обязанным провести первый день с ними. Заплатил ямщику на чай раза в два больше, чем полагалось, так как торг был бы теперь при Лейдене неудобен: как будто молчаливо предполагалось, что деньги больше никакого значения не имеют (Константин Платонович почти с отвращеньем замечал все эти мелочи). Отпустив ямщика, Тятенька опустился на корточки перед большим чемоданом, достал пакет, тяжело встал и вручил его Константину Платоновичу с таким видом, с каким подают священный предмет. Это были письма, полученные им в Петербурге.

Лейден ушел в кабинет, там прочел всё в первый, во второй, в третий раз и вернулся без кровинки в лице.

Дворник принес самовар и собрал на столе всю бывшую в доме нехитрую еду. Тятенька на нее покосился. Масло было куплено третьего дня, хлеб вчерашний, ветчина высохшая. Лиля уже доставала из ящиков буфета другие ножи и вилки. — «Никифор ничего не знает! Завтра всё наладим», — говорила она, и видно было, что она вступает в роль хозяйки дома. Ее взгляд даже незаметно скользнул по водке, когда отец налил себе четвертую большую ромку. Точно так на него за

обедом в таких случаях искоса смотрела Ольга Ивановна.

Тятенька тоже всё поглядывал на Лейдена: «Что это у него тик какой сделался? А я-то его считал бесчувственным человеком!.. Ну, да пройдет, не может не пройти. Жизнь ему Лиля наладит, и я помогу. Надо будет первым делом подыскать хорошего повара вместо Ульяны».

Дворник опять рассказал о последнем дне барыни. Лиля снова заплакала и Тятенька прослезился, дожевывая бутерброд. Часа в три все поехали на кладбище. Там больше не плакали. Говорили о памятнике, о том, какую сделать надпись, смотрели на другие надписи. Тятенька восхищался красотой вида: «Она так любила Днепр!» На обратном пути долго молчали. При виде далекого монастыря Тятенька прочел: «Под Киевом, где Днепр широкий — Меж диких скал кипит, шумит, — На склоне, на горе высокой — Обитель иноков стоит». При этом опять поздно вспомнил, что не следовало читать стихи, хотя бы и такие. «И всё преувеличено: и Днепр не шумит и не кипит, и диких скал никаких нет. Правду говорил когда-то Костя, все они, литераторы, привирают. Сам его Пушкин очень привирал. Описал в «Полтаве», как сошла с ума Мария Кочубей, а никакой Марии никогда и не было, дочь Кочубея звали Матреной и, главное, она и не думала сходить с ума из-за Мазепы, а преспокойно вышла потом замуж за полковника Чуйкевича, я еще его родных знал... А Лилька, милочка, смотрит на монастырь и верно думает, что сама ушла бы к этим инокам на гору».

Обеда не было приготовлено. Пришлось отправиться в ресторан. Там настроенье стало уж совсем будничным. Тятенька сказал «что-то не обедается», заказал семь блюд и всё старался шутить. Константин Платонович сердито морщился. «Какой-то он стал *нарочитый* и очень утомительный»...

В ресторане появились знакомые. Они подошли к Лейденам с грустными лицами, сказали, что собирались к ним зайти на следующий день, попросили разрешения «присесть» и долго выражали сочувствие. «Верно, досадуют, что попались... Они оба мне написали, тоже, как все, писали об *искреннем* сочувствии, точно без этого слова сочувствие было бы признано фальшивым», — думал Константин Платонович. Но и ему, и Лиле, и Тятеньке странным образом стало легче при посторонних людях. Знакомые очень тепло говорили об Ольге Ивановне, старательно прибавляя всякий раз слово «покойная». Затем все немного помолчали. Погода была не жаркая и не холодная, так что за нее ухватиться для разговора было трудно. Один из знакомых сильно чихал, и Тятенька это использовал, — задавал обычные в таких случаях бессмысленные вопрос: «да где вы так простудились? да как это вас угораздило?»... Затем разговор понемногу пошел. Лиля рассказывала даже о петербургской опере, а под конец обеда сам Константин Платонович что-то сообщил о революции в Вене.

О Константинополе и Флоренции он не сказал ни слова и не ответил на вопрос Тятеньки, очень ли он там скучал без единой знакомой души. Тятенька даже несколько насторожился, как ни далека от него была мысль, что его друг мог иметь за границей любовную связь. Один из их знакомых был врачем. Он решил, что надо поговорить о Лейдене с Тятенькой. «У него глаза душевнобольного, — сказал он своему приятелю, когда они остались одни, — и ты заметил, он на дочь ни разу и не взглянул». — «Не до поросят свинье, как сама на огне», — ответил другой, и ему стало тотчас совестно, что он привел столь грубую поговорку. Врач только взглянул на него укоризненно.

Ресторан находился внизу между Подолом и Липками, у Жандармского сада, где застраивался Крещатик. Таким образом ехать им приходилось в разные сто-

роны. Тятенька нерешительно предложил, что останется у них и ночевать. Ему очень хотелось поскорее вернуться в свой домик, в котором перины были чуть не до потолка, а погреба, шкапы, кладовые ломились от бутылок, варений, солений. «Вещи разберем завтра, старуха всё и без меня сделает. Вот только меню я сам спрячу», — думал он: в Петербурге не раз обедал в дорогих ресторанах и всегда уносил меню для своей коллекции. Он с удовлетворением чувствовал, что опять началась тихая, устоявшаяся жизнь: уютный, киевский быт, где ничто никогда не изменится, не может измениться и не должно: «Так было верно при Кие, при Оскольде, так будет и через пятьсот лет, и слава Богу!.. Олечки больше нет, что ж тут поделаешь. Бедный Костя верно теперь выдумывает философию, а тут никакой философии не надо или она давно выдумана. Сделаю всё, чтобы они утешились поскорее. Они мне теперь, особенно Лилька, самые близкие люди на земле».

— ...Да нет же, Тятенька вам пора домой. Чем вы нам сейчас поможете? — сказала Лиля со вздохом. Подумала, что дома ничего нет, а Тятеньке понадобится и ужин. Она очень устала и хотела лечь спать поскорее.

— Ты права, деточка, вам лучше остаться вдвоем, — радостно ответил Тятенька. — Так до завтра. Возьмите оба себя в руки. Вонми, Костя, гласу моления моего, сосни, — посоветовал он. «Если он еще скажет что-либо такое, я не выдержу и устрою скандал!» — подумал Лейден.

Ему не очень хотелось и оставаться вдвоем с дочерью: всё было уже сказано. Жизнь вошла в колею. «Винить некого, Лиля молода, но тяжела эта «колея»! И слово какое гадкое для гадкого понятия... Как им всем не совестно так лгать? Везде фальшь, всё фальшь».

В коляске они опять молчали. Затем Лиля спросила отца:

— Папа, только те письма были, какие лежат на письменном столе?

Лейден смотрел на нее непонимающим взглядом.

— Письма? Какие письма?.. Ах, да... Нет, больше никто не писал. Не все ведь и знают, что я уже вернулся в Киев.

— И для меня ничего не было?

— Не было. То же самое: люди верно думают, что ты еще в Петербурге.

— А что, папа, тот польский граф? Мама вам о нем писала. У него тогда читал Бальзак. Он теперь в Киеве?

— Бальзак?

— Нет, этот граф.

— Не знаю. Откуда же мне знать?

Когда они вернулись домой, он попросил ее лечь спать. «Всё остальное завтра». Константин Платонович поцеловал дочь и пошел купаться. Лилю несколько встревожило, что он оставался в ванной очень долго, больше часа. «Уж не случилось ли что?..» Она на цыпочках вышла в коридор и испуганно остановилась: Константин Платонович разговаривал сам с собой и вскрикивал. «Что такое? Что с папой!» Так же на цыпочках она вернулась в свою комнату. «Надо сказать Тятеньке»... Не погасила у себя свечи, пока не услышала, что отец направился в кабинет. «Может быть, ничего нет нехорошего? Просто от рассеянности... Но этого никогда с папой не было».

В кабинете Лейден хотел снять халат, но на это не было сил; он опустился, почти повалился, на диван и задремал. Опять был сон и опять бессмысленный. Снилось будто Тятенька у ж е говорил тем знакомым, что надо было бы найти Косте вторую жену. — «Помилуйте, что вы! Он конченный человек!» — возмущенно отвечали знакомые, оказавшиеся графом Бобринским. Хотя мысль о новой женитьбе показалась бы самому Лейдену дикой и отвратительной, его раздражило, что

граф считает ее невозможной, а его конченным человеком. Затем снился уж совершенный, постыднейший вздор, — будто он в халате — и не в новом термоламовом, а в старом — пришел в гости на прием к графу Бобринскому (о котором верно с год ни разу не вспоминал) и был от этого в ужасе, — вдобавок, на рукаве было большое пятно и все гости смотрели на него с презрением... Он точно велел себе проснуться и со злобой подумал, какие идиотские сны могут сниться человеку в таком положении, как он, точно жизнь старается испачкать комическим всё.

На следующее утро началась работа, скоро вернувшая дом в его прежнее состояние. Лиля никогда хозяйством не занималась, однако домовитость была ею унаследована от матери. С утра люди из аптеки во второй раз что-то жгли, окуривали комнаты. В средине дня появились повар и горничная. Константин Платонович до приезда дочери спал на диване без белья, на кожаной подушке, — теперь на том же диване была белоснежная постель. Перевести отца в спальную Лиля не решилась. «Да и не всё ли равно? Кабинет нам и не нужен, верно, никаких гостей в доме несколько месяцев не будет». Она не спрашивала себя, как поступила бы мама, но, делала именно то, что сделала бы Ольга Ивановна. Повару был тотчас заказан обед, и даже обильный: Лиля понимала, что Тятенька в первое время будет у них обедать каждый день. Сама разыскала ключи, спустилась в погреб, достала наливку и вино.

Мысли у нее были всё те же: как бы узнать, что с Яном? «Я к этому графу никак поехать не могу. Попросить Тятеньку? Неловко». Кроме польского графа, никто в Киеве ничего о Яне знать не мог.

Тятенька действительно приехал к обеду. Собирался было повезти их опять в ресторан, но узнав, что обед будет дома, обрадовался и очень всё одобрил.

— Молодец Лилька, так и надо. За один день дом

неузнаваем, — сказал он и заговорил с Константином Платоновичем.

Хотя Тятенька раздражал и Лилю шутливым тоном и прибаутками (ей вообще казалось, что он несколько ослабел после смерти ее матери), на этот раз он поразил ее своей тонкостью и деликатностью. Садясь за стол, сообщил, — не ей, а ее отцу, — что *встретил* того польского графа, у которого зимой читал Бальзак.

— Тебя тогда не было, а мы с покойницей и с Лилькой были. Удостоил нас тогда приглашения и принял небезвнимательно. Это нам устроил пан Ян.

— Ах, да, что же Ян? — рассеянно спросил Лейден.

— Должно быть, цветет как роза, но он ни к кому не писал. Ни граф, и никто от него не получил ни строчки, все его прежде ругали. Да оказалось, что теперь письма задерживаются цензурой на границе.

— Как задерживаются на границе? — быстро спросила Лиля и вспыхнула.

— Так, очень просто. Не велено пропускать.

— Это давно?

— Чуть не с первых дней, как стало известно о революции в Париже. Скоро был разослан из Петербурга приказ всё задерживать. Теперь и сами они ни о чем правды знать не будут, только и узнавали из иностранных ведомостей. Якова Долгорукова у нас больше нет. Как-то, Лилька, Петр Великий вернулся домой в сильном гневе: Яков Долгорукий ему всё выпел. Екатерина царю и говорит: «Зачем же ты его не удалишь?» А он в ответ: «Э, Катенька, как его удалю, то кто же будет мне говорить правду?» Нынешние не то, — говорил Тятенька. Лиля нетерпеливо его слушала.

— И долго не будут доходить письма?

— А уж этого не скажу. О предъидущем судить рановременно. — Тятенька часто, следуя летописям и Карамзину, называл будущее предъидущим. — Не думаю, чтобы уж очень долго: у нас хоть и Турция, но не

совсем Турция. Пройдет несколько месяцев, и сношения возобновятся, не могут не возобновиться... Помнишь панну Зосю? — небрежно вставил он. — Еще говорили, что наш пан Ян на ней женится! Вранье было, конечно, она недавно вышла замуж за другого. Но он с ее семьей были друзья, и, граф говорит, старик очень обижался, почему Ян не пишет: хоть бы два слова написал. Ну, а потом и они узнали, что письма не проходят. Да я и свою «Аугсбургер цайтунг» получил только до марта. Она кстати в последнем номере сообщает, что из Франции все бегут. Скоро и Ян к нам вернется.

— Почему бегут?

— Потому, деточка, что после революций везде всегда начинается собачье житье. Сказывают, гоноровый пан вернется в Киев, — врал Тятенька. Он попрежнему нисколько не желал, чтобы Лиля вышла замуж за Виера, но хотел ее утешить. «Скоро пройдет, мало ли таких вьюношей, найдется кто-нибудь и получше». — Ну, ладно, так выпьем за здоровье пана Яна. А, и венгерское есть? Молодец, Лилька. Тогда тем паче за него выпьем. «Поляк, венгер то братанки, — Як до шабли, так до шклянки».

Лиля залпом выпила бокал венгерского. Она еле дышала. По ее убеждению, Тятенька, как и ее отец, знали всё. «Слава Богу! Ах, слава Богу!»...

За обедом Тятенька угощал Константина Платоновича:

— Ты должен есть побольше, иначе ты заболеешь, что ж тут будет хорошего? — убедительно говорил он. Лейден злобно молчал. — Ну, возьми же еще кусочек индейки. Это самая здоровая еда. Индейка изряднейшая, одобряю нового повара. Положить тебе?

— Не хочу. Сыт.

— Ты не можешь быть сытым! И венгерского пей по бутылке в день. Ну, просто пей как лекарство. Это самое что ни есть укрепляющее вино.

— Вино папа пьет, — многозначительно вставила Лиля.

— Да что ж вино без еды! И еще я посоветовал бы тебе нюхать табак, это, люди говорят, очень успокаивает. Знаешь, что? У меня есть старинная табатерка, я тебе ее дам.

— Иди к черту с твоей табатеркой! — сказал Лейден и встал из-за стола. И Лиля, и Тятенька смутились.

— Dixi quod dicendum, — сконфуженно сказал Тятенька. — Ну, не хочешь слушаться, так не слушайся. Что ж злиться то! упусти мне, естьли что не так сказал.

Когда ее отец ушел в кабинет, Лиля попросила Тятеньку на него не сердиться.

— Да я и не думаю! — ответил Тятенька, хоть он в самом деле немного сердился на своего друга. «Всё же кое за что мог бы быть мне теперь благодарен. А он то лает, как пес, то холоден, как полюс».

— Уж я просто не знаю, что с папой происходит. Представьте себе, что было вчера...

Лиля с волненьем рассказала, что отец в ванной разговаривал сам с собой. Тятенька слушал, вздыхая. Он сам был напуган. «Вдруг вправду спятит»!..

— Я не хотел тебе говорить, но уж если ты заговорила, Лиленька... Да, что-то с ним творится. И не мы одни, замечают и чужие... Как бы его уговорить позвать доктора? Я этим эскулапам ни капельки не верю и бегу от них как от огня, но он прежде любил лечиться.

— Да что же доктору сказать? Что папа сам с собой разговаривает?

— Найдем, что сказать. Ты не волнуйся, деточка. Просто он измучен, и это натурально после такого несчастья. Ведь папа, как те рыцари-однолюбы, у которых девиз был: «Autre n'auray», — с игреком на конце... Вот летом поедете в Боярку, воздух там чудесный, он живо отойдет. Я буду к вам наезжать.

— Нельзя в Боярку, я уже думала. Там всё будет напоминать о маме, — сказала Лиля и прослезилась. Тятенька ее поцеловал.

— Ты права, я не подумал. Ну, быть может, на теплые воды? Вот что, ты ему скажи, что ты худо себя чувствуешь. Пользы не будет, но, Бог даст, не будет и вреда: какой же вред от теплых вод, особливо естьли не купаться в них и пить вместо них венгерское?.. Не плачь, деточка, всё устроится. Вот скоро приедет пан Ян, мы с ним посоветуемся.

— Подумать только, что он еще и не знает о кончине мамы! Надо известить его! Ведь этого требует просто вежливость. Но как? Значит, цензура и отсюда задерживает письма? Вы это наверное знаете, Тятенька?

— Наверное. Задерживает, проклятая, все. Да я ж тебе говорю, он скоро будет здесь, комнату для него готовь, — сказал Тятенька. Лиля просветлела. «Ох беда!» — подумал он и простился. По своему характеру он не мог долго находиться в обществе несчастных, горюющих людей. Кроме того голова у него тяжелела в этом доме, где еще стоял запах курений. Обещал приехать к обеду и на следующий день.

— Каждый день буду приходить, пока не выгоните.

— Тятенька, милый, я вам так благодарна! Без вас мы совсем пропали бы, — сказала Лиля, целуя его.

— Ну, вот! И знаешь что, Лилька, ты опять зови друзей. Хочешь, я им скажу? — Он назвал двух-трех человек, общество которых было ему приятно: они тоже умели весело есть и пить. — Папу надо теперь развлекать.

— Вы правы! — горячо сказала Лиля. — И, пожалуйста, скажите им, чтоб они не боялись. В аптеке ручались, что после второго окуриванья ни малейшей опасности нет.

— Завтра же и приведу кого-нибудь.

Лиля отдала еще несколько распоряжений по хозяйству, затем зашла к отцу в кабинет. Он сидел, в термоламовом халате, не за письменным столом, а у стоячей лампы, в том покойном кресле, в котором Ольга Ивановна иногда по вечерам слушала его споры с Тятенькой.

— Мне так совестно, папа, что я вчера для вас не вынула ни белья, ни подушек, — сказала Лиля. — Себе взяла из чемодана, а вы так и спите на голом диване! Я просто не подумала, не сердитесь на меня!

— Не сержусь, — ответил он, едва ли поняв ее слова.

Она поцеловала его в лоб и зажгла две свечи на маленьком столе у дивана. Ни ночного столика, ни других вещей из спальной в кабинет, по ее распоряжению, не переносили. Проверила, есть ли под подушкой ночная рубашка, принесла стакан еще не совсем остывшей отварной воды: она приказала целый день кипятить в огромных чанах воду, чтобы сырой никто в доме не пользовался. Затем пожелала отцу доброй ночи и ушла к себе.

«Ах, как это хорошо, тот девиз: «Autre n'auray», думала она. — Только у нас с Яном будет не так, как у папы с мамой. У них тоже было хорошо, у нас же будет другое, совсем другое, но тоже «Autre n'auray»... Что он теперь делает? Думает верно, как доставить письмо... Он мне сказал: «Вы узнаете мои планы, *наши* планы... *Наши* планы... Милый Тятенька говорит, что он вернется. И папа кивал головой... Но как же мы будем жить? И папу мне теперь нельзя оставить? Что, если б мы поселились вместе все трое? Наш дом большой, папа взял бы первые две комнаты. А из зала я сделала бы кабинет Яна, зачем нам зал?»...

II

> Ведь никто не знает, что такое смерть. Может быть, она величайшее из всех благ. Тем не менее все ее боятся, как если б было достоверно известно, что она величайшее из всех зол. Разве постыднейшее невежество не заключается в том, чтобы думать, будто ты знаешь то, чего ты совершенно не знаешь?
>
> Платон

Он чувствовал, что не заснет до утра. Зажег еще свечи и стал расставлять по полкам привезенные им книги, приводить в порядок бумаги. Как всегда, на полках книги были так тесно прижаты одна к другой, что он вытаскивал их нелегко и ронял с проклятьями на пол; из многочисленных же тетрадок находил последней именно ту, которую хотел найти первой. Затем бросил эту работу.

Думал, что надо как-то наладить жизнь, чем-то заполнить остающиеся ему годы. Он собирался перевести на имя дочери свои плантации и киевский дом. У него было и немало наличных денег. «И есть мой труд. Но над чем же мне трудиться? Основать, например, издательство с просветительными целями? Найти что-либо другое, *бесспорное,* если только есть такое? Не могу больше жить только для себя. Не могу теперь и заниматься платанами... Собственно и это *новое* — те же платаны, только с денежным убытком вместо прибыли? Меня теперь не так интересует общее благо или то, что они называют общим благом: та же сумма нолей. Значит, как прежде, заниматься делами, чтобы Лиля была богаче? Да, прежде это занимало и беспокоило. Но уехал я заграницу не для этого, а потому, что для меня, как для большинства людей, настала пора, когда и делать в жизни больше нечего, и ждать тоже нечего... А что, если я уехал от холеры? — вдруг с ужасом и отвращением подумал Лейден. — Нет, нет, неправда,

этого в мыслях не было! Иначе я был бы совершенный негодяй!.. Если не буду ничего делать, то совсем помешаюсь и в доме умалишенных окажусь личным другом Аллаха или Миноса. Если же хоть полдня буду занят, то, быть может, выздоровею. Сам чувствую, что уже кое-как выздоравливаю. Человек так подло устроен, что нет такого человека, без которого он не мог бы обойтись. Быть может, помогла и моя гимнастика смерти. Было ли у меня вправду растроение? Может, и было. Мальбранш, Локк, Лейбниц создали науку психологии, она исходит из однородного понятия души. Между тем, и без всяких растроений, без всяких ненормальностей, душа самое неустойчивое из явлений. Она изменяется, если не каждый день, то уж наверное каждый год, она не вполне однородна и в течение одного дня. Первое деление ясно: душа, показываемая людям, и душа, видимая только себе. Но это деление элементарно, оно не принимает во внимание наслоений, которые переходят от предков, накапливаются веками, скрываются в тайниках души, — пока вдруг при подходящей обстановке не проявляются к ужасу самого человека. Ведь всё-таки в нас живут, не могут не жить, черные души далеких предков, души непонятные, тупые, преступные. Религия, цивилизация, быть может, понемногу их и просветляют, но до сих пор не очень просветили, мир густо насыщен даже не грехом, а преступленьем. Следы этих душ есть в каждом из нас, и, быть может, сложность человека определяется числом таких наслоений. У Шекспира, у Наполеона их верно были десятки. А человеческая *чистота,* вот та, что была у Оли, это приближение к однородности, к *лучшей* из однородностей»...

Он раскрыл книгу Шопенгауэра. Читал по-прежнему с восхищеньем, но всё больше убеждался, что не для него *этот* выход, с литературным и философским блеском, не для него бессмертие с «Unendlichkeit *a parte post*» и с «Unendlichkeit *a parte ante*». «Конечно, он в сто раз умнее и глубже меня, допустим, он глубже всех

философов в мире, однако не может быть выходом бессмертие, основанное на признании каждой отдельной жизни бессмыслицей. Что мне от *его* бессмертия? Да может ли быть и *его* бессмертие, если не бессмертна сама вселенная?.. А что предлагают люди, как Тятенька: «не думать обо всем этом»? А я никогда не умел «не думать обо всем этом», разве это от меня зависит?.. Мне неизвестно, кто этот Шопенгауэр. Я, оказалось, никак не Би-Шар: если б был Би-Шаром, то и мысль о смерти преодолел бы по-своему, очень легко. Но он, быть может, Би-Шар почище моего Неизвестного... Человек всё-таки лучше того, что он о человеке думает: ненамного лучше, но лучше. И я, быть может, лучше, чем сам о себе думаю. У многих других не было бы и того, что называют угрызеньями совести. Люди очень меня не любят преимущественно потому, что им со мной скучно и что я этому рад. Я никак не ставлю себе целью их забавлять или развлекать, пусть этим занимаются скоморохи. И как ни слаба была моя «новелла», в ней была доля правды, и именно правды моральной. В чем же эта доля? В том, что бессмертие заключается в любви, не в той общей любви к людям, о которой говорят положительные религии, а отдельной, *частной* любви, в каждом случае своей и ни на какую другую не похожей. Оленька пишет: «Помни одно: я не думаю, а знаю, что мы снова сойдемся в лучшем мире, где нет ни печали, ни воздыхания». Если бы так!..».

Он вспоминал каждое слово из прощального письма жены, и слезы катились у него по щекам. «Как же люди живут, почти не думая об основном важнейшем вопросе человеческого существования? Они спрашивают: «Да что же нам делать?» А я отвечаю: «Надо *создать* бессмертие, пусть субъективное и, как ни странно это звучит, пусть ограниченное во времени, — вдруг подумал он. — Я отвечаю, что если я всегда, весь остаток моих дней, буду думать о ней, буду думать каждый день, каждую ночь, буду думать вечером, засыпая, бу-

ду думать утром, просыпаясь, то это и есть бессмертие, тогда для меня ее кончина не существует. Конечно, это не то, что было в жизни, но это лучшее, что было. У нас были мелкие раздоры, даже мелкие ссоры, была мелкая проза существования. Всё это, всё наносное теперь отпало. Осталась *она* и осталась для меня навсегда».

Он встал, прошелся по комнате, сел в кресло. «Да может быть, это *мой* выход просто заключает в себе старую мысль: надо сохранить любовную память об умершем? Нет, это не то, совсем не то. Я могу довести себя до полного общения с Олей, до такого общения, при котором ее смерть просто не существует! Тогда, по дороге в Краков, я разговаривал с ней так, точно она сидела рядом со мной в дилижансе: я видел ее как живую, слышал ее голос, ее интонации, слышал — знал доподлинно, — *что́* она говорит, как принимает каждое мое слово, как отвечает, что мне советует. И я доведу себя до того, что всегда буду в таком состоянии. Не всегда в буквальном смысле слова, как ведь не всегда она бывала со мной и при ее жизни. Но когда я буду один, вечером, ночью, в любую минуту, я буду знать, что она со мной, что она *тут*... Да, какая у нее была жизнь! Всё у нее было так однообразно, так неинтересно, и она сама, конечно, думала об этом и утешала себя, что работает для меня. Отдыхала два-три часа в день. Тогда читала». — Константин Платонович вспомнил, что нашел в кабинете какой-то русский исторический роман с князем Аникитой. — «Никаких других женщин в моей жизни не будет... А пусть люди считают меня сумасшедшим, я ведь вижу, как они все на меня поглядывают, даже Лиля. Они еще больше будут считать сумасшедшим *мой* выход... Почему? Я читал, какой-то немецкий врач или физик говорит об энергии, об ее сохранении, о том, что энергия не гибнет, она только меняет форму. Над ним еще недавно смеялись, теперь же ученые, кажется, больше не смеются. Этот

врач не сделал выводов из своего учения, он остался материалистом. Но если он прав в отношении своих видов энергии, то нет никаких оснований отрицать энергию духа, которая также исчезнуть не может. Лавуазье отрубили голову в цвете лет, Декарт тоже в цвете лет умер внезапно от простуды, куда же делась огромная энергия их мозгов? Материалисты скажут, что она именно превратилась в кристаллы, землю, растения. То же здесь в сущности говорит и Шопенгауэр. Но ведь это нелепость: мозг барана дал бы столько же всего этого, сколько мозг Декарта! Вечна энергия духа, вечна и одна из ее разновидностей: любовь. И как надо создавать известные условия, например, для проявления теплоты, так надо себе — каждый себе — создать условия для проявления духовного бессмертия. Эта энергия не *вечна?* А кто может утверждать, что по-настоящему вечна та, другая? Мир, вероятно, вообще кончится в результате какой-нибудь планетной катастрофы. Для меня достаточно и бессмертия ограниченного временем. *Наша* любовь с Олей, наша душевная связь останутся, пока я жив, они продлятся до моего последнего вздоха, а это главное! И я знаю, это утешило бы ее, как сейчас утешило меня... Затем, в неизмеримо меньшей мере, связь продлится в памяти, в душе Лили. Потом, быть может, еще сохранится смутная память на веру у ее детей. Затем всё исчезнет. Но н а ш е бессмертие останется, и этого достаточно. Я нашел свой выход».

III

Herr Omnes.

Luther

Виер каждый день ходил по городу в поисках работы. Но работу в средине 1848 года в Париже было трудно найти и французам. К полякам же работодатели относились враждебно, считая их всех революционе-

рами. Паспорт у него был русский, но Виер тотчас говорил, что он поляк. Обычно ему кратко отвечали, что сейчас ничего нет. В худших же случаях, правда очень редких, иронически предлагали вернуться к себе на родину: «Rentrez chez vous».

— А что ты умеешь делать? — спросила его в ресторане Роксолана через неделю после их первой встречи.

— Я ищу любой работы, — ответил он. Ее вопрос его снова несколько озадачил: почти ничего делать не умел. Но он о себе говорил с ней редко. Ему уже и вообще, как прежде Лейдену, казалось, что разговаривать с ней скучно, не о чем и незачем. — Я ищу любой работы, но мое настоящее занятие это революция. Скоро таких, как я, будет много.

— И вам будут хорошо платить?

— Нет, платить ничего не будут.

Роксолана вздохнула. Она очень его жалела. До того у нея никогда не было любовника, который ей не платил бы. Одни давали много, другие мало, но не получать ничего ей было странно и даже смешно. «Вот как если бы я пришла в ресторан и потребовала обед бесплатно!» — думала она. И тем не менее никто не нравился ей так, как этот мрачный молодой поляк.

Ей пришло в голову, что она сама могла бы ему предложить работу: он мог бы вводить к ней клиентов, как у старой гадалки тот человек в шляпе с пером. Это было бы очень полезно для дела. «Тогда у меня и поселился бы, и костюм я ему купила бы самый красивый!». Но хотя она совершенно не понимала, что он за человек, почувствовала, что он денег не возьмет. «Может быть, пока не возьмет, а потом сразу потребует много? Что ж, если не очень много, то я дам!»

Когда подали счет, она сказала ему:

— Знаешь что, сегодня заплачу я.

Он вспыхнул и, несмотря на свою обычную вежливость, назвал ее дурой. Сам тотчас смутился, слово у него сорвалось. Роксолана испугалась: «Еще бросит!»

— Ты меня не понял! Я думала так: сегодня заплачу я, а завтра ты.

До тех пор всегда платил за обоих Виер. Правда, они обедали в очень дешевом ресторане. Мужчины всегда за нее платили, но его ей было совестно вводить в расход. Заметив его смущение, Роксолана тотчас это использовала; так полагалось по правилам мудрости. Сделала вид, что очень обиделась. Виер чувствовал, что виноват, и старался загладить свою вину. Сохранив обиженный вид сколько было нужно, она пригласила его на обед к себе. Он тотчас принял приглашение. Угостила его константинопольскими блюдами, которые готовила хорошо. Стряпать вообще не любила, но для него стряпала с удовольствием и у плиты ласково улыбалась. Купила южное сладкое вино, хотя оно стоило недешево.

— Ах, как жаль, что у французов летом не едят устриц, — говорила она. — Ты любишь жареные устрицы? Верно, ты ел их в Константинополе?

— Нет не ел. Или не помню.

— «Не помню»! Когда мы оба заработаем много денег, съездим вместе в Константинополь. Ах, какой город! Я так по нем скучаю!.. Но прежде надо разбогатеть. Вот ты такой умный, такой ученый, а денег у тебя нет, — сказала Роксолана.

— Надо разбогатеть? Едва ли я разбогатею. Да ведь ты сказала, что у меня короткая линия жизни.

— Нет, не короткая! Бывают длиннее, но твоя не короткая... Как я рада, что ты пришел. Вот спасибо.

В средине июня он, потеряв надежду найти занятие в частных предприятиях, зашел в Национальные мастерские, созданные Временным правительством в начале революции. Многочисленные безработные прини-

мались туда на работу за плату от одного до трех франков в день.

Приемная была полна. Издали доносился гул машин. Разговаривать было трудно. Заведывавший приемом человек всем отвечал одно и то же:

— Какой теперь прием! — кричал он, стараясь покрыть гул. — Не сегодня, так завтра эти господа всех нас выбросят на улицу. Разве вы не знаете, что в их Национальном собрании уже обсуждается вопрос о закрытии мастерских?

— Что же нам делать?

— Наши говорят, что, если рассчитают, то все выйдут на улицу. Пора, чтоб была настоящая революция!

— Надо, чтобы к власти пришел принц Наполеон! — прокричал какой-то старый рабочий. — Никто не голодал при императоре!

— Да, так говорят многие. В мастерских всюду прокламации: «Vive l'Empereur!».

— А нет ли прокламаций «Vive la Sociale»? — спросил Виер тоже неестественно громким голосом.

— Есть и такие, только их меньше.

— Напрасно! — сказал Виер.

Он пошел по грязным коридорам, мимо механических мастерских. Отовсюду слышался грохот. Виер приотворил грязную боковую дверь, заглянул и чуть не отшатнулся: так оттуда дохнуло жаром. Что-то громадное поднималось и тяжело падало. Горели кроваво-красные огни. Вокруг них что-то делали полуголые люди. Пожилой человек в блузе поспешно подошел и, грубо выругавшись, захлопнул дверь перед носом Виера. «Нет, этот ад не для меня. Всё равно свалился бы через месяц. Они не сваливаются, они привыкли с детства и к этой работе, и к этой грубости. Теперь «Свобода, равенство, братство», но здесь такое же хамство, как всегда было. И этот ведь тоже рабочий!»

Виер вышел на улицу. Было очень жарко, но жар-

ко по-человечески. Было и шумно, но шумно по-человечески. Спокойствие скоро к нему вернулось. Если он теперь еще о чем-либо жалел, то разве лишь о том, что погибнет на баррикадах в *малом чине,* просто рядовым. «Или опять проснулась моя тайная, детская любовь к военному делу»? — спросил он себя с улыбкой. — «Ну, рядовым так рядовым. Всех, без различия чина, закопают в грязи, в общей могиле».

Несмотря на свою бедность, он в этот день взял билет на концерт. Исполнялась «Героическая симфония». Она уже входила в моду в Париже. То, что Бетховен посвятил ее Бонапарту и снял посвящение, когда генерал принял корону, способствовало ее успеху: одним нравилось, что посвятил, другим нравилось, что снял, третьи же находили, что венский композитор ничего не понимал в политике, ибо первый консул в своем отношении к идеям свободы и народоправства уже ничем почти не отличался от императора. Виера симфония потрясла. «Что, если это не хуже «Гугенотов»? — задал он себе смелый чуть ли не до кощунства вопрос. — Лейден говорил, что каждый человек иногда соприкасается с потусторонним миром. Если так, то музыка к этому вернейший путь... Какое счастье верно испытывают Мейерберы и Бетховены, когда это пишут! И какая же может быть справедливость, какое равенство, если это счастье дается одному человеку из миллиона, а понимает его как следует один человек из десяти. Зачем же жить людям, как я? Мы пыль земли, мы воплощение посредственности, но посредственность может скрасить смертью никому не нужную жизнь. А там увидим, правы ли были дервиши и все думающие о загробной жизни приблизительно, как они. Почему же не раскрывается мне хоть смутно, хоть намеком, этот потусторонний мир, если приходит конец, если смыкается мой круг?»

В начале июня хоронили рабочего, случайно убитого в стычке с полицией. Виер пошел на похороны.

Собралось человек пятьдесят. Лица у людей в блузах были хмурые и злые. Он проводил гроб до самого кладбища. Там уже оставалось не более двадцати человек. С кладбища зашли куда-то выпить. Он не пошел. Возвращаясь к себе через весь Париж пешком, вспомнил слово, сказанное когда-то Дидро: «Каждому из нас под конец жизни случается следовать за собственным своим гробом».

IV

> Эти безумства были в свое время вбиты им в голову легкомысленным английским священником из Кентского графства, которого звали Болл и который за свои безумные слова часто сидел в тюрьме архиепископа Кентерберийского. Этот Болл по воскресеньям, после мессы, когда все выходили из церкви, отправлялся на кладбище, собирал там народ и говорил ему: «Добрые люди, дела не могут и не будут хорошо идти в Англии, пока все имущество не будет составлять общей собственности, пока будут существовать дворяне и холопы, пока мы не будем все равны»... Многие простые люди его за это хвалили, а неблагонамеренные говорили: «он говорит правду»... Об этом стало известно архиепископу Кентерберийскому. Он сажал Болла в тюрьму и держал его там в наказание по два-три месяца. Уж лучше бы он в первый же раз приговорил его к вечному заключению или умертвил его.
>
> Фруассар*)

Баррикады появились еще раньше, чем думал Виер.

Июньское восстание 1848 года было одним из самых кровопролитных в истории. Погибли десятки тысяч людей, раза в четыре больше, чем в Варфоломеев-

*) Хроника 14-го столетия.

скую ночь. Оно отличалось еще многим другим. Никаких вождей у него не было, все главари крайних были в тюрьме. Кто руководил им, в сущности неизвестно. Вероятнее всего, никакого руководства не было. Не было и никакого плана. Прудон, с делающей ему честь откровенностью, писал: «До 25-го я ничего не предвидел, ничего не знал, ничего не угадал». Это восстание было в истории, быть может, единственным, в котором личное честолюбие, стремление прославиться, желание сделать карьеру не сыграли никакой роли.

Оно было вместе с тем и совершенно бессмысленным делом. Народ будто бы хотел «войны с Россией за освобождение Польши». Так, по крайней мере, уверяли многие очевидцы событий и историки. Если даже допустить, что народ, — весь народ, или хотя бы значительная его часть, — когда бы то ни было, где бы то ни было в самом деле хочет войны, в 1848 году было совершенно ясно, что война теперь невозможна. К революционной Франции никакая держава не присоединилась бы. Да и та война, которую несколькими годами позднее начал с Россией Наполеон III в союзе с тремя государствами, не ставила себе целью освобождение Польши и к этому освобождению не привела. Не было и никакой возможности установить во Франции социалистический строй; он не был установлен и в течение следующего столетия. Если бы 23-25 июня революционеры победили, то они 26-го уже не знали бы, что делать, и начался бы совершенный хаос.

Не менее бессмысленны были и действия их противников. Они в парламенте постановили закрыть Национальные мастерские, ссылаясь на необходимость сокращения расходов. В идее Национальных мастерских не было ничего нового или революционного. Во все времена разумные государственные деятели устраивали работы для нуждавшихся в них людей. Римские императоры, да и не они одни, шли и гораздо дальше: раздавали безработным хлеб бесплатно. Как многие

государственные предприятия, особенно новые, Национальные мастерские работали не очень хорошо. Причин было несколько, от общего хозяйственного кризиса до соперничества и глухой борьбы между двумя школами французских инженеров. После того, как революционеры 15 мая произвели неудачную попытку захвата власти, правые и умеренные все настойчивее требовали закрытия Национальных мастерских. Их довод был: «государство не богадельня». Эта ценная мысль настолько овладела умами, что против нее не очень спорили и левые, даже умеренные социалисты. Они только настаивали, чтобы закрытие производилось постепенно.

Дело было не в сокращении расходов. Обе стороны говорили о любви к ближнему, и ни у одной из них не было и следов этой любви. После 15-го мая члены правительства и парламента руководились только ненавистью к революционерам. Национальные мастерские действительно стоили довольно дорого, но июньское восстание, его подавление, его последствия обошлись Франции гораздо дороже и в денежном отношении. Между тем очень легко было понять, что закрытие мастерских грозит восстанием: выброшенных на улицу рабочих ждал голод в самом точном смысле этого слова. Они предпочли баррикады, — кто с «Vive la Sociale!», кто с «Vive l'Empereur!». Всё это дело лишний раз доказало, что в политической борьбе интересы людей имеют гораздо меньше значения, чем их страсти, в особенности, чем ненависть.

Восстание началось на следующий же день после закрытия Национальных мастерских.

Человек не слишком радикальных взглядов, вообще мало интересовавшийся политикой, скульптор Тони Этекс, лепивший статуи и бюсты королей, кардиналов, писателей, в своих воспоминаниях рассказывает, что 23 июня 1848 года его чуть было не убили революционеры. Проходя поздно вечером мимо бар-

рикады, он, по живости своего характера, стал увещевать рабочих: зачем вы бунтуете? это безумие! разойдитесь, пока не поздно. — Один рабочий прицелился в него из ружья.

— Вы хотите меня убить? — воскликнул Этекс.

— Да. Вы нас предаете, вы мешаете нам исполнить наш долг.

Этекс «истощил весь свой запас разума и красноречия», чтобы переубедить рабочего. Тот мрачно слушал, затем сказал: «Идите за мной».

«Ночь была темная, — рассказывает скульптор. — Шел дождь. Он повел меня вверх по лестнице старого дома. Вдоль стены тянулся грязный канат. Под крышей этого дома нищих я при свете ветхого фонаря увидел молодую, очень худую женщину с желто-зеленым лицом. Она хрипела на тюфяке, возле нее было трое чахлых детей, старшему было не более семи лет. Я опустошил карманы и убежал».

Однако не все бедняки были на стороне восставших. Солдаты и «подвижные гвардейцы» были в большинстве такими же бедняками. Многие из них подчинялись военной дисциплине и исполняли приказ командиров. Другие искренне хотели восстановления порядка и предпочитали консервативное правительство революционному. Третьи же оказались в правительственном лагере совершенно случайно. «Подвижная гвардия» была новой воинской частью; в нее входили очень молодые люди, почти дети; их прельстили красивый мундир, верховая лошадь и сытная еда. В июньские дни не раз случалось, что сражавшиеся внезапно перебегали с одной стороны баррикады на другую и там продолжали драться не менее храбро, с таким же ожесточением. Пели с обеих сторон вначале «Марсельезу». Затем, верно оттого, что скучно было петь всё время одно и то же, революционеры затянули «Mourir pour la patrie». Они считали эту песенку главным револю-

ционным гимном 1793 года. На самом деле огромную популярность ей создала поставленная незадолго до февральской революции пьеса «Канцлер Красного дома», написанная «маркизом де ла Найлетери», — так в то свое ройялистское время любил себя называть Александр Дюма, имевший на титул весьма сомнительные права.

Очевидец, Максим дю Кан, сражавшийся на стороне правительства, пишет: «Один наш унтер-офицер, человек очень сильный, внес на руках воина из подвижной гвардии. Окровавленная голова его откидывалась назад и качалась при каждом движении. На землю поспешно бросили матрац рядом с моим и положили на него бедного мальчика. Это был ребенок. Пуля пробила ему шею. Он умирал... Его спрашивали: «Чего ты хочешь? Не хочешь ли чего-нибудь?». Он сделал усилие и глухим неслышным голосом медленно сказал: «Я хотел бы выпить мадеры, я никогда ее не пил». У де Лабушера, который стоял около меня, как раз была в мешке фляжка с мадерой. Он поднес ее к губам мальчика. Тот отпил долгий глоток и сказал: «Это вкусно, спасибо!» На минуту он как будто оживился... Потом откинул голову, чтобы опереться на стену... Торговка вскрикнула: «Господи, он кончается!». Она опустилась на колени и стала читать молитву. Умирающий еще раза два дернулся, затем стал неподвижен, он был мертв».

Другой мальчик, пятнадцатилетний сын слесаря, Вар, так отличился в борьбе с повстанцами, что барон Ротшильд послал ему в подарок пистолеты. По-видимому, «классовое самосознание» было не очень развито у этих защитников капиталистического строя. Так же мало понимали в том, что происходило, и очень многие повстанцы. В июньских боях случай играл столь же большую роль, как в других событиях февральской революции и всех революций. Привела же она к воцарению Наполеона III. Он был во всех отношениях хуже

Людовика-Филиппа: при нем свободы во Франции было много меньше, чем в царствование последнего короля, и закончилась Вторая Империя такой военной катастрофой, какой при Бурбонах вообще никогда не было.

Утром 23 июня парижане, особенно те, что жили на окраинах города, еще ничего о восстании не знали. Только на следующий день в газетах появились о нем сведения. Статья «Constitutionnel» начиналась словами: «Странный бунт сегодня залил кровью Париж». Сообщалось, что главные бои идут около моста Сен-Мишель. Легче всего было преграждать баррикадами многочисленные узенькие улицы города. Однако, ожесточенный бой велся и на широкой площади Пантеона. Она была окружена большими, существующими и по сей день зданиями; вели же к ней со всех сторон узкие, часто кривые улицы. На них тотчас появились баррикады. Из мостовой вырывались камни. Опрокидывались омнибусы и телеги. Повстанцы захватывали соседние дома. Вооруженные силы правительства подходили к площади с разных сторон.

V

Du hast gehofft, dein Lohn ist abgetragen,
Dein Glaube war dein zugewognes Glück*).

Schiller

В последние три дня перед восстанием Виер больше не заходил к Роксолане. Было не до того, и ресторан стал для него слишком дорог. В среду 21-го июня он сосчитал деньги в кошельке. Оставалось пятнадцать франков. «Если в течение недели восстания не будет, то хоть иди воровать!»

Он с усмешкой вспомнил давний разговор с каким-

*) «Ты взял мечты — ты принял награжденье, — Ты веру взял — она твой клад». (Перевод Г. Данилевского).

то крайним революционером, озлобленным, циничным человеком (о нем говорили худо). Тот доказывал, что кража у богатого человека должна считаться бесспорным логическим выводом из их учения, — простым восстановлением социальной справедливости: «У него миллионы, да еще нажитые способами, нечестными даже с их точки зрения; но их так называемые служители закона старательно закрывают на это глаза. А я порядочный человек, я хочу работать, но мне работы не дают, и я голодаю. Поэтому я имею право у него отобрать деньги силой или тайком. Наши теоретики либо брезгливо отмалчиваются от такого вывода, либо прибегают к разным умственным выкрутасам — «нецелесообразно», «бесполезно» и т. д., — либо просто боятся попасть в тюрьму, да еще без героического ореола. Зато если отбирание чужой «собственности» происходит в массовом порядке, тогда это для них, разумеется, совершенно другое дело: тогда это революция. Что они понимают? Между коллективным революционным действием и личным по существу разницы не больше, чем, например, между красным вином и белым: кто любит красное, кто белое, когда нет одного, пьют другое». — Виер тогда слушал очень неодобрительно. Теперь это рассуждение казалось ему *логически* неопровержимым. Всё же он, невольно улыбаясь, представлял себе, как бы он пошел воровать или грабить. «Конечно, скорее умер бы с голоду!»

У него были знакомые, которые охотно ссудили бы его небольшой суммой, но он никогда ни у кого взаймы денег не брал. «А напоследок менять правила не стоит. Да и что теперь думать о безденежье, даже о голоде? Если дом горит в стужу, люди выскакивают на улицу не думая о простуде».

Почти весь день 22 июня он провел то на улицах, то в разных cabinets de lecture, где читал газеты. Выйдя под вечер, он встретил знакомого, — рабочего Пьера,

которого в свое время встречал у Бланки. Тот очень торопился, но остановился на минуту, крепко пожал ему руку и вполголоса сказал, что завтра начнется восстание. Виер ахнул.

— Завтра? Ты знаешь наверное? — спросил он. Там, где они встречались, людям полагалось быть на ты, как в братское, Робеспьеровское время. Но как те революционеры, что уцелели после Террора, понемногу смущенно вернулись к «вы», так и некоторые единомышленники Виера с неловкостью чувствовали, что и им пора бы это сделать: братство явно не выходило. Самому же Виеру оно не очень удавалось и вначале.

— Наверное. Наконец, дело решится. Мы готовы на всё. Многих завтра не досчитаемся. Но мы знаем, за что идем на смерть, — сказал Пьер, впрочем без жара. — Наши отцы не знали. К концу недели будет социалистический строй во Франции, а затем во всем мире. Или же мы с честью погибнем. Мы исполним свой долг.

— Нет, не только свой долг, Пьер! Слушай, я где-то читал, что в Австрии есть такой орден, кажется орден Марии-Терезии, самый высокий из всех орденов. Он дается только тем, кто докажет, что «выполнил больше, чем свой долг». Каждый из нас должен заслужить такой орден... Я, конечно, говорю фигурально.

Пьер недоверчиво на него посмотрел.

— Ордена, Мария-Терезия... Какие там ордена! Ты слишком для нас ученый. Мы говорим не фигурально, — холодно сказал он.

— Дело не в словах!.. Куда же мне явиться завтра?

— Не знаю. Завтра сам увидишь. Прощай, я спешу.

По-видимому, этот брат не знал и его имени. Он снова, менее крепко, пожал руку Виеру и пошел дальше. «Не верить. Никому не верить — плохой признак. А мы единомышленники, «соратники». И Бланки не верил никому, не очень верит, кажется, и в дело... Собст-

венно еще не поздно отказаться: просто завтра остаться дома. Тогда этот Пьер будет говорить, что я изменник, полицейский осведомитель. Это у нас делается просто, о самом Бланки так говорили. Нет, всё давно решено, передумывать поздно. В *идею* я твердо верю во всяком случае: надо уничтожить рабство, то рабство, в котором и я живу с девятью десятыми человечества».

Он в этот день почти ничего не ел и решил напоследок себя побаловать. Купил полбутылки вина, хлеба, котлету, немного сыра и даже пирожное, — давно себе всего этого не позволял; с улыбкой вспоминал как питался у Лейденов и в Верховне. Когда он возвращался домой, по улице шла толпа рабочих, нестройно певшая «Mourir pour la patrie». Лица у всех были мрачные. Пьяных не было.

В гостинице словоохотливая хозяйка (Виер давно ее интересовал) игривым тоном сказала, что к нему заходила дама:

— Записки не оставила, но велела передать вам, что умоляет вас зайти к ней возможно скорее. Имени не оставила. Очень красивая дама. Иностранка. У нее такой приятный голос. И чудные зеленые глаза!

Виер пожал плечами и поднялся к себе в комнату. Засветил «кенкет», — вспомнил каганцы с салом времен детства, — стал готовить себе ужин. Выпил вино до последней капли, разогрел кофе: сахара у него оставалось шесть кусков. «Как раз хватит на остаток жизни, — подумал он. — Как же идти на такое дело, когда мало веришь в успех? Еще никогда нигде не было настоящего социалистического строя, и попытки установить его неизменно кончались разгромом. Немного шансов, чтобы победили и мы. Если нас раздавят, то и мне пропадать. Скорее всего им тайно отдан приказ пленных не брать, кончать тут же. Людовик XIV не предписывал убивать гугенотов, он только объявил в декрете, что ошибаются люди, думающие, будто король запрещает

maltraiter еретиков. А если даже потом будет «суд», их суд, всё равно расстреляют или сошлют в Кайенну. Бежать не удастся и некуда: кто меня впустит, да еще без денег? Да, в идею я верю твердо, это главное. Может и идея хороша лишь пока не осуществлена? Да, мы обреченное поколение». Ему снова представился давний, длинный, скучный ход рассуждений: «Из наших костей что-то вырастет, кто-то явится, сделает то, что нам не удалось, и т. д. Из-за этого «и так далее» завтра десятки тысяч людей отдадут жизнь! И я отдам, так мало от нее взяв, так мало ее узнав, так мало даже увидев... Вот и луны больше не увижу, умру верно до наступления вечера... Но если завтра с утра пойдет дождь, то восстания не будет. Тогда останусь цел. Что ж, хочу ли я, чтобы пошел дождь?»

Он долго сидел у окна. Перестал думать о восстании, думал о Лиле и в сотый раз задавал себе вопрос, поступил ли он *правильно*. Всю жизнь в этом для него было главное; теперь впервые он подумал, что, быть может, этот вопрос сам по себе праздный или не столь важный. «Если б восстания не было, если б я остался жив, всё равно я с ней больше встретиться не могу: ни меня, вероятно, больше не впустят в Россию, ни ее из России не выпустят. Я по-настоящему любил ее и теперь люблю. Она забудет, как Зося. Но это кончено. И всё вообще кончено, это мысли т а к, впустую», — подумал он, всё неприятнее удивляясь, что у него настроение беспрестанно меняется, что у него *колебания,* — то, что, по его понятиям, всегда было непозволительно, недопустимо, постыдно.

Долго — впрочем больше по традиции: так полагается перед смертью — думал о всей прошлой жизни, о своих детских, отроческих годах, о хуторе матери, о школе. Вспоминал прошлое, как его вспоминают старики: с тоской, с любовью, с умилением. Всё теперь казалось ему прекрасным. *Почти* так же, как о Лиле

вспомнил о своей первой любви: прогулки в Государевом саду над Днепром, запах акаций в ее садике. «Когда в Киеве узнают, ее родители будут качать головами, вздыхать, говорить: «Он был всё-таки герой», — а думать: «Он был всё-таки болван». И они тоже были хорошие, добрые, по-старинному гостеприимные люди. В беседке угощали нас чаем из самовара, печеньем, сливками. Не было нигде такого печенья и сливок»... Прекрасной ему теперь казалась даже школа, дисциплиной которой он когда-то тяготился. Вспоминал первую дружбу. «Какой был милый, благородный мальчик Стась! Был? Вероятно, он и есть, но для меня всё — прошлое... Он гостил у нас, мы вместе ездили верхом, охотились. Были шалости. Нет, ни он, ни я почти не шалили. Вместе читали тайком недозволенные книги, обменивались планами, как жить... О том, для чего жить, спорить не приходилось: было ясно, что для освобождения Польши. Мы с ним *были* настоящие идеалисты, и не мы одни, и, конечно, не только поляки. Та русская молодежь в Киеве была тоже такая. Жаль, что это всё проходит с годами и очень быстро проходит. Перед выпуском мы со Стасем клялись не забывать друг друга, а через четыре года он был в Южной Америке инженером и больше не писал, и я даже не знаю, в каком он городе; куда только нас, поляков, ни заносила судьба. Может быть, он там разбогател, имеет какую-нибудь *гациенду* и наживает деньги. Женился? Тогда скорее не на польке... Лиля!» — опять с мучительным чувством вспомнил он и подумал, что поступил он с ней всё-таки и не совсем «правильно». — «А что как это на самом деле не кончено, хоть теперь кажется безнадежным? Ко времени Лили я успел состариться, если только не родился стариком. Предположим, — лишь на минуту предположим, — что я не приму участия в восстании. Тогда, со временем, вернуться в Киев, к себе, в те места, будет всё же возможно. Что скрывать, и

Волынь, и тот хутор, и даже Киев это «к себе», а Париж, как я ни люблю его, это чужое, он не мой. Да разве Лиля будет меня ждать годами! И что я там стал бы делать? Жить «человеческой жизнью», говорил Тятенька? Такой жизнью, которой тысячелетьями жило и живет громадное большинство людей. Тятенька — милый, хороший старик, в нем была необыкновенная, заразительная сила уютности, уютность ведь тоже сила... Почему же именно мне надо было жить иначе? Ведь именно эти мои колебания показывают, что я средний человек, а история с Лилей показывает, что и не слишком хороший. В этом моя беда: *был* обыкновенный человек и почему-то считал себя необыкновенным (незачем теперь и это от себя скрывать). Я считал себя человеком твердой воли и им не был. Есть люди типа «я хочу», а я человек типа «я хотел бы». И единственное мое качество в том, что я верил в идею, в великую идею эпохи. Верю и по сей день и за нее умру. Лейден говорил о разных «выходах». Мой выход самый достойный, всё равно, как смерть на войне, если война за правое дело. У многих ли это так? Завтра многие погибнут не ради убеждений, а просто потому, что надоела, стала бессмысленной жизнь, или потому, что жить не на что: т е ведь часто ставят людей в такое положение, когда ничего другого не остается. А вот этот недоумевает и сердится: он ведь сделал всех французов свободными людьми! — со злобой подумал Виер, взглянув на лежавшую перед ним «Историю жирондистов» Ламартина. — Надо бы кстати вернуть ее в библиотеку. Не успею. Впрочем, я оставил залог». — Он вздохнул и стал читать. Описание последнего ужина в Консьержери его взволновало.

Проснулся он в седьмом часу утра. Первым делом взглянул в окно. *Дождя не было.* «Ну, вот всё и в порядке... Нет, не боюсь! Сегодня? Пожалуйста, когда угодно!» — говорил он кому-то. Помылся с головы до

ног, надел чистое белье, свой лучший костюм. «Лилиной розы нет»... Он положил в карман то ее письмо. Подумал, что хозяйке заплачено до 25-го. «А если она будет держать для меня комнату дольше, то покроет убыток продажей моих вещей... Лейден в свое время старался приучить меня к аккуратности в денежных делах. И приучил. Он хороший человек, хотя не совсем нормальный, и ни для какого *дела* не нужный. Надеюсь, он на своих платанах нажил немало денег. Всё пойдет Лиле... Да, она, конечно, уже давно в Киеве и волнуется больше, чем я сейчас».

День был солнечный, чудесный, такой день, когда хочется забыть обо всех заботах, бросить дела, уехать за город. И опять Виер подумал, что еще не поздно. «Нет, не буду жить как все!»... Ни тревоги, ни волненья, ни даже простого оживления на улицах не было. Настроение было унылое — или так, по крайней мере, ему казалось. Он предполагал, что восстаниям всегда предшествует «нарастание грозного настроения». «Неужто могут быть будничные унылые восстания? Или просто революция уже надоела? Но ведь вначале она у всех вызывала такой же восторг, как у меня когда-то в Петербурге» (ему теперь казалось, что в Петербурге он был много лет тому назад). На террасах кофеен вяло разговаривали люди, — менее громко, чем в обычное время. В лавках велась вялая торговля. Он зашел в кофейню купить газету. Два старика у стойки говорили, что в городе начались беспорядки.

— Всё это делают иностранцы, особенно поляки, — сказал один. — Смехотворное правительство дало миллионы на Национальные мастерские, а там эти господа часть себе прикарманили, а часть раздали на устройство революции.

— Я слышал, что они приготовили отравленную водку для раздачи подвижной гвардии, — сказал дру-

лой. — Хоть бы водку не портили. Ну, что ж, сыграем партию в домино?

В газете тоже ничего особенно важного не было. Говорилось, что «атмосфера в Париже тревожная», но и это говорилось как будто вяло. Виер пошел дальше. Никаких признаков восстания всё не было. «Что такое? Неужто ничего не будет?» Не знал, что при восстаниях, даже очень серьезных, на расстоянии какого-либо километра или двух от места кровавых боев может идти самая обыкновенная будничная жизнь.

Внезапно откуда-то справа послышалась пальба. «Слава Богу, началось»! — подумал он, бледнея, и поспешно направился в ту сторону. Действительно там происходило что-то тревожное. Хозяева с озабоченными и серьезными лицами выходили из лавок. Некоторые запирали и опускали завесы. Бакалейщик втаскивал в комнату лежавшие на ларьках фрукты и овощи. В подворотнях шептались люди. — «Что такое случилось»? — спросил он в одной подворотне. Кто-то окинул его подозрительным взглядом. — «Не знаю. Беспорядки», — уклончиво ответил другой. В одной из кофеен лакеи, ругаясь, убирали стулья террасы, уносили их внутрь и ставили на столы. Клиенты поспешно расплачивались и уходили, оглядываясь по сторонам.

У забора перед афишей собралось человек пять. На большой желтой афише было напечатано: L'Oldridge's Balm fortifie les cheveux et les restaure. 4 fr. 50, 8 fr. et 15 fr. le flacon. Pharmacie, 26, place Vendôme». Но ниже, на плохо приклеенном белом листе бумаги, огромными, кривыми, точно трясущимися буквами написано было чернилами: «Aux armes, citoyens!» Подошел человек в мундире, выругался и сорвал белый листок. Остался только «L'Oldridge's Balm».

— Что, это правда, будто началось восстание? — робко спросил кто-то из собравшихся.

— Эти мезравцы захватили Пантеон, там их центр. Ничего, им свернут шею!

— Будем надеяться, но это еще как Бог даст, — сказал другой. — Национальная гвардия не очень надежна. У меня сын служит в девятом легионе, он говорит что настроение нехорошее.

— Это неправда! — резко сказал военный. — А кроме того, слава Богу, есть регулярная армия. И есть генерал Кавеньяк! Он им покажет!

«Это офицеры и лавочники, что ж по ним судить о настроениях Парижа?» — подумал Виер и направился дальше, соображая, как пройти к Пантеону. Пальба слышалась уже сильнее, с разных сторон. Улицы пустели. Слева показался отряд пехоты. Лица у солдат были мрачные. «В Пантеоне центр восстания? — спрашивал себя Виер. Он не очень представлял себе, что это значит. — Очевидно, там заседают *вожди?* Кто же они, если Бланки и другие арестованы? Но хорошая ли это мысль — устроить центр в огромном церковном здании? Те подвезут артиллерию и разгромят Пантеон. Впрочем, наши верно об этом подумали и знают что делают»...

Стоявшая у дверей убогого дома старая женщина посоветовала ему дальше не ходить.

— Там эти... Баррикады, — хмуро произнесла она необычное, не-житейское слово. — Я всё это когда-то видела!

— Да что же мне делать? Я живу около Пантеона.

— Не ходите туда! Уже есть раненые и убитые, много убитых! — негромко сказал пробегавший мимо них человек в соломенной шляпе. Он был бледен и растерян.

— Когда они только перестанут резать друг друга! — сердито сказала старуха.

Виер подумал, что со стороны реки будет легче подойти к Пантеону. «Старуха верно видела и взятие Ба-

стилии, и гильотину на Площади Согласия. Насмотрелась! У нее хорошее, жалкое лицо. Жалко ее, всех жалко. За них и погибаем»... Он сделал большой крюк и опять попал в кварталы, где ничего тревожного не происходило. Минут через пятнадцать он вышел к реке и увидел боковой фасад Notre Dame. Почему-то остановился и долго смотрел на это здание, всегда казавшееся ему самым прекрасным в мире. «Оно *всё-таки* переживет всё... Вот и начинается смыкаться мой круг. Спустится навсегда черный занавес. Но, может быть, *там* за занавесом начнется настоящая жизнь? Ах, если б это было правдой!» — думал он. Мимо него на рысях прошел отряд кавалерии. «Пора!»...

На перекрестках стояли дозоры. Его остановили люди с кокардами и строго сказали, что дальше идти нельзя. Сейчас начнутся бои.

— Да что же мне делать? Я живу у Политехнической школы.

Они окинули его взглядом и, по-видимому, по одежде признали *своим*.

— Ну, что ж, попробуйте. Может, еще успеете пройти, — сказал один из них.

«Уж скорее у этих есть подъем. Подъем, чтобы защищать свои луидоры», — подумал он и пошел быстрее. Минут через десять он оказался в *своем* лагере. На rue de la Montagne Ste Geneviève была воздвигнута *баррикада*, первая баррикада, которую он увидел. «Так вот они какие! Я и их представлял себе иными... Верно, другие крепче, эту снести очень легко, она и невысока. Да где же *повстанцы?»* Люди очевидно, бывшие повстанцами, закусывали в подворотнях, сидели и стояли неподалеку на террасе небольшой кофейни. «Самые обыкновенные блузники... Да какими же им и быть? Не носить же им гусарские мундиры!» Один вертел в воздухе дубинкой и что-то говорил, невесело смеясь. «Если б сейчас прискакали те кавалеристы, то

захватили бы баррикаду без выстрела!» Занять место на пустой баррикаде ему было неловко. — «Да и как же это занять место? Лечь, что ли, на камни? И прежде всего, конечно, надо достать ружье»...

Блузники сообщили ему, что ружья раздают в Пантеоне.

— Время еще есть, — сказал один из них, точно отвечая на его молчаливый упрек. — Они ждут ту сволочь, подвижную гвардию. Когда начнется огонь, мы займем места.

— Да, лишь бы вы не опоздали! — хмуро ответил Виер. Ему становилось всё более ясно, что восстание обречено на гибель и что эту обреченность понимают все его участники. И тем не менее он чувствовал, что драться они будут храбро. «Без энтузиазма будут делать то, что делали бы с энтузиазмом. Именно потому, что нам нечего терять. — Он почувствовал, что говорит неправду. — Как же нечего! Жизнь, жизнь, вот это солнце, эти деревья, этот воздух!»

Его внимание обратил на себя дом против баррикады. Дому было наверное лет триста. Над невысокой porte cochère, уходившей в длинный, извилистый, необыкновенно мрачный двор, было маленькое жилое помещение с окном тоже довольно необычного вида. С подоконника растворенного окна испуганно смотрела на баррикаду девочка лет десяти. «Вот она, быть может, на всю жизнь сохранит в памяти мое лицо, если я тут погибну».

Он вспомнил рассказ Ламартина о том, как вождя жирондистов Верньо перед казнью навестил в тюрьме его родственник с маленьким сыном. Увидев бледного измученного человека в лохмотьях, с отросшей бородой, плакал. «Mon enfant, lui dit le prisonier en le prenant dans ses bras, rassure-toi et regarde-moi bien; quand tu seras homme, tu diras que tu as vu Vergniaud, le fondateur de la république, dans le plus beau temps et dans le plus glorieux costume de sa vie: celui où il souffrait la persécu-

tion des scélérats et où il se preparait à mourir pour les hommes libres».

«Может быть, Ламартин и приукрасил всё это со слов племянника. А может быть, и правда, — подумал Виер. — Но зачем же мне вспоминать то, что кто-то когда-то сказал, если мне самому осталось жить не больше, чем тогда оставалось Верньо. Лейден говорил мне, что мы оба с ним книжные люди, и приписывал это своему влиянию на меня! Хорошо влияние! Уж он-то на баррикадах не погибнет. У него платаны и полоумные книги... Но отчего же я теперь, в высший день моей жизни, не чувствую восторга? Верно на войне не так? Неужели потому, что там строй, мундиры, музыка, что там нет ненависти к врагу? А здесь всё так просто, так просто, так не картинно. Разве этого я ждал? Я ведь всю жизнь мечтал о баррикадах! Что ж поделаешь, жил безвестно, погибну безвестно, как солдаты убитые под Вальми. Лишь человеческое лицемерие говорит, будто память о них никогда не умрет. Никто, никто не знает их даже по имени. И ничего в этом нет ни страшного, ни удивительного. Потом будет какой-нибудь другой Oldridge‘s Balm, всё же мы секунда в непонятной истории человечества. Да, да, смотри! — мысленно сказал он, встретившись глазами с девочкой. — Смотри, — перед тобой безвестный солдат революции, — «мятежников убито столько-то» — впрочем даже и этого не будет сказано в их победном бюллетене. Перед тобой не Верньо, а символ. Как символ, меня навсегда и запомни!»

Пальба все усиливалась. На площади перед Пантеоном стояли кучки людей. Какой-то человек объяснял, что главное это удержать за собой Юридическую школу: «Если они ее возьмут, то расстреляют нас из окон в пять минут». Виер, нервно зевая, посмотрел на окна: на тех, что были ближе к Пантеону ставни были затворены, на других ставней не было. «Нам первым делом надо устроить наблюдательный пункт. Где? На

купол Пантеона не подняться, да там и стоять негде», — подумал он и поморщился. У него на высоте кружилась голова.

Огромный, странно светлый, зал Пантеона уже был переполнен. Было шумно, но и тут особенного подъема не замечалось. Мужчины с ружьями, пиками, саблями ходили по залу, сидели на ступеньках или лежали вокруг колонн на мраморном, в косых квадратиках, полу. В ту пору в Пантеоне было еще очень мало статуй, картин, фресок: но почти у всех мужских фигур тоже были в руках мечи. «Вот, вот, и здесь меч, всё в мире решается мечом, тут католики сходятся с социалистами. А я и социалист, и всё-таки католик. И мы правы».

Ему сказали, что оружие можно получить в подземелье. Темно-зеленая тяжелая дверь была отворена настежь. На него пахнуло затхлой сыростью. Он спустился с толпой других людей. В конце полутемного подземелья раздавались ружья. Кто-то старательно-восторженно сказал, что на этом месте был похоронен Марат. Виер поморщился. «Жаль. Наше дело чистое, зачем пачкать его симпатией к злодеям?» При свете фонаря он осмотрел свое ружье. «Старье, но стрелять можно».

Никаких вождей и в Пантеоне не было, хотя более энергичные люди уже пытались взять в свои руки дело обороны. «А то попробовать мне? — подумал он и почувствовал, что теперь и слава ему больше не нужна, почти не нужна. — Да и кто там разберет? Ну, что ж, другие умрут от рака или чахотки»... С радостью видел, что ничего не боится, ни о чем не жалеет.

— Следовало бы подняться на крышу и устроить там наблюдательный пункт. С крыши легко будет обстреливать атакующую колонну, — сказал он одному из более энергичных людей. Тот, услышав военные выражения, остановился.

— Прекрасная мысль, гражданин, — сказал он. — Возьми кого-нибудь с собой и поднимись.

Пальба загремела уже очень близко. Лежавшие и сидевшие на ступеньках люди стали быстро подниматься. Лица стали еще бледнее.

Подавляя зевки, он простоял на крыше несколько часов. Часто подходил к краю, чтобы преодолеть волей головокружение. Около здания Юридической школы начались бои. Свои и враги так тесно смешались, что стрелять было невозможно. Иногда на крышу поднимались рабочие, с некоторым недоумением на него смотрели и спускались. Делать здесь в самом деле было нечего. На людях было легче. К тому же начался дождь, впрочем продолжавшийся не долго. Вдали видна была быстро проезжавшая правительственная артиллерия. «У нас никаких пушек нет. Значит, ясно, что они нас сейчас же и разнесут. Пантеон и первого артиллерийского залпа не выдержит. Всё равно, как умереть, но уж всё-таки защищаться лучше внизу. И притом какой же наблюдательный пункт, если мне некому давать сведения!.. Пришел, пришел конец... Лиля думает ли сейчас обо мне? Бедная, бедная Лиля! Я люблю ее».

Он спустился вниз, доложил кому-то о том, что видел, но слушали его плохо, и ему самому ясно было, что всё равно ничего сделать нельзя. «Может быть, в теории с крыши было бы легче обстреливать врага, а на практике в уличном бою совершенно то же самое!» Он вышел на площадь, обогнул баррикаду на rue de la Montagne Ste Geneviève. Почему-то хотел еще раз взглянуть на тот дом. «Лишь бы не убили пулей в спину, в этой унылой, жуткой, выдохшейся за четыре месяца революции!»

Его последнему желанию не суждено было исполниться. До баррикады он не дошел. Спереди, со стороны Сены, вдруг послышался грохот. Правительственная артиллерия открыла огонь. Снаряд ударил по баррикаде, камни понеслись вверх и в стороны, поднялся столб пыли, на мгновенье прорезал гул чей-то отчаянный

крик. Грохот нарастал всё страшнее — и оборвался. Тотчас загремели барабаны, и лишь в эту минуту Виер впервые почувствовал тот *подъем*, которого не находил целый день. Теперь было *настоящее*, то о чем он мечтал мальчиком, — очевидно ожидалась *атака*. Он побежал вперед, почти судорожно сжимая ружье. Издали послышался конский топот, тоже всё нараставший, смешивавшийся с барабанным гулом. Вдруг впереди, не очень далеко, Виер увидел несущуюся на них, на него, кавалерийскую часть. Люди, пригнувшись к головам лошадей, мчались с саблями наголо, с искаженными лицами. Они что-то орали, но их слов он не слышал: всё заглушал барабанный гул, ставший почти нестерпимым. Он тоже хотел прокричать: «Vive!» или «A bas!..», прокричал что-то совершенно бессмысленное и, остановившись, приложил ружье к плечу. «Сейчас! Сейчас конец!» — подумал Виер. Но выстрелить он не успел. С баррикады повстанцы открыли беглую беспорядочную стрельбу. Пуля — *своя* — ударила его сзади. Он выронил ружье и повалился на мостовую. Через несколько секунд он был растоптан мчавшимися лошадьми.

Полуразрушенная артиллерией баррикада была «взята», т. е. мимо нее и над ней с диким, бешеным, бессмысленным криком пронесся кавалерийский эскадрон, рубя и растаптывая людей. Но еще долго продолжался кровопролитный бой. Обе стороны дрались храбро. Юридическая школа переходила из рук в руки. Артиллерия громила Пантеон. Затем пехота взяла его штурмом.

Тела убитых увозились на подводах. Часть трупов почему-то сложили в одной из зал Тюильрийского дворца. Там когда-то происходили балы. Где-то поблизости от этой залы заседал, в пору революции, Комитет Общественного Спасения, где-то лежал на столе перед казнью раненый Робеспьер. Изломанное обезображенное тело Виера положили на пол.

Роксолана долго его искала. Бои еще не везде кончились, ходить по улицам было опасно, тем не менее она по несколько раз в день приходила в гостиницу и в слезах о нем спрашивала. Хозяйка, сочувственно вздыхая, отвечала ей, что он не возвращался. — «Такой милый человек», — говорила она, — « и такой красивый!»

По собственному желанию, Роксолана заплатила оставшийся за ним крошечный долг за три дня. Хозяйка не хотела брать, не сразу согласилась, посчитала еще меньше, чем следовало, и просила зайти за его вещами. Посоветовала поискать его в больницах. Роксолана побывала почти везде; замирая от ужаса и отвращения, заходила в мертвецкие. Ей не пришло в голову искать тело в королевском дворце. Она долго и горько плакала. Так и не поняла, что он был за человек, почему он погиб и зачем всё это делают люди?

VI

> Le dur faucheur, avec sa large lame, avance
> Pensif et pas à pas vers le reste du blé.
>
> Hugo

Бальзак на этот раз прожил в Верховне полтора года. Во Франции революция всё еще не кончилась или, по крайней мере, будущее страны было очень темно. Денежные же его дела никак не стали лучше. Кроме того, он по-прежнему надеялся добиться окончательного ответа: выйдет ли Ганская за него замуж или нет? И, главное, ему теперь было почти всё равно, где жить.

В его отношениях с Ганской с внешней стороны как будто ничего нового не призошло. Она с ним была чрезвычайно мила — и ответа не давала. Он тоже был чрезвычайно мил, необычайно ею восторгался, неправдоподобно хвалил ее в письмах. Но теперь он, как бывает с близкими к смерти людьми, стал еще проницательнее.

Видел ее насквозь. Быть может, и других, и себя обманывал уже больше по привычке, с легкой скрытой усмешкой: «Ну что ж, вы верите? Тем лучше». Его могло забавлять, что Ганская по-прежнему старается быть небесным видением. Оба они привыкли к своим ролям, как артисты после пятисотого представления пьесы.

Ему было легче с ее дочерью и с зятем. Они были молоды, были хорошие, милые, веселые люди; тогда были еще очень счастливы (впоследствии граф Мнишек сошел с ума, а жена его умерла в одиночестве и бедности). Правда, чужое счастье начинало раздражать Бальзака. Ничего дурного в чужом счастьи, конечно, не было, но ему надоело, что людям так хорошо, что они так всем и особенно друг другом довольны и так наслаждаются жизнью.

Понимал он и то, что его связь с Ганской, компрометировавшая их семью, не может быть приятна Мнишекам. Об этом было тяжело с ними говорить, нелегко и странно молчать. Но они были тактичны, по-старинному почтительны с матерью, а кроме того искренно его полюбили. Относились к нему с родственной лаской, — не как к «отцу», но как к дяде или деду. Он тоже был с ними очень ласков. При всем своем себялюбии, при своем беспредельном эгоизме, Бальзак был в жизни скорее добр. Он был и благожелательный человек, — то есть желал зла лишь немногим людям. В Верховне он называл себя «старцем семьи». Это было приувеличением. Ему шел пятидесятый год. Он уверял других, что Ганская много его моложе, и сам делал вид, будто этому верит. В Верховне все с радостью это и приняли. На самом деле ей было сорок девять лет. Правда, он был очень болен, но и она тяжко страдала от подагры и от други болезней.

Бальзак болел уже давно. В его письмах беспрестанно говорится о разных физических страданиях: голова тяжела, «как купол святого Петра», сердце стучит как бешеное, одышка, боли печени, офтальмия,

черная точка в глазах. Лечили его и в Париже странно, по крайней мере по нынешним, также не вечным понятиям: предписывали то «ставить сто пьявок», то «пить по четыре квинты воды», то «сидеть каждый день в горячей ванне три часа». Он вообще любил лечиться, а в Верховне леченье для него, как и для Ганской, стало развлеченьем в однообразной деревенской жизни. В верховенском докторе Кноте французские биографы Бальзака видят прообраз гениального и загадочного польско-еврейского врача Моисея Гальперсона из «L'Intié». Для такого предположения нет никаких оснований. Кноте не был евреем, не был, вероятно, по крови и поляком, ничего загадочного в нем не было, как не было у него и никакого гения. Гениальным его объявил Бальзак, оттого ли что изредка после его лечения чувствовал себя лучше, или чтоб сделать удовольствие хозяевам, а вернее всего, просто по случайной игре воображения. Кноте был захудалый провинциальный врач со своеобразными медицинскими идеями. Он лечил Ганскую от подагры, заставляя ее опускать ноги во внутренности только что зарезанного поросенка. У Бальзака он нашел «гипертофию», — это было подходящее слово для определения не столько его болезни, сколько всего его существа. Лечил доктор травами и порошками. Травы были, по его словам, китайские, турецкие, какие-то еще. Порошков надо было для полного выздоровления принять в общей сложности сто шестьдесят. Настойку же из восточных трав он велел глотать по четыре раза в четные дни. Кроме гипертрофии, Кноте нашел у больного «цефалальгическую интермиттенцию». По-видимому, у Бальзака, как у большинства старых людей, было несколько болезней, осложнявших и маскировавших одна другую.

На письменном столе после его приезда опять появились перья, карандаши, стопка бумаги с надписью Yezerna. Однако работа не очень пошла, хотя он снова стал пить свое прежнее кофе; теперь глотал чуть не

кипяток, чем приводил в изумление приставленного к нему слугу, который очень его любил и ценил за вежливость. Объясняться им было трудно: Бальзак по-польски знал только слово «проше». Большую часть дня он проводил у себя за письменным столом. Писал немало писем, — теперь родным писал правдивее, чем прежде, кое-что говорил начистоту. Обдумывал план книг, но в душе как будто не верил, что их напишет. Думал о своей литературной судьбе. По его мнительности, ему казалось, что мода на него прошла или проходит.

Своей будущей мировой славы он, быть может, всё-таки не предвидел. На французском языке были романы тоньше, лучше, совершеннее книг Бальзака. Но ни Стендаль, ни Констан, ни Флобер не имели его мощи и размаха, не оказали на литературу такого влияния, как он. Теперь есть словари, относящиеся к его произведениям, есть специальные исследования, которые верно очень удивили бы его самого. В Англии глубокомысленные комментаторы Свинборна ломали себе головы над тем, что означает его строчка «The splendor of a spirit without blame», — пока сам поэт не объяснил, что он имел в виду коньяк. До столь почтительного внимания комментаторов Бальзак не дожил: его ругали в течение всей его жизни, а ничего не понимавшие люди над ним и издевались. Это было даже не изнанкой славы: это было просто ее составной частью. Смеялись и над его литературными приемами, над тем, что он пишет не по правилам, пишет слишком подробно о всяких мелочах, пишет с вечными отступлениями, с бесконечными описаниями городов, домов, вещей. Он действительно не обладал драгоценным уменьем вычеркивать; но из-за этого художественного недостатка его книги стали энциклопедией французской жизни.

Теперь он, по-видимому, почувствовал, что главное уже сделал, и интерес к тому, что он еще мог бы создать, у него ослабел. Впрочем иногда кое-что писал, но

больше по привычке, не слишком стараясь, — как Микеланджело зимой в горах лепил статуи из снега.

В Верховне можно было не очень думать о грозных событиях в мире. В далекую от Петербурга деревню новости приходили менее страшными, — всё смягчалось временем и особенно расстоянием. Он вдобавок газетам никогда не верил и даже не мог к ним относиться серьезно. Журналистов изображал не иначе, как вралями. Один его герой утверждает, что первым газетным лгуном был Веньямин Франклин, который, «вместе с громоотводом и республикой», изобрел газетную утку и сам этим похвалялся. О политической карьере Бальзак больше не думал. Быть может, отложил ее по недостатку времени и вследствие всё усиливавшейся конкуренции. Так Гитлер говорил в 1937 году, что откладывает писание романов, ибо не уверен, что в этой области сравнится с величайшими из великих.

К Ганской по-прежнему приезжали гости. Шла веселая, гостеприимная, со стороны как будто беззаботная, помещичья жизнь. Бальзак помнил свои обязанности. Одевался, выходил в гостиную, быть может, еще иногда и блистал, больше по привычке. Его блеск впрочем в Верховне принимался и на веру. Гостей кормили, поили, развлекали. При усадьбе или в деревне был скрипач Моисей. Верно он играл хорошо: иногда трогал Бальзака до слез.

Через некоторое время он стал чувствовать себя совсем худо. Удушье, головные боли почти не прекращались; странная черная точка в глазах вызывала у него ужас: что, если ослепнет! Гениальный доктор твердо обещал выздоровление: настойка в четные дни и сто шестьдесят порошков должны были сделать свое спасительное дело. Но сын Кноте, тоже врач, хотя менее гениальный, чем отец, склонялся к мысли, что Бальзак болен безнадежно.

Сам он всё же кое-как бодрился, говорил, что всё пройдет, что революция во Франции скоро кончится, и

на писателей, в частности на него, польется золотой дождь. Заботился о гнездышке на улице Фортюнэ, посылал матери в Париж указания, мечтал о том, чтобы привезти из Верховни головку Греза, принадлежавшую когда-то королю Станиславу, картины Каналетто, принадлежавшие папе Клименту XIII. Собирался, если женится на Ганской, принимать у себя весь Париж. Но иногда приходил в ужас от бедности и запрашивал сестру, нельзя ли ему будет сговориться с ее кухаркой, чтобы она за два франка приходила к нему каждый понедельник и готовила говядину сразу на целую неделю. Советовал сестре соблюдать крайнюю бережливость и перебраться куда-нибудь на Etoile, где можно получить квартиру за бесценок.

По делам и для развлечения хозяева поехали с ним на Контракты. Как полагалось, сняли в Киеве дом, привезли свою мебель, утварь, постельное белье. Потащили его к кому-то на большой прием. Киевский бал поразил своим великолепием этого парижанина. — «Вы не знаете, — писал он сестре, — что такое дамские туалеты в России; это выше, гораздо выше всего того, что можно увидеть в Париже». Сообщал, что для мазурки разрезали платок, стоивший больше пятисот франков.

В Киеве он заболел, пролежал три недели и вернулся в деревню совершенно разбитый. Теперь больше и сам не знал, хочет ли жениться на Ганской. Смотрел уже на это с какой-то почти спортивной точки зрения: столько лет добивался, — стыдно было бы не добиться. «Неуспех убил бы меня морально», — писал он. Но иногда сообщал родным, что, должно быть, вернется в Париж один, продаст дом, отдаст Ганской ее долю, а сам, как в молодости, будет жить в меблированной комнате.

Давно ли, в какой злосчастный день, пришла ему в первый раз мысль о том, что незачем беспокоиться о переездах, — он умирает. Бальзак так часто изображал

смерть, так часто перевоплощался в умирающих, — теперь было не то, совсем не то.

Вероятно, младший Кноте сказал Ганской, в каком положении больной. Да это с каждым днем становилось всё яснее каждому, кто его видел. Если она больше и не любила Бальзака, то во всяком случае очень к нему привыкла; привыкла и к лестной мысли, что в нее страстно влюблен знаменитейший из всех романистов. Нет причины относиться к ней с той ненавистью, с тем презрением, с какими к ней относятся некоторые французские его поклонники. Она была не злая и не глупая, скорее даже добрая и умная женщина. Ничего по-настоящему недостойного ей в вину поставить нельзя. Она любила его довольно долго, — хотя, вероятно, с каждым годом всё меньше. Госпожа Шатобриан говорила, что за всю свою жизнь не прочла ни единой строчки, написанной ее мужем. Ганская не только читала Бальзака, но очень заботилась об его успехе и славе.

Конечно, она могла бы заплатить его долги и дать ему возможность жить и работать спокойно. Но не все люди жертвуют имуществом даже для самых близких, для детей, — а он был любовник, и связь с ним надо было скрывать, хотя все о ней знали. Не очень удобно было тратиться на него и в отношении законной наследницы, дочери. Кроме того Ганская, как почти все богатые люди, была напугана февральской революцией. Приблизительно в это время будущий герцог Морни говорил, что, если во Франции восторжествует социализм, то вся надежда будет на русскую армию, — «он предпочитает социалистам казаков». Ганская смертельно боялась разорения. Часть долгов Бальзака она всё же заплатила. Да ей и не так просто было достать сразу большую сумму. У нее было триста слуг, но денег в доме иногда не было совершенно. Вдобавок, Ганская имела все основания думать, что при своем характере, он тотчас снова начнет делать долги. Между тем у нее в

Верховне он и без брака мог жить спокойно, ничего не тратя, не очень опасаясь парижских кредиторов.

Она могла бы стать его женой вскоре после смерти своего первого мужа и не отравлять Бальзаку жизнь обещаниями: да, но не сейчас, позднее, подождем, куда же спешить? Действительно, если б у него не было долгов и был хоть какой-нибудь захудалый титул, она охотно вышла бы за него замуж. В торговой генуэзской республике дворянство считалось худым сословием, и знатный дворянин только за особые заслуги мог быть повышен в ранг купца. Но Ганская жила не в Генуе. Выйти замуж за иностранного литератора с фальшивой дворянской частицей ей не хотелось. «Страстная любовь» была возможна и без брака.

Она приводила всё те же, и сходные новые, доводы в пользу того, чтобы отложить дело: долги его еще не заплачены, его заработки очень упали, ее дела стали хуже, в имениях было четыре пожара, русская подданная, выходя замуж за иностранца, теряет право владения землей и крепостными. Он слушал хмуро.

Но когда Ганская увидела, что дни Бальзака подходят к концу, в ней заговорила совесть. Враги, объяснявшие худшими побуждениями все ее поступки, находили, что ей стать вдовой знаменитого писателя было много выгодней, чем быть его женой. Это клевета. Она видимо была чрезвычайно расстроена. Своим родным, очень неодобрительно относившимся к этому браку, искренно и с достоинством отвечала, что его тяжелая болезнь положила конец ее сомненьям: теперь она обязана выйти за него замуж, — он умирает. И в начале 1850 года было решено обвенчаться.

Надо было предварительно опять съездить в Киев. Опять был снят дом, опять из Верховни пошли подводы с мебелью и утварью, опять он в Киеве заболел и опять пролежал там три недели. Здоровый, прекрасный климат Украины стал казаться ему чудовищным: он говорил с ужасом о какой-то «молдавской лихорадке», ко-

торую заносит с берегов Дуная. Теперь мечтал только о Париже. Кажется, уже меньше восторгался гением доктора Кноте и больше возлагал надежд на французских врачей.

Есть у него не очень известная повесть «Honorine». Ее высоко ставил Лев Толстой, не слишком почитавший Бальзака (Тургенев вообще отрицал его талант, Достоевский же перед ним преклонялся). В этой повести Бальзак пишет: «Француз засыхает за границей, как пересаженное дерево. Эмиграция у французского народа — бессмыслица. Многие французы сознаются, что при возвращении на родину смотрят с удовольствием даже на своих таможенных чиновников; это может показаться самой отчаянной гиперболой патриотизма». Ему случалось ругать Францию, случалось выражать намерение перейти в русское подданство, — всё это было вздором: он Францию обожал. Теперь, вероятно, особенно торопился потому, что хотел умереть на родине.

Свадьба состоялась 14 марта в Бердичеве. Первоначально был намечен Житомир, но его признали чрезмерно светским городом, — там было много знакомых, — и житомирский епископ как будто не очень хотел их венчать: давняя связь жениха и невесты слишком нашумела. Выбрали маленькую бердичевскую церковь святой Варвары и венчанье назначили в самое необычное время, в семь часов утра, очевидно чтобы обойтись без гостей. Прямо из церкви они вернулись и Верховню.

В письмах к матери и сестре он изображал восторг: и жена, и ее дочь «на верху блаженства», это «прежде всего» брак по любви, Ева — «бриллиант Польши, драгоценность древней, знаменитой семьи Ржевусских». Правда, у нее подагра, у нее распухли руки и ноги, так что она не может ни писать, ни ходить, но «это еще можно вылечить», в Париже это пройдет, там можно будет faire de l'exercice, а на Украине это невозможно в течение шести месяцев в году (очевидно, из-за лютой стужи). В том, что она перевела состояние на имя до-

чери, видел «геройскую решимость» и даже какую-то «sublimité maternelle».

В одиннадцатом часу вечера они легли спать больные и измученные. То, о чем он мечтал столько лет, осуществилось. И он возненавидел Ганскую.

VII

Blest be the art that can immortalize.

William Cowper

Особняк на улице Фортюне был, наконец, отделан. За три дня до свадьбы Бальзак послал из Бердичева своей матери последние инструкции: надо к их приезду разукрасить дом цветами, перечислял комнаты и жардиньерки, требовал, чтобы цветы были «очень, очень хороши». Очень, очень хорош был и весь особняк, стоивший огромных денег. Теперь всё было готово.

Теофиль Готье говорит: «Есть турецкая поговорка: «Когда дом достроен, приходит смерть».

Из Верховни новобрачные выехали во второй половине апреля. Дороги были плохие, — грязь, лужи, ухабы. Со свойственной больным людям склонностью к преувеличениям, Бальзак из Дрездена написал сестре: «Не один раз, а сто раз в день была в опасности наша жизнь!» Из Дрездена же он послал матери указания относительно этикета встречи: в момент их приезда мать не должна находиться в особняке; они к ней приедут с визитом на третий день; не должна встречать их и сестра; на столе должен быть обед; встретит их прислуга, и т. д. Трудно понять, как умирающий человек — и столь замечательный — мог думать о подобном вздоре. Этот ревностный обличитель «буржуазии» был в жизни самый подлинный буржуа.

В Дрездене он еще купил что-то очень дорогое, — если впрочем не хвастал в письмах к постронним лю-

дям. Редактору газеты «Constitutionnel» сообщил, что купил или покупает за 25-30 тысяч франков старинный туалетный прибор, «в тысячу раз красивее прибора герцогини Беррийской», а жена его будто бы приобрела жемчужное ожерелье, «такое, что сошла бы с ума святая». Эта черта выскочки, неприятная ему в других, тоже у него оставалась до конца жизни: всё, что принадлежало ему, было изумительно и бесподобно.

Они приехали в Париж поздно вечером 27 мая. Мать и сестра с точностью исполнили все его предписания. Но вышла большая неприятность. Дом на улице Фортюне был ярко освещен. Никто не отворил на повторные звонки, на стук, — трудно было понять, в чем дело. Этикет был грубо нарушен. Пришлось послать за слесарем и взломать замок. Оказалось, что лакей Бальзака внезапно сошел с ума, многое побил в доме, затем забаррикадировался. «Зловещее предзнаменование», — говорит биограф. По-видимому, с женой Бальзака случилось что-то вроде истерического припадка. Они разошлись по своим комнатам.

Письма Ганской к Бальзаку были им уничтожены. Его письма к ней она несколько исправила и дополнила, — по словам немногочисленных исследователей, которых допускают в архив, завещанный Французской Академии виконтом Левенжулем. Этот бельгийский поклонник Бальзака посвятил ему большую часть жизни, потратил много денег на составление Бальзаковского архива. Он знал о своем герое всё. По-видимому, знал кое-что и об его жизни после брака, но ничего не хотел сказать ясно и ограничился кратким указанием: брак оказался неудачным. Французский академик, имевший доступ к архиву, тоже неясно ссылается на слово, будто бы сказанное Бальзаком о жене: «Она убивает меня понемногу» (Elle m‘assassine en détail).

Вначале всё шло как будто сносно, — по крайней мере с внешней стороны. Бальзак еще изредка выходил, иногда принимал друзей. Говорить ему было тя-

жело, слушать молча здоровых людей еще тяжелее. Порою он впрочем оживлялся и старался говорить увлекательно. Но и блеск его речи теперь мало походил на прежний. Слушать его было тяжело. Обычно разговор поддерживала госпожа Бальзак. Он уверял, что какой-то волшебник предсказал ему: в пятьдесят лет его постигнет очень тяжелая болезнь, всё же он выздоровеет и проживет до восьмидесяти. Друзья, вероятно, вели разговор в веселом тоне, но ни у кого из них не было сомнений: дни Бальзака сочтены.

Разумеется, его родные скоро поссорились с женой. Они не могли не замечать, что он их стыдится; они были бедны, к аристократии не принадлежали и, в отличие от него, на это не претендовали. На самом деле ему стыдиться никак не приходилось. В своих письмах к Ганской он когда-то дал ужасный отзыв о своей матери; между тем она, по-видимому, была хорошая, достойная, хотя ничем не замечательная, женщина. Большой симпатии к жене сына у нее не было и не могло быть. Сестра же Бальзака, в своих воспоминаниях о брате, об его вдове не говорит, но вскользь, сдержанно и как бы подчеркнуто-уклончиво замечает: «Быть может, настанет время, когда я закончу рассказ о последних днях моего брата»; и неясно обещает, что его письма подтвердят перемену, произведенную в нем «столь дорого купленным опытом».

О том, что происходило между мужем и женой, в точности ничего не известно. Ревновал ли он ее к кому-либо? Еще в письмах Бальзака из деревни есть как будто намеки, — он опасался появления соперника. Скорее это была у него тогда чистая теория: как же у нее, при двадцати тысячах десятин земли, не было бы других поклонников? «Ее руки домогались беспрестанно самые знаменитые и высокопоставленные люди», — сочинял он в одном из писем к сестре. Но тогда она была свободна и богата. Теперь она была его жена, и большая часть ее богатства отошла к дочери. А главное, как бы он те-

перь к ней ни относился, едва ли мог думать, что она при умирающем муже заведет себе любовника.

Им стало очень скучно друг с другом. Странным образом оказалось, что светская жизнь была в Верховне, — там в доме почти всегда бывали люди. В Париже у них под конец почти никогда никого не было. О французской королеве Марии Лещинской, с которой Ганская будто бы была в родстве, министр д'Аржансон сказал: «Людовик XV прижил с ней десять детей, но за всю жизнь не обменялся с ней ни единым словом». Бальзак никак не походил на Людовика XV; однако еще более странным образом оказалось, что разговаривать ему с женой больше незачем.

Через полвека после того Октав Мирбо поместил в одной из своих книг длиннейшие «разоблачения», вызвавшие много шума во Франции. Это был рассказ довольно известного в свое время художника Жигу. Он сообщил Мирбо, что еще при жизни Бальзака был любовником его жены и провел с ней в доме на улице Фортюнэ ту ночь, когда Бальзак умер. Подробностей рассказал множество, одна была отвратительнее другой. Сиделка стучала в дверь и кричала: «Мадам, мадам, идите: мосье умирает». Госпожа Бальзак хотела было одеться и побежать к мужу, он, Жигу, ее удержал; минут через десять сиделка снова прибежала с криком: «Мосье скончался!»

Вдовы Бальзака уже тогда не было в живых, но графиня Мнишек еще жила и с негодованием протестовала против клеветы. Кое-кто говорил, что Мирбо просто всё выдумал; ничего такого Жигу ему не рассказывал. Позднее выяснилось, что этот рассказ слышали от художника и другие. В настоящее время часть французских «бальзакистов» верит этому рассказу, другая часть не верит. Вдова Бальзака года через два после его кончины стала «гражданской женой» Жигу, — как Аспазия после смерти Перикла вышла замуж за скотово-

да. Вечной верностью умершему мужу Ганская никак не была обязана. Но когда она писала, что в 1850 году «забыла людей и мир в своем невыносимом горе», это было, конечно, чрезвычайно сильное преувеличение.

Рассказ Жигу так циничен и грязен, что поверить ему трудно; разумеется, и не заслуживает доверия человек, который так говорил об умершей женщине, бывшей много лет его собственной женой. Едва ли госпожа Бальзак изменяла мужу в его последние дни, и, не будучи извергом, она не могла изменять ему в минуты его агонии. К тому же, она всегда боялась скандалов, а в обстановке, описанной Жигу, скандал на весь мир был бы неизбежен. О нем через месяц узнали бы и в Польше.

Но что бы ни было причиной раздора, — главная роль всей жизни Бальзака, любимая роль огромного репертуара, роль страстно влюбленного в Ганскую человека, кончилась худо и бесславно.

Ему теперь было больше и не до ролей. Он крепился из последних сил. Отправил Теофилю Готье письмо почти веселое, называл себя «мумией, лишенной слова и движения». Писать уже не мог, продиктовал жене, но собственноручно приписал несколько слов: «Не могу ни читать, ни писать».

Затем началась гангрена, он заживо сгнил. Жигу и здесь привел подробности: нос Бальзака будто бы вытек на простыню. Кое что сходное, без таких преувеличений, сообщали и другие. Воспоминаний о последних его днях осталось слишком мало: о том, что думал и чувствовал умирающий Бальзак, мы можем лишь делать догадки. — Имеем ли право?

Перед ним теперь был общий, главный, основной вопрос жизни: зачем? зачем всё это было?

Едва ли философские мысли, которые он разбрасывал в книгах, могли дать ему хоть какое-либо утешение. Всё в них было совершенно противоречиво, и он верно утешался тем, что противоречива и сама жизнь.

Мало было толку и от его политических идей, — тут в полном недоверии к человеку он был гораздо ближе к Бланки, чем к своим «единомышленникам». Понимал, что никакой «системы» после себя не оставляет, и ни для чего ему теперь не была нужна система.

Та самая «злая правда», которую он любил в литературе и не любил в жизни, теперь издевалась над ним, как бы подтверждая его писания: жизнь сделала Гран-Гиньоль из его собственных последних дней. Созданное такими усилиями «гнездышко» было чудесно, но в нем оставалось прожить несколько недель в самых тяжких физических и моральных страданиях, в полном безобразии среди произведений искусства. Злая правда торжествовала, — однако теперь это была правда о нем самом. Дело было уже не в биографиях, — он им и прежде не верил, — как Фридрих II не верил истории и называл ее «компиляцией разных видов лжи с редкими проблесками истины».

Говорили, что он звал великого врача Бианшона, никогда в действительности не существовавшего: это был врач, созданный им в романах. У него искусство и жизнь были нераздельны. Бальзак написал без малого сто книг. Вероятно, в последние свои часы яснее, чем когда бы то ни было, видел свои писательские(как и человеческие) недостатки. Слишком часто писал так, точно рубил топором, — что-то крепкое, тяжеловесное создавал и тогда, но топорно и выходило. Как все настоящие писатели, о многом из написанного сожалел. Иногда, перечитывая, морщился и вскрикивал: как мог это написать! То, что когда-то нравилось, теперь казалось ужасным. Быть может, перестало ему нравиться и общее заглавие его главных книг, когда-до доставившее ему такую радость. Не всегда люди играют комедию, и столь ли многое в их жизни так смешно и гадко?

Но он знал, не мог не знать, что творческая сила была ему дана необычайная, что искусству он служил хоть с ошибками, верой и правдой, — изображал жизнь

такой, какой ее видел. Быть может, перед смертью он не нашел лучшего утешения. Но это у него оставалось: «Человеческая комедия» тоже была бессмертием.

В свой последний день Бальзак велел вызвать доктора Наккара и сказал ему, что хочет знать всю правду. «Такой человек, как я, обязан перед обществом составить завещание».

Существуют разные мнения о том, имеет ли право врач сказать больному, что он умирает. Некоторые врачи говорили правду, — как Мандт Николаю I, как Шольц Пушкину. Очевидно, Наккар был таков же.

— Сколько времени вам нужно (для завещания)? — спросил он.

— Шесть месяцев, — ответил Бальзак.

Увидев по лицу доктора, что на это никакой надежды нет, он сказал:

— Но хоть шесть недель?.. Хоть шесть дней?

— Кто может гарантировать хотя бы один час? Люди, считающие себя здоровыми, могут умереть раньше вас. Но вы желаете знать правду... Вы должны составить завещанье сегодня же... Нельзя ждать до завтрашнего дня.

Бальзак поднял голову.

— Значит мне остается шесть часов! — вскрикнул он с ужасом.

17 августа у Виктора Гюго был обед и прием. Стало известно, что Бальзак умирает. Несмотря на случавшиеся иногда раздоры, Гюго преклонялся перед автором «Человеческой комедии», как и тот преклонялся перед ним. Бросив своих гостей, поэт отправился на улицу Фортюнэ. Вернувшись, он записал, что видел. Эта страница, опубликованная через много лет, когда и его самого уже не было в живых, принадлежит к лучшему из всего им написанного. Гюго никого не обвинял. Он даже не пытался хоть намеком подчеркнуть одиночество, в котором умирал Бальзак.

Знаменитое имя посетителя отворяло двери. Горничная проводила его к умирающему.

«Я был в комнате Бальзака.

По средине комнаты стояла кровать... Бальзак лежал на ней, опустив голову на груду подушек. Поверх них лежали красные бархатные подушки, взятые со стоявшего в комнате дивана. Лицо у него было фиолетовое, почти черное, оно было наклонено вправо, не выбрито, седые волосы были коротко острижены, глаза были открыты, взгляд был неподвижный. Я смотрел на него в профиль. Он был похож на Императора.

По сторонам кровати стояли старуха-сиделка и слуга. Позади изголовья на столе горела свеча. Другая стояла у двери на комоде. На ночном столике была серебряная ваза.

Слуга и старуха молчали с выражением ужаса на лицах и слушали, как хрипит умирающий.

От постели шел нестерпимый смрад.

Я поднял одеяло, взял его за руку. Она была покрыта потом. Я пожал ее. Он не ответил на пожатие»...

Бальзак умер через несколько часов.

На его похоронах какой-то давным давно забытый министр сказал Виктору Гюго: «Это был почтенный человек». Гюго сердито ответил: «Это был гений».

КОНЕЦ

ОГЛАВЛЕНИЕ